

ГРАНИ

GRANI

136

1985

Verlagsort: Frankfurt/M., April - Juni

ПРОЩАНИЕ С ГЕНРИХОМ БЁЛЛЕМ

Писатель Бёлль – не умер, его слово живет и будет жить. С первых русских изданий 1956 года он стал в нашей стране одним из самых любимых, жизненно необходимых писателей.

Умер Генрих Бёлль – друг и заступник страдающих, преследуемых. Он был христианином, для которого заповедь любви к ближним была основой жизни и духовного мира. Он был наделен редким даром сострадания.

Когда в Москве, Ленинграде, Киеве преследовали литераторов, арестовывали и судили невинных – вступался Бёлль. Он писал прошения и протесты, звонил парламентариям и членам правительства, ходил к послу СССР в ФРГ, пытался убедить руководителей Союза писателей. Так он защищал Амальрика, Бродского, Даниеля, Синявского, Гинзбурга, Галанскова, Григоренко. Вдвоем с Сахаровым они предложили обмен Буковского и других политзаключенных в СССР на политзаключенных Чили и Южной Африки. Он требовал расследовать убийство Богатырева. Он протестовал против нападков на Биргера, Владимова, Максимова, Некрасова, Чуковскую, Эткинда, на группу «Метрополь». Сегодня еще нельзя назвать имена всех, кому помогал Бёлль в СССР, в Польше, в Чехословакии. Помогал словом, деньгами, лекарствами, вывозил рукописи, в том числе и рукописи Солженицына, который именно в его доме нашел первое прибежище. Сахаровы писали из Горьковской ссылки: «Передайте нашу любовь Генриху и Аннемари. Слышать Генриха на крутом берегу Оки да под ледяным ветром – и стало тепло на душе – было очень большим событием».

Деятельное милосердие Бёлля неотделимо от его творчества и от его корневых связей с русской литературой. Он в ранней юности открыл для себя и постоянно перечитывал Толстого и Достоевского, Гоголя, Чехова, Гончарова, Горького. Он с любовью и ревниво следил за новой русской литературой, писал и говорил в докладах и интервью о книгах Паустовского, Бабеля, Трифонова, Пастернака, Дудинцева, Евгении Гинзбург, Солженицына, Владимова, Войновича, Корнилова, Распутина, Виктора Некрасова, Аксёнова, Синявского и многих других.

Для каждого из нас, для всех, кто знал его, он был не просто литературным авторитетом, но и неизменным нравственным мериллом, олицетворением чистой совести.

На свете немало хороших писателей. Много и воистину нравственных и деятельно милосердных людей. Но такое, как у Бёлля, сочетание художественной силы и человеколюбия мы можем сравнить разве что с тем, что знаем о Льве Толстом и Владимире Короленко.

Без Генриха Бёлля нам всем на Земле будет труднее жить.

Василий Аксёнов, Сара Бабёнышева, Александр Бабёнышев, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Сергей Довлатов, Лев Друскин, Лев Копелев, Татьяна Литвинова, Виктор Некрасов, Раиса Орлова, Мария Розанова, Андрей Синявский, Ефим Эткинд



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947—1952 Е. Р. Романов

1952—1955 Л. Д. Ржевский

1955—1961 Е. Р. Романов

1962—1982 Н. Б. Тарасова

1982—1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XL

№136

1985

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Прощание с Генрихом Бёллем

- Георгий ВЛАДИМОВ. Три командарма
и ординарец Шестериков. Глава из романа
«Генерал и его армия» 5
- Леонид БОРОДИН. Стихи 83
- Дмитрий САВИЦКИЙ. Петр Грозный 86
- Лев ДРУСКИН. Реквием. Стихи 99

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Наталья ЯБЛОКОВА-БЕЛИНКОВА. Погасшая елка 105
- Аркадий БЕЛИНКОВ. Анна Ахматова и история.
*Отрывки из неоконченной книги «Судьба [Победа]
Анны Ахматовой»* 120

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Илья СЕРМАН. Театр Сергея Довлатова 138

ИСКУССТВО

- Александр БАТЧАН. Урок хозяина 163

БУДУЩЕЕ РОССИИ

- Борис КОМАРОВ. Сегодня и завтра советской
энергетики, или почём нынче Западная Сибирь 176
- Э. БУКРИНСКИЙ. БАМ – дорога без конца 188

ИСТОРИЯ

- ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА:** были ли Соединенные Штаты хорошим союзником СССР? –
Интервью с Виллисом К. АРМСТРОНГОМ 228

ПУБЛИЦИСТИКА

- Проф. Холланд ХАНТЕР. **Если бы не коллективизация...**
Советское сельское хозяйство в годы 1928-40 242
Александр ЮГОВ. **Серпом по экономике** 260

БИБЛИОГРАФИЯ

- Елена Гессен.** За колючей проволокой 273
Борис Закс. Не поддаваясь искусству красивого слога 276
Марк Поповский. Пределы иронии 282
Юрий Кублановский. «Вечность верных щадит,
не судит»... 289
Василий Бетаки. «Не отрекись от каждой строчки
прошлой...» 291
Григорий Свирский. Восемь минут свободы 295
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 306
НОВЫЕ КНИГИ 309

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Георгий ВЛАДИМОВ

Три командарма и ординарец Шестериков

*Глава из романа «Генерал и его армия»**

Что же мог думать о Ставке третий – ординарец, сидевший за спиной генерала? Какой он ее себе представлял – скуластый крепышок с лычками младшего сержанта, с угрюмо замкнутым лицом, жестко обтянутым задубевшей кожей, с резкой складкой на лбу, отражавшей сосредоточенность на какой-то невеселой мысли? А ничего он про эту Ставку не думал, не занимало его, где она там расположилась – в кремлевской ли башне, в глубоком ли бункере, и какие там стены и потолки; да хоть золотые, хоть и хрустальные, ему, Шестерикову, она хорошего не обещала, она была лишь тем местом, где генерала будут мучить и донимать, изводить дурацкими расспросами, издеваться над ним и насмехаться – ни за что, ни про что. Заведомо все неприятности, падавшие или готовые пасть на эту седеющую и лысеющую голову, казались Шестерикову несправедливыми, и он единственный мог бы заплакать от жалости к генералу, он и взаправду, хоть и без видимых слёз, оплакивал его судьбу, а заодно и свою собственную.

Скорчась в тесном углу, он держал на коленях вещмешок и противогазную сумку, набитые разными твердыми вещами, на ухабах его швыряло и колотило, но всё

* Предшествующие главы («Майор Светлооков») см. в журнале «Континент» №42.

было ничто в сравнении с сознанием, что лучшее в его жизни – кончилось; что делало ее осмысленной и стоящей страданий – теперь уж невозвратно.

И как перебираем мы в памяти первую любовь, отлетевшую от нас, – день за днем, все ближе к сладостному ее началу, – так угрюмый Шестериков приближался к морозному дню под Москвой, когда их пути с генералом пересеклись. Удивительное то было пересечение! Кто бы это мог так распорядиться, расставить вехи, чтобы ни он, Шестериков, ни генерал не опоздали к встрече, и еще столько потом сплести событий, чтоб эта встреча не показалась им обоим случайной? Как-то в душевную минуту, за водочкой, он даже высказал генералу свое удивление по этому поводу, и вот что ответил тогда генерал: «А знаешь, Шестериков, оно иначе и быть не могло. Три генерала, три командарма в твоей судьбе поучаствовали». Ну, двоих-то из них Шестериков так и не увидел, а увидел лишь своего командующего Кóбрисова, когда тот вышел в зверский мороз на крылечко своей избы, а Шестериков как раз и проходил мимо того крылечка, с котелком щей и с кашей в крышечке – для старшины роты.

За три дня до того батальон, в котором воевал Шестериков и где их осталось человек сорок, был причислен к армии, ставшей на Московском кольце обороны, – рассчитывали повидать столицу, за которую, может, и умереть предстояло, хоть отдохнуть в ней, отдышаться, да вот не вышло – и как хорошо, что не вышло! И мог бы старшина сам за своим обедом сходить, но прихворнул чего-то, лежал в хате под кожушком, глядя в потолок, – и хорошо, что захворал! Мог бы он кого другого послать на кухню, но Шестериков перед ним провинился, ответил грубо, не встал руки по швам, и это ему вышло как наряд вне очереди, – и, Господи, как хорошо, что провинился! Ну, наконец, и генерал мог бы не выйти тогда на крылечко – в бекеше и в бурках, с маузером на ремне через плечо, готовый к дальнему пешему пути, – а вот это, пожалуй, и не мог бы, потому что был приглашен на коньяк, и не на какой-нибудь – на французский.

Он еще как следует и не обосновался в той избе, и комната его была пуста, из хозяйских вещей оставили один топчанчик, всё вынесли, а письменный стол из штаба еще не привезли, и связисты устанавливали телефон прямо на полу – от них-то Шестериков и вызнал потом все подробности.

Только подключили аппарат – заверещал зуммер, и генералу подали трубку. Телефонисты, проверяя качество связи, слушали по другой трубке, отводной.

– Рад тебя слышать, Свиридов, – сказал генерал. Звонил ему командир дивизии, полковник, с которым отступали от самой границы. – Опережаешь начальство, в принципе я тебе должен первым звонить. Ну, как ты там? Больше всех ты меня беспокоишь.

Свиридов спросил, почему это он больше всех беспокоит.

– Как же, ты у меня – крайний. Локтевой связи справа у тебя нет ни с кем.

Свиридов подтвердил грустно, что какая уж там локтевая связь, сосед у него справа – чистое поле.

– Должна еще бригада прибыть, – сказал генерал. – Свежая, из Москвы. Обещали, по крайней мере. Справа ее и поставишь, я ее тебе отдам.

Свиридов поблагодарил, но намекнул, что лучше бы дарить что имеешь, а не то, что обещают.

– Рад бы, – сказал генерал, – но пока и сам обещаниями питаюсь. Ну, а ты-то чего хорошенького расскажешь?

Свиридов ему поведал, что к нему на участок обороны прибыло пополнение – два батальона ополченцев из Москвы: артисты, профессора, писатели, одним словом – интеллигенция, очкарики, сплошь пожилые, одышливые, плоскостопых много, – а вооружил их Осоавиахим в основном учебными винтовками, с просверленными казённиками, со спиленными бойками, выстрелить из такой винтовки мудрено даже при испепеляющей ненависти к врагу, можно лишь в рукопашную. Еще у них по две гранаты есть, сейчас как раз обучают бросать – пусть не далеко, но хоть не себе под ноги. Знакомят помаленьку с минометом – мину в ствол они опускают стабилизатором

кверху, но, слава Богу, одно другим компенсируется: забывают при этом отвинтить колпачок взрывателя.

– Ясно, – сказал генерал со вздохом. – Но настроение, конечно, боевое?

Свиридов подтвердил, что прямо-таки жаждут боя. Ни шагу назад не ступят – позади, говорят, Москва.

– Ясно, – сказал генерал. – Огня, значит, еще не нюхали. Но это ж еще не всё, Свиридов, должен же быть заградотряд.

Верно, Свиридов подтвердил, заградительный тоже прибыл – батальон НКВД, но только он расположился во второй линии, за спиной ополченцев, так что фронт растянуть не удастся.

– А в первую линию ты их не приглашал?

Как же, сказал Свиридов, ходил к ним, предлагал участок, но комбат отказался наотрез: «Мы вам не подчиняемся, у нас – другая задача».

– А ты ополченцев обрадовал, что бежать им некуда?

Да, Свиридов их обрадовал.

– И как отнеслись?

– Обиделись. «А мы, говорят, бежать не собираемся».

– Правильно, – сказал генерал. – Назад не побегут. Они в стороны подадутся, как немец напред. И тогда уж заградотряду придется удар принять. Всё хорошо складывается, Свиридов. Рассматривай этих энкаведистов как свой резерв. Им тоже бежать некуда.

Свиридов помолчал и спросил:

– Не хотите ли поглядеть, как мы тут стоим?

– Да что ж глядеть... Хорошо стоите. Я знаю, ты всё возможное сделал.

– Тем более, – продолжал Свиридов голосом вкрадчиво-соблазнительным, – есть одно привходящее обстоятельство. В красивой упаковке. Из провинции Сognaс. Парле ву франсе?

– Что ты говоришь! – Генерал сразу повеселел. – Где ж добыл?

– Противник оставил. В Перемерках.

– Постой, ты что? Ты его из Перемерок выбил? Что ж не похвастался, скромник? Ай-ай-ай!

Но кроме этого «ай-ай-ай» никаких упреков Свиридову не было. Оба они знали отлично, что лучше не спешить докладывать. Ведь это, глядишь, и до Верховного дойдет – а ну, как эти чёртовы Перемерки отдавать придется? С тебя же, кто их брал, голову отвинтят.

Генерал положил трубку на пол, походил по горнице, бросил рядом с телефоном развернутую карту и, глядя на нее, опять взял трубку.

– Слушаешь меня, Свиридов? Тут двое Перемерок – Малые и Большие. Ты в каких?

– В Больших, Фотий Иваныч, в главных. Малые – пока у него.

– Ты это... не финти, ты мне скажи чётко: ты его выбил или он сам ушел? Я тебя так и так к ордену представляю, только – по правде.

– Как вам сказать. Наполовину – сам, а наполовину – я помог. Во всяком случае – коньяк он забыл. Целых четыре ящика.

Генерал опять положил трубку, походил немного, успокоился и снова взял.

– Знаешь, Свиридов... Пожалуй, мне твоя оборона нравится. Хорошего мало, а – нравится. А может, он это... отравленный?

– На пленных попробовали.

– Так ты и пленных взял? Ну, и как?

– Согрелись. Дают показания.

Генерал поглядел в карту совсем уже веселыми глазами, уже как бы отведывая то «привходящее обстоятельство».

– Слушай, а ты сам-то где сидишь?

– Да в Перемерках же. От вас километров шесть. Могу лошадей выслать.

– Всё не приучишься «кони» говорить, Свиридов. Кони и у меня есть, только они с утра снаряды возили, пристали кони. Они ж не люди – устают...

– Так все-таки ждать вас? Опять же – День Конституции подступает.

– До свиданья, Свиридов, – сказал генерал построжавшим голосом. – Разболтались мы. День Конституции выдаем. А враг подслушивает. У тебя всё? До свиданья.

Генерал, заложив руки за спину, походил взад-вперед по горнице, погуживая себе под нос свое любимое: «Мы ушли от проклятой погони, пер-рестань, моя р-радость, др-рожать!..», потом стал против красного угла, разглядывая иконы.

– Это сейчас уберем, – поспешил к нему ординарец. – Это живенько!

– Зачем? – удивился генерал. – Чем они мешают?

– Мешают думать командующему, – тот ему отвечал молодецки, с восторгом в голосе. – Отвлекают в ненужном направлении!

Ординарец этот был, что называется, деланный дурак, то есть не от природы глупый, а для своего же удовольствия. Не рохля, а вполне даже расторопный, но говорил часто невпопад, и еще очень этим гордился. Особо раздражало генерала, что он вместо «Слушаюсь» усвоил отвечать «С большим нашим пониманием!» и никак его было не отучить. Ответил и на сей раз, когда генерал приказал ничего в красном углу не трогать, оставить как есть.

Уже закипая, поджав недовольно губы, генерал разглядывал темные лики – Спасителя, великомученицы Варвары, Николая Чудотворца, – подержал палец над лампадкой, потрогал черное потресканное дерево киота.

– Вот это – как называется?

– Это? – спросил ординарец. Он все еще не понял, что осердил генерала, и отвечал так же молодецки, с восторгом. – А это, Фотий Иваныч, никак не называется!

– Вот те раз! – уж просто ошеломился генерал. – Мастер их делал – может, три тыщи за свою жизнь, – и это у него никак не называлось?

– Ящичек – и всё.

– Тьфу! – сказал генерал. – Поддай мне бекешу. А шинель свою – оставь дома. И чтоб к моему прибытию знал бы точно, как этот ящичек называется.

И ординарец, уже всё понявши, только ему и ответил «большим нашим пониманием». Более генерал ничего от него не услышал и самого его не увидел.

Настала минута Шестерикова вступить в сектор генеральского наблюдения – с котелком этим самым и с крышечкой.

– Боец, подойдите, – услышал он голос с высокого крыльца, чем-то недовольный и обиженный, но это не к Шестерикову относилось, а к морозу, какого начальство, угревшееся в хате, не ожидало – так уж должно было на кого-нибудь обидеться. Незнакомый грозный человек стоял, поеживаясь, подергивая плечьями, картинно при этом расставив ноги в белых бурках и утвердив руку на кобуре маузера.

– Слушаюсь, товарищ командующий! – Шестериков подошел резво и доложил по форме, чему котелок и крышечка не помешали. Всю остальную жизнь он удивлялся, каким это чутьем, да в единый миг, признал он под бекешей без петлиц не просто генерала, а командующего, но объяснения не находил. Разве что маузер в деревянной кобуре его надоумил, какой он видал в кино у революционных братишек и комиссаров.

– Будете меня сопровождать, – объявил генерал, оглядывая серое небо. – Автомат у вас полный? Пару бы дисочков иметь в запас...

Сердце Шестерикова стронулось с привычного места и сладко покатило куда-то. Все же он возразил, что связан приказанием – отнести обед захворавшему старшине. Генерал поморщился досадливо, но внял, согласно кивнул. И произнес волшебные слова:

– Валяйте. Я подожду.

С этими-то словами река судьбы генерала и малая речка Шестерикова начали сливаться в одно.

– Я по-быстрому, – обещал он генералу не совсем по уставу и, зачем-то ему показав котелок, метнулся исполнять это самое «Валяйте».

– А сам-то пообедал? – спросил генерал вдогонку. И, отсылая дальше рукою, себе же и ответил: – Хотя ладно, там нас накормят.

С крупного шага история перешла на рысь. Но не таков был Шестериков, чтоб еще пехаться до этого старшины, будь он неладен со своей хворобой, однако и вылить обед в снег он тоже бы не смог. Заскочив за угол, в проулок, он малость отхлебал из котелка через край, ссыпал в рот горсточку три каши, отломил полгорбушки хлеба и положил за пазуху, чтоб не обмерзла. Там еще когда накормят, успокоил он шевеление совести, а пока серьезные дела предстоят, не под кожушкой лежать, считать тараканов на потолке. По счастью, двое дружков из своей же роты топали по проулку, сопровождая местную деву и стараясь наперебой, с обеих сторон, ее насмешить. Шестериков напал на них коршуном и сходу распатронил, отобрал два тяжелых магазина, а взамен отдал свой неполный, заодно и обед им вручил – с приказанием от имени командующего доставить срочно. Спустя лишь минуту предстал он опять перед генеральские очи – и в самое время успел: в заиндевшем окошке углядел он продышанный уголок, а в нем – чей-то обиженный и завистливый глаз – поди, ординарца, на которого генерал за что-то прогневался. Ох, гнев у начальства скор, да на своего-то – недолог. И еще подумалось, что не к добру этот глаз окошко сверлит, – хоть не верил Шестериков ни в понедельник, ни в черного кота, ни в число тринадцать, но верил в порчу и сглаз. Но эта его опаска тут же и расплылась, не удержалась в памяти...

– Уже? – спросил генерал и поглядел с одобрением на Шестерикова, готового хоть к чёрту в зубы идти. – Ну, потопали.

И так-то они – хрум-хрум – начали свой путь по снежку: генерал – впереди, при каждом шаге отбрасывая маузер бедром, Шестериков – приотстав шагов на восемь.

За околицей набросился на них степной ветер, стало уныло и даже страшно, но генерал шага не убавлял, что-то его грело изнутри и двигало вперед и вперед.

Сперва шли по проводу, от шеста к шесту, потом кончилась шестовка, провод ушел под снег. Однако ж тропинка, пробитая связистами и всякими посыльными, ясно виднелась – со склона в низинку и опять на склон, так что – хрум-хрум – шли уверенно, и солнышко, хоть и туман-

ное, а бодрило, и леса поодаль, хотя и черные, а не страшили неизвестностью. Поле и поле, Шестерикову было не привыкать. Да все ничего, только вскорости, едва версту отмахали, мороз к нему подобрался вплотную, начал под шинелькой продирать насквозь, сил не стало терпеть, не хлопать рукавицами по груди, по плечам. И сперва Шестериков, конечно, стеснялся при генерале, но, видно, и тому тоже мороз не нравился, то и дело он руки в перчатках прижимал к ушам, и этими-то моментами Шестериков и пользовался, а то – терпел.

– Не там хлопаешь! – закричал ему генерал. Все же, значит, услышал. – Там тебя молодость греет. Ногами, ногами тупоти. Тут главное – не упустить.

Шестериков и не упускал, но в ногах-то еще терпимо было, а вот душа прямо заледенела.

– Большевицкую печать использовал? – спрашивал генерал, оборачиваясь с веселостью и некоторое время идя спиной вперед. – Газетку не намотал поверх портянок? А зря.

Так наставление советовало: читанное еще раз использовать – против обморожений, но Шестериков в эти чудеса не верил, печать он пускал на курево и по другим делам, а больше доверял шерстяному платку, который ему жена прислала – разодрать на портянки.

Генерал про этот платок выслушал и развел руками.

– Все гениальное – просто. Кто это сказал?.. И я тоже не знаю.

Потом он придержал шаг немного, чтоб Шестериков его нагнал.

– Ты в бильярд не играешь? Учти, кто в бильярд играет – на местности лучше ориентируется. Вот как ты думаешь, километров пять прошли уже?

По Шестерикову, так и все десять отхрумки, а в бильярд он не играл сроду, потому, наверно, и вовсе не ориентировался.

– Ничего, потерпи, – утешил генерал. – Еще полстолько пройти, и встретят нас в Больших Перемерках. Французский коньяк пил когда-нибудь? Попьешь!

Генерал, видать, всю карту держал в голове, шагал без задержки, на развилке решительно вправо шагнул,

на левую тропку и смотреть не стал – хотя отчего-то показалось Шестерикову, так же решительно можно бы было и влево шагнуть. Но может быть, это уже потом он себе приписал такое предчувствие, а на самом деле во весь их путь – всё поем и поем, со склона и на склон, – ни разу не догадался, что история уже притормозила свой бег, плетется шагом, а зато круто набирала ход – география.

Они с генералом шли в Большие Перемерки, и правильно шли, а идти-то им нужно было – в Малые. Свиридову, который по величине судил и с картой впопыхах не сверялся, в голову не пришло, что тут, как часто оно на Руси бывает, всё обстояло наоборот. Малые Перемерки, возникшие после Больших, то есть настоящих, первых, и считавшиеся как бы пониже чином, – понемногу раздобрели вокруг фабрички валяной обуви и давно уже переросли Большие и вширь, и ввысь, да названия уже не менялись; местные и так различали, а на приезжих было наплевать, и их это тоже не тяготило. Ну, и то правда, названия сёлам сменить – поди, в копеечку станет. Это же сколько вывесок надо перемалевать, да всяких бланков перепечатать, да и надписи переписать на тех ящиках, в которых малоперемеркинские валенки ехали во все концы отечества. Опять же, глядишь, захудалые Большие в свой черед подтянутся, кирпичный заводик отгрохают – и Малым, в Большие переименованным, опять догонять. Вот разве одни, предположим, Ждановском назвать, а другие – Кагановичами, так ведь на все населенные пункты вождей не хватит...

Уже сумерки стали сгущаться, когда они с генералом дохрумкали наконец и на задах этих Перемерок увидели встречных. Человечков тридцать высыпало, но как-то не торопились подскочить, рапортовать. Только переглядывались да переговаривались. Генералу это понравиться не могло, он еще издали, шагов за пятьдесят, приказал им сердито:

– Полковника Свиридова – ко мне!

А встречные и тогда не зачесались, только переглядывались и отвечали со смехом:

– Карашо, Иван... Давай-давай...

Генерал встал столбом и скомандовал Шестерикову:

– Ложись!

И только Шестериков успел упасть, как у одного из тех встречных быстро-быстро запыхало в руках впереди живота, и долетел сухой треск – как будто жареное лопалось на плите. Генерал, выполняя свою же команду с запозданием, повалился всей тушей вперед. Не помнил Шестериков, как оказался рядом с ним и о чем в первый миг подумал, но никогда забыть не мог, как, нашаривая в снегу слетевшую рукавицу, вляпался во что-то липкое и горячее, вытекающее из-под генеральского бока.

– Товарищ командующий, – позвал он жалобно. – А, товарищ командующий?

Генерал не отвечал ему, а только хрипел и кашлял, вжимаясь лицом в сугроб.

– Вот и бильярд! – сказал Шестериков, отирая ладонь о льдистый снег. – Ах, беда какая!

Но какая случилась беда, он все же не осознал еще до конца. В обезумевшей его голове так сложилось, что это свои обознались спяну или созорничали, придравшись, что им не сказали пароля. Таких дуболомов он повидал в отступлении – страшное дело, когда им оружие попадет в руки. И в ярости, чтоб их проучить, заставить их тоже повалиться в снегу, он выбросил автомат перед собою и чесанул по ним длинной очередью – над самыми головами. Дуболомы залегли исправно и открыли частый огонь, перекликаясь гортанными и картавыми возгласами.

– Немцы, – вслух объявил Шестериков – то ли себе самому, то ли генералу.

И стало ему жаль, прямо до слез, тех патронов, что он выпустил сгоряча без пользы. Штук двадцать пять ушло, подумал он, стараясь хоть приблизительно вспомнить по звуку. Больше этой роскоши – стрелять очередями – нельзя было себе позволить. И он решительно переключил флажок на одиночные выстрелы. Раскинул ноги, уперся локтями в снег, приступил к поражению живой силы противника. Не торопясь, тщательно выбирая цели, еще различимые на снегу. Он не думал о том, скольких ему удастся убить или ранить, он был уже опытный солдат и перед ним были опытные солдаты, и он знал, что когда перестреливаются лёжа, на результаты

ни та, ни другая сторона особо не рассчитывают. Главное было – не дать им головы поднять, потянуть время – пока они убедятся, что можно спокойно встать, подойти и взять живыми. И конечно, не мешало создать у них впечатление, что он не один тут постреливает, а всё-таки двое.

Он вспомнил про генеральский маузер, вытащил его из кобуры и, держа впервые такую красивую вещь, сразу сообразил, как вынимается обойма. В ней было девять патронов, он перещупал коченеющими пальцами их тупые головки, беззвучно шевеля губами: «один, два, три...» – а дальше шли пустые пять дырок, маузер был – 14-зарядный. И видать, генерал любил иной раз пострелять из него для настроения, а может, и самолично кого в расход вывести, есть такие любители. Ну, что ж, подумал он, на то война, ему вот и самому захотелось парочку этих дуболомов срезать, чудом рука удержалась. Только обойму-то надо было пополнить. В той же кобуре было место для запасной обоймы, но самой ее – не было. «Пару бы дисочков иметь...» – вспомнил он с укором. Но тут же и себя укорил – зачем отдал тем дружкам свой неполный диск, они до того своей девкой заняты были, что и не заметили, если б не отдал. И тотчас – с обидой, с завистью – вспомнил саму деву, что они наперебой старались насмешить, вспомнил румяное ее лицо, которое она, играючи, наполовину прикрывала пестрым головным платком, – хорошо им теперь в селе, в тепле, уже, поди, захмелившимся и напрочь забывшим о нем, который невесть по какому случаю лежит здесь в снегу, задницей к черному небу, перед какими-то чёртовыми Перемерками, бок о бок с беспамятным, безответным генералом, и перестреливается с какими-то, тоже невесть откуда взявшимися, как с луны прилетевшими, людьми. Но хорошо все-таки, подумал он, что хоть дружки эти встретились, да с полными дисками, дай им там Бог время провести как следует.

Посмотреть, не всё в его положении было плохо, могло и хуже быть. Хорошо, что смазка не застыла, и автомат не отказал в подаче, а теперь уже и разогрелся. Хорошо, что еще маузер есть с девятью патронами. Хо-

рошо, что немцы не ползли к нему, постреливали где кто лежал. Генерал – тоже хорошо лежал, плоско, головы не высовывал из сугроба.

Одна мысль, какая-то боковая, то и дело тоскливо к нему возвращалась, – что уже с этими немцами не разойтись по-хорошему. Бывало, когда солдаты с солдатами встречались на равных, удавалось без перестрелки разойтись – какому умному воевать охота? Но тут – как разойдешься, когда генерал у него на руках – и еще живой, дышит, хрипит. Ведь эти, из Перемерок, еще при свете видели, кто к ним пожаловал, видели темно-зеленую его бекешу, отороченную серым смушком, и смушковую папаху – да за такую добычу им, поди, каждому по две недели отпуска дадут, кто ж от этого откажется. И сдать же тоже нельзя, стрельба всерьез пошла, уж они теперь, намерзшись, злы, как черти. Его, рядового, они тут же у крайней избы и прикончат, а если он еще убил кого или ранил, то прежде уметелят до полусмерти. А генерала – оттащат в тепло, там перевяжут, в чувство приведут, потом – на допросы. И если говорить откажется – крышка и ему.

Он отъединил опять ту обойму и выдавил два патрона, чтоб сгоряча их не выстрелить. Сперва он их запрятал в рукавицу, но там они сильно мешали и слишком напоминали о неизбежном конце, и он их сунул за пазуху. Тут его пальцы ткнулись во что-то твердое и шершавое – это в запазушном кармане хранилась его горбушка, уже как будто забытая, а все же – краешком сознания – памятная. Чувство возникло живое и теплое, но сиротливое, опять стало жаль до слез – что придется вот скоро убить себя. Он подумал – съесть ли ее сейчас? или – перед тем? или когда совсем подведет? И почему-то показалось, что если сейчас он ее съест, тогда уж действительно – надеяться больше не на что.

А надежда была, хоть и очень слабая. Постреливая одиночными – то из своего ППШ, то из маузера, после каждого выстрела подышывая себе на руки и уже не различая, ночь ли глубокая или все тянется зимний вечер, он все же нет-нет, да согревал себя тем мудрым соображением, что и противнику не легче. И когда-нибудь же наску-

чит этим немцам мерзнуть в снегу и плюнут они с ним возиться, тем более – если придет им на ум, что генерал-то, может, уже не живой, так что на отпуск можно не рассчитывать. Только вот уйдут ли в тепло все сразу? Народ аккуратный, оставят, поди, часовых и будут подменивать – хоть до утра.

Что-то надо было предпринять еще до света, хоть отползти подальше, да схорониться в каком ни то овражке, а то и снегом засыпаться. Генерала оставить он не мог, тот еще хрипел, поэтому Шестериков, чуть отползя назад, попробовал его подтянуть к себе за ноги. Так не получалось, бурки сползли с ног, а бекеша задиралась. Он решил по-другому: толкая генерала плечом и лбом, развернул его головою от Перемерок и, на всё плюнув, встав на колени, потащил за меховой воротник. Протащил метров пять, потом вернулся за автоматом – его приходилось оставлять, уж больно мешал. И, произведя выстрел, уже не ложась в снег, а ползая на коленях, поспешил назад к генералу – сделать очередной ползок.

Меж тем, в Перемерках начались какие-то иные шевеления – огонь вдруг зачастил, крики усилились, и Шестериков это так понял, что к тем, замерзающим, прибыли на подмогу другие, отогревшиеся. Уже не тридцать автоматов, а пожалуй, сто чесали без продыху, и все пули, конечно, летели в Шестерикова. Это уже потом он узнал, что Свиридов, обеспокоенный слишком долгим путешествием генерала, сунул наконец глаза в карту и, с ужасом поняв, в какую ловушку пригласил дорогого гостя, выслал немедленно взвод – прочесать эти Перемерки и без командующего, живого или мертвого, не возвращаться. И, куда тот взвод вел бои на улицах села, Шестериков ему помогал как мог и как понимал свою задачу – оттаскивал генерала, сколько сил было, подальше прочь. Стрелять ему уже не было смысла, все равно за своим огнем немцы бы не услышали его ответный, а вспышки его бы только демаскировали.

Когда пальба в Перемерках поутихла, они с генералом были уже далеко в поле, и поземкой замело их широкий след, а потом и овражек неглубокий попался, куда можно было стащить раненого и хоть перевязать нако-

нец. Расстегнув бекешу, с залитой кровью подкладкой, Шестериков увидел, прощупал, что вся гимнастерка на животе измокла в черном и липком. Из одной дырки, рассудил он, столько натечь не могло, и не найти ее было, чтоб залепить пластырем. Шестериков, задрав гимнастерку и перекатывая генерала сбоку набок, намотал ему вокруг туловища весь свой индивидуальный пакет да потуже затянул ремень. Вот всё, что он мог сделать. Затем, передохнув, опять потащил генерала – по дну овражка, теперь уже метров за полста переноса вещмешок и маузер, и автомат, и вновь возвращаясь за раненым. Генерал уже не хрипел и не булькал, а постанывал изредка и совсем тихо, будто погрузившись в глубокий сон.

Еще до света слышно вдруг стало какое-то движение наверху, за гребнем овражка, не определить – справа ли, слева, но показалось все же, что именно с той стороны, куда они тащились: рокот автомобильных моторов, скрип тележных колёс и голоса – не понять только, чьи. Оставив генерала, Шестериков, с одним маузером, отправился ползком на разведку. Оказалось – овражек проходит под мостком, а по мостку идет дорога. Еще не добравшись до нее, он уже замлел от радости, расслышав отчетливо несомненное перекаати-твою-мать, бесконечно знакомый ему признак отступления. А куда же отступить могли, как не на Москву, ведь Москва – рукой подать, и это к ней движется вся масса людей, машин и повозок. Он не знал, что то было следствием последнего удара 9-й немецкой армии, точнее – впечатлением от этого удара, опрокинувшего все надежды, что врага остановят подвиги панфиловцев и ополченцев и противотанковые рвы, выкопанные женщинами столицы и пригородов. Впечатление, по-видимому, было внушительное – грузовики, переполненные людьми, неслись на четвертых, на пятых скоростях, сигналив безостановочно, от них в страхе шарахались к обочинам повозки, тоже не пустые, ездывые нещадно хлестали загоняемых насмерть лошадей, но, как ни удивительно, весь транспорт все-таки обгоняли пешие – кто с оружием, кто без, но и те, и другие с безумными, как водкой налитыми, глазами. Вся эта лавина – с

рёвом, храпением, руганью, пальбой, – текла по дороге, как ползет перекипевшая каша из котла, у Шестерикова в глазах зарябило. Но надежда – явилась.

Быстренько он вернулся к генералу и, выбиваясь из сил, подтащил его поближе к мостку – чтоб на виду лежал, не могло же быть, чтоб не кинулись помочь, да хоть разузнать, в чем дело, почему здесь генерал оказался. Никто, однако, не кидался, даже не замечал.

Вдруг увидел он – милиционера, одиноко горбившегося на обочине, обыкновенного подмосковного регулировщика, в синей шинельке, смотревшего на происходящее уныло, но без особенного испуга, опустив руку с железом. Шестериков подбежал к нему:

– Милый человек, останови ты – машину какую или же повозку.

Милиционер только покосился на него и зябко передернулся.

– Мне ж не для себя, – объяснил Шестериков. – Для генерала. Вон он, раненный лежит, без сознания.

– Чем я тебе остановлю? – спросил милиционер, не поглядев.

– Как «чем»! Вон палка у тебя да пистолет, – Шестериков забыл в эту минуту, что и у него маузер, а в овражке остался еще автомат. – Погрози, погрози им – неуж не остановятся?

– Ты это... – сказал милиционер. – Пушку свою убери. И не махай.

Он показал глазами на то, чего Шестериков впопыхах не заметил – человека, лежавшего шагах в пяти, на той же обочине, в шинели с лейтенантскими петлицами. Он лежал вниз лицом, откинув голую руку с пистолетом, рядом валялась окровавленная ушанка.

– Всё грозился, – поведал милиционер. – Всё возмущался: «Подлецы, трусы, Москву продали, Россию продали!» А они ему с грузовика – очередь. Теперь тихо лежит, не возмущается.

– Что ж делать? – спросил Шестериков в совершенном отчаянии. И повторил свой довод: – Кабы я для себя, а то ведь – для генерала.

– Он что? – спросил милиционер. – Живой еще?

Шестериков не уверен был, но тем горячее стал убеждать:

– Живой! В том-то и дело, что живой. Только бы довести побыстрее.

Милиционер то ли задумался, то ли вовсе умолк от безысходности, его худое бледное лицо никакой мысли не выражало.

– А может, вместе попытаемся? – спросил Шестериков с надеждой, вспомнив наконец и про свой автомат. – По крайности, шарахнем по кабинке. Заложим и шарахнем. Не очень-то нас это... очередью. А?

– Не поможет, – сказал милиционер. Похоже, он все это время раздумывал. – Тут бы сорокапяточку выкатить. Со щитком. Да по радиатору вдарить. Другие тогда непременно остановятся.

– Сорокапятка – это хорошо, – сказал Шестериков, вспомнив некоторые моменты из собственного опыта. – Да где ж ее возьмешь, сорокапятку.

Милиционер еще подумал и повернулся всем корпусом в сторону Москвы.

– Ты вот что, – посоветовал он, – сбегай-ка, тут, метров двести, за поворотом, зенитная позиция. Они против танков стоят, но, может, для генерала снаряд истратят.

Прежде, чем бежать туда, Шестериков вернулся к генералу – удостовериться, жив ли еще, – и ужаснулся новому удару судьбы. Всего на минутку оставил он генерала, и тот еще был живой, но кто-то – верно, приняв его за мертвого, – успел стащить с его головы ушанку, а с ног – его бурки, прекрасные, валяные из белой шерсти, с желтой кожаной колодкой. Кто был этот необыкновенный, неукротимой энергии человек, кто и в смертельной панике ухитрился ограбить мертвого, да у всех на глазах? Уши и ступни генерала уже сильно побелели, и некогда было их растирать, и укрыть нечем. Шестериков сбросил с плеча вещмешок – со всем интересным, что в нем было, без колебаний вытряхнул кое-какие инструменты, курево, спички, мыло и соль, моток ниток с иглой, пуговицы и пару грязного белья. Это белье он подложил гене-

ралу под голову, прикрыв уши, а самый мешок натянул ему на ноги и затянул шнуром.

– Облегчили? – спросил подошедший милиционер. Он покачал головой и заметил мрачно: – Нет, не умерла Россия-матушка...

– Милый человек! – взмолился Шестериков. – Ты постереги, чтоб его хоть из бекеши не вытряхнули. Тогда уж пиши похоронку. – И так как он привык всегда вознаграждать человека за труды, то подумал, что бы такое предложить милиционеру. Ничего из вытряхнутого на снег того, как видно, не заинтересовало. – Тебе жрать охота?

– А кому не охота? – откликнулся милиционер уныло.

Шестериков, опять не колеблясь, достал свою горбушку и, только малый краешек отломив, отдал ее стражу. Тот принял ее, не благодаря, и это Шестерикову почему-то понравилось.

– Только ты недолго, – сказал милиционер. – Всем, знаешь ли, драпать пора.

Зенитчиков оказалось двое – один совсем молоденький, бледный, с явным испугом на лице, другой – постарше и поспокойнее, с рыжими гренадерскими усами. Шестериков спросил, кто у них за командира, – по петлицам оба были рядовые.

– А нам командира не надо, – сказал тот, кто постарше, выуживая ложкой из консервной банки мясную какую-то еду. – Чего нам тут считать? – Он кивнул на зенитку, стоявшую стволом горизонтально – к повороту, из-за которого все ползла человеческая лава. – Как покажется коробочка – шарахай ее в башню и в Бога мать. И – спасайся, как успеешь.

– Чего ж вам-то спастись, – подольстился Шестериков, – вон вы какая сила!

– А это еще неизвестно, – сказал кто постарше, – станина выдержит или нет. Говорят, не выдерживает. Мы-то из нее по горизонтали не стреляли ни разу.

Просьбу Шестерикова они выслушали с пониманием, но отказали наотрез.

– Ты погляди, – сказал молодой, – много ли у нас снарядов?

Снарядный ящик, из тонких планок, как для огурцов или яблок, стоял тут же, в снегу, и в нем, поблескивая латуnią и медью, серыми рылами головок, лежало всего четыре снаряда.

– Только по танкам, – объяснил старший, – даже по самолету нельзя. Иначе – трибунал.

– Братцы, – сказал Шестериков. – Но тут же случай какой – генерал. За генерала всё простят, никакого трибунала не будет.

Они пожали плечами, переглянулись – и не ответили. Но старший все же подумал и предложил:

– А вот к генералу и обратись. К нашему генералу. Его приказ – может, он и отменит. В виде исключения.

– А где он, ваш генерал?

Старший не повернулся, а молодой охотно привстал и показал пальцем:

– А во-он, церквушку на горушке видишь? Там он должен быть. Километров пять дотуда, не больше.

Шестериков поглядел с тоской на далекий крест, едва-едва черневший в туманной мгле морозного утра. Глаза у него слезились от студеного ветра, и никаких людей он близ той колоколенки не увидел.

– Что вы, братцы, – сказал он печально, – да разве ж до вашего генерала когда досягнешь? – Он имел в виду и расстояние, и чин. – Да и есть ли он там? Может, его и нету...

– Где ж ему быть, – сказал молодой неуверенно, – место высокое, удобное для «эмпэ». Оттуда, считай, верст за тридцать видно.

– Дак если видно, – возразил Шестериков, – у него сейчас одна думка: скорей в машину и драпать. Они-то первые и драпают.

Так говорил ему полугодовой опыт, и зенитчики тоже не возражали, а только переглянулись – с ясно читавшимся на лицах вопросом: «Не пора ли и нам?»

Шестериков еще постоял около них, слабо надеясь, что зенитчики переменят свое решение, затем, махнув рукой, поплелся обратно, к своему генералу. В этот час он был единственный, кто двигался в сторону от Москвы.

Между тем, генерал, о котором говорили зенитчики и от кого исходил приказ – не тратить снаряды, под страхом трибунала, ни на какую цель, кроме танков, – находился в ограде той церкви и менее всего собирался сесть в машину и драпать, хотя со своей высоты действительно видел всё. При нем, впрочем, и не было машины, он сюда поднялся пешком. Три лошади, привязанные к прутьям ограды, предназначались адъютанту и связным, но стояли надолго забытые, понуро смежив глаза, превратясь в заиндевевшие статуи.

Со стороны показалось бы, что генерал в этот час был, что называется, «на выходе» – как бывает выход короля к своим приближенным, чтоб и на них поглядеть, и себя показать, как и у любого командира есть эта обязанность время от времени являться на люди – для одних тягостная, для других не лишённая приятности. Этот генерал, по-видимому, относился ко вторым, да и окружавшие не сводили с него преданных и умиленных глаз. Он резко выделялся среди них – прежде всего, ростом, странно высоким, не умаленным, а даже подчеркнутым легкой сутулостью, но в особенности – своим замечательным мужским лицом, которое, быть может, несколько портили – а может быть, именно и делали его, – тяжелые очки с толстыми линзами. Прекрасна, мужественно аскетична была впалость щек, при угловатости сильного подбородка, поражали высокий лоб и сумрачно-строгий взгляд сквозь линзы, рот был велик, но при молчании плотно сжат и собран, всё лицо было трудное, отчасти – страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли.

Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно, и разве что наблюдатель особенно хваткий, с долгим житейским опытом, разглядел бы в нем ускользающую от других обманчивость.

Он прохаживался среди своих спутников, не суетясь, крупно ступая и сцепив за спиною длинные руки, от всей его фигуры в белом тулупе, перетянута ремнём и порту-

пеями, исходило спокойствие и уверенность, которых вовсе не было в его душе. Зенитчики ошибались – никакого НП здесь не было, не высверкивали из окон звонницы окуляры стереотрубы, которые могли бы только привлечь немецких артиллеристов, а ясности – не прибавили бы. И что привело сюда генерала, он и себе не мог бы признаться. Скорее всего, страх, рожденный непониманием происходящего, который только усиливался в закрытом пространстве. Ему вдруг невыносимо тесно стало в теплой избе, с телефонами, картами, столами и жесткой койкой за занавеской, тесно и в закрытой кабине «эмки», захотелось на простор, пройти пешком, подняться хоть на какую-то высоту, чтоб хоть что-то понять и решить.

Несколько дней назад, вместе с пятью другими командармами, его вызвал к себе командующий Западным фронтом Жуков и, как всегда, мрачно, отрывисто и с неопределенной угрозой в голосе объявил, что если хотя бы одной армии удастся продвинуться хотя бы на два километра, задача остальных пяти – немедленно ее поддержать, любой ценой, всеми силами расширяя и углубляя прорыв. Все шестеро приняли это к сведению, не делая никаких заверений, но, верно, каждый спросил себя: «Почему бы не я?» Про себя генерал знал точно, себе он сказал: «Именно я».

И вот, не далее как вчера, он попытался это сделать – силами двух дивизий – и попал немедленно в клещи, вместе со своим штабом. Он испытал страх пленения, который и сейчас не утих, то и дело отзывался внутренним содроганием, вместе с чувством неловкости – оттого, что вынужден был по радио, открытым текстом, приказать всем другим своим частям идти к нему на выручку. Он успел унести ноги, он вырвался благополучно, но что-то говорило ему, что немцы и не могли бы создать достаточно плотные фронты окружения, внутренний и внешний, и может быть, зря он поторопился прекратить наступление. Может быть, следовало идти и идти вперед?

Против этого, как будто, говорила вся эта паника на Рогачёвском шоссе, которую он видел отсюда: замыкая клещи вокруг него, немцы произвели внушительное впе-

чатление и на его соседей. Однако, он знал – эта паника могла возникнуть и от одного-единственного танка, появившегося откуда его не ждали, к тому же еще – заблудившегося. Наибольшего эффекта, и весьма часто, достигают именно заблудившиеся. В августе, под Киевом, он сам был свидетелем, как три батальона покинули позиции, не вынеся адского грохота и треска, доносившегося из ближнего леса – как выяснилось позже, это несчастный итальянец-берсальер, сам обезумев от страха, метался между деревьями на мотоцикле... Всё было возможно – при той конфигурации фронта, какая сейчас сложилась к западу от Москвы, точнее – при отсутствии какой-либо конфигурации, когда противники не знают, кто кого в данный момент окружает. Так все-таки – зря он поспешил или не зря?

В эти его размышления ворвался громкий и возмущенный спор его спутников, осуждавших панику с негодованием людей, смотрящих на чужой страх со стороны. Следует, доказывал один, послать туда роту автоматчиков и кой-кого из этой сволочи перестрелять, тогда остальные опомнятся. Другой говорил, что напротив, все эти люди, потерявшие своих командиров, – ничейный резерв, который не худо бы присоединить к себе.

Генерал выслушал оба довода и сказал, легко перекрывая – и закрывая – этот спор своим звучным, глубоким, рокочущим басом:

– Когда русский Иван наступает – спиной к ненавистному врагу, – у него на пути не становись. Сомнет!..

Он сказал это отчасти с восхищением, уластив последнее слово таким сложно-витиеватым добавлением, какие уже создали ему славу любимца солдат, первого в армии матерщинника. Спутники охотно смеялись, но сам он не рассмеялся, он удивился своему же неожиданному решению. Еще не зная, будет ли он сегодня продолжать наступление, он уже четко себе уяснил, что против бегущих не выставит ни одного автоматчика, не истратит и одного патрона. Не станет он никого останавливать и заворачивать обратно, лучше их мимо себя пропустить, а двинуться вдоль шоссе целиною. Есть даже некий опера-

тивный смысл, своя изюминка – чтоб не было остановки в этом паническом бегстве.

– Что Иван опомнится и упрется, этого немец ожидает, – произнес он вслух. – А вот чего он не ожидает – кулака в рыло!

И это было первое правильное его решение.

Но пошла неожиданно метель, снег западал полого и так часто, что стало не видно лошадей у ограды, – и он даже обрадовался поводу еще потянуть с приказом. Никогда в его военной жизни еще не было такой крошечной неясности. Никаких разведанных о противнике, кроме самых общих, к тому же устаревающих с каждым часом; рассчитывать он мог лишь на свою интуицию, которую за собой признавал, на везение, ну и на смелость наконец, о которой кто-то из Мольтке, старший или младший, а может быть, и Клаузевиц, высказался неглупо: «помимо учета сил, времени и пространства, нужно же несколько процентов накинуть и на нее».

Он приказал, чтоб ему развернули карту. Поставив ногу на ступеньку паперти, он положил карту себе на колено и, сняв перчатку, огромной, костистой и красной от мороза кистью стряхивал с нее налетающий снег. Двое его спутников держали углы. Кажется, и они понимали, что он только тянет время, никаких подробностей карта ему не могла открыть, а то общее, что сложилось сейчас под Москвою, он видел и так. С севера, от Калинина, протянулась хищная, раздвоенная крабья клешня – танки Рейнгардта и Гёппнера, с юга, от Тулы, нацеливалась другая клешня, еще того зловещее – танки Гудериана, и не могло быть решения безграмотнее, безумнее, чем ринуться в разинутый зев этих, готовых сомкнуться, клещей. Но – если б хоть иногда не выручало нас безумие, и только трезвый расчет был бы нашим единственным поводырем, жизнь была бы слишком скучна, чтоб стоило ее начинать. Было нечто, рассеянное в воздухе, не подтверждаемое, казалось бы, никакими объективными признаками, и все же профессионалами угадываемое безошибочно, – нечто, обещающее перелом, как обещает весну запах февральского снега. В жизни генерала, совсем недавней, три месяца назад, было и худшее, чем сей-

час: когда пришлось свою армию, которой он тогда командовал, и остатки чужих разгромленных армий вытягивать из киевского котла. Каким обещанием пахло тогда, что рассеяно было в воздухе? Нарастающее гудение земли и лязг, рёв сотен моторов, дымом застланный горизонт – всё это вместе называлось «Гудериан» и появлялось откуда меньше всего ждалось. Могло бы оно появиться и из этой метели, и только иначе бы называлось – «Рейнгардт». Но ведь случилось же чудо тогда. Всего только и нужно – повторить чудо! И пришла робкая мысль, что еще какое-то событие должно случиться сегодня, какое-то знамение будет ему подано, обещающее удачу.

Он давно уже смотрел поверх карты, на выщербленные малиновые кирпичи притвора, на ржавые двери с тяжелым амбарным замком, на затертую, еле различимую, вратную икону. Вот что его тревожило: если все-таки продолжать наступление, он должен пройти правым своим флангом мимо северной клешни, подставить бок, а затем и тыл под танки Рейнгардта. Сейчас, в восьми километрах отсюда, шел бой за малую деревеньку Белый Раст, несколько дней назад отданную немцам. Два батальона моряков шли на смерть, чтоб только узналось – двинет Рейнгардт свои танки или примирится с потерей. Без этого, решил он, нельзя начинать.

В одиннадцать утра вынырнул из метели всадник, делегат связи, и доложил: Белый Раст взят, танки Рейнгардт не двинул.

Генерал не спешил что-либо сказать на это. Потому что известие ровным счетом ничего не значило, или почти ничего, он понял это в ту же минуту, как услышал. Не примирился, но и не двинул – потому ли, что не смог? или имел на то соображения?

Делегат связи ждал, свесясь с седла и отогнув ухо на ушанке.

– Узнай-ка, – сказал генерал, – чей престол у этой церкви.

Лицо делегата не выразило удивления – но лишь оттого, что залубенело на ветру.

– Вопрос понятен?

Делегат вопрос повторил, но в свой черед спросил, где это можно узнать.

– Об этом у начальства не спрашивают.

– Виноват, товарищ генерал. У кого прикажете узнать?

Генерал, одним краем рта, усмехнулся этой армейской хитрости.

– У любой бабки в селе, на тридцать верст окрест. И можешь не проверять.

Делегат, взмахнув валенками, дал стремя коню и исчез в метели. Покуда он не вернулся, никто почему-то не произнес ни слова, как будто ждали известия самого важного.

– Узнал, товарищ генерал. Только не у бабки, а у самого отца Василия в Лобне. Полагаю, оно надежнее.

– Так чей же престол? – спросил генерал нетерпеливо.

– Мученика Андрея Стратилата.

– И с ним?

Делегат связи смотрел оступело и медленно багровел.

– Сколько с ним было?

– Виноват, вот цифру запомнил.

– Две тысячи пятьсот девяносто три.

– Точно!

Все посмотрели на окаменевшее лицо генерала, непроницаемо поблескивающее очками.

– Это имеет какое-нибудь значение? – спросил, улыбаясь, начальник артиллерии, низкорослый и толстенький, но ужасно воинственный в своих скрипучих ремнях, с «парабеллумом», оттягивающим пояс, и с биноклем на груди.

– Никакого, – ответил генерал. – Кроме того, что это мой святой. И моего отца тоже.

– А Стратилат – это что значит? – спросил начарт. – Фамилия?

– Стратилат значит – полководец. Стратег.

– О, тогда это имеет значение. И очень большое.

Разрешите поздравить.

– С чем же? Ведь мученик.

– Э! – сказал начарт. – А мы – не мученики?

Начарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого, вместе со своим отрядом, теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», решил генерал, но, нимало не уstraшившись будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уж потом был и предан, и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо, за чудеса приходится платить. Он спрашивал себя, готов ли принести эту плату, но широкие его губы, деревянные от мороза, произнесли другое:

– Хотелось бы мне знать, что сейчас делается в башке у этого Рейнгардта!

Делегат связи, точно вопрос относился к нему, виновато развел руками. Начарт пожевал губами и вздел глаза к небу.

А в эту, быть может, минуту мрачный Рейнгардт, одетый в русскую безрукавку, горбился перед низким окошком избы, складывая и перемножая тридцать пять градусов мороза с тридцатью пятью километрами, оставшимися ему до московского Кремля. Он не потому не двинул свои танки, что потеря Белого Раста ничего для него не значила, – так не бывает, когда уже в бинокль видишь само окончание войны! – а потому что был связан с южной клешнею планом одновременного сжатия Москвы. Оси наступлений пересекались на Садовом ее кольце: где-нибудь в районе Таганки, или на Самотёке, или на бывшей Триумфальной, теперь – Маяковского, танкисты Рейнгардта и Гёппнера должны были пожать руки танкистам Гудериана – и тем завершить наконец столь затянувшийся блицкриг. Так было задумано – и так было близко!

Однако, Рейнгардт знал – к этому дню движение немецких армий на всех фронтах приостановилось, и только Гудериан еще каким-то чудом двигался. 3-го декабря он перерезал железную дорогу Тула-Москва и шоссе Тула-Серпухов, осталось развязаться с самой Тулой. «Тула – любой ценой!» – сказано было фюрером, но, ви-

димо, было не в натуре «капризного Гейнца» исполнять чьи бы то ни было предписания «любой ценой», было бы против его правил и всей его науки растратить свои танки в бесплодном ударе в лоб: за Тулу, с ее оружейными заводами, русские готовы были заплатить какими угодно жизнями. Их бронейщики и бутылкометатели умирали так охотно, точно бы смерть была единственной целью их жизни. И, насколько мог понять Рейнгардт, Гудериан не сделал того, чего хотели бы от него и фюрер, и русские, он только дал своим танкам ввязаться в бой, дал русским послушать рев двухсот пятидесяти моторов, но встретились они – с его пехотными, конными и мотоциклетными частями, а танки он высвободил, как только он один умел, и длинным изогнутым рейдом обошел Тулу с востока. Она оказалась в мешке, и мешок этот все растягивался, и кажется, Рейнгардт уже постигал своевольный замысел Гудериана: не Тула ему была нужна, а – Кашира. О, кажется, Кашира, это чуть не вдвое ближе к Москве! При обстоятельствах чудесных, какие умел создавать или использовать «Быстроходный Гейнец», это мог быть один переход к окраинам столицы, один боекомплект, одна заправка баков, один суточный рацион экипажам. В любой час могла прийти весть о взятии Каширы – и это было бы сигналом Рейнгардту: начать и ему последний бросок. И вот этого часа Рейнгардт ожидал с ужасом.

Его танки, не двигаясь с места, жгли ночами безостановочно последнее горючее – иначе б к утру не завелись моторы. В рубашки охлаждения, вместо незамерзающего глиантина, залита была вода – через час-другой остановленные моторы можно было считать погибшими. А еще потому нерассчитанно много потрачено было горючего, что давно стерлись шипы на траках гусениц, и буксование по гололеду стоило двойного, если не тройного расхода. Несколько дней назад на станцию Калинин пришел долгожданный эшелон, груженный «особо ценным грузом». Не разбитый русской авиацией, не подорванный партизанами, он привез – вместо горючего, вместо глиантина, вместо шипов и снарядов, – отесанные плиты красного финского гранита: на памятник Адольфу Гитлеру в центре поверженной Москвы.

Так пожелать ли удачи Гейнцу или лучше бы о ней не услышать?

Впрочем, неизвестно, был ли бы Рейнгардт более мрачен или обрадован, если бы знал истину. В тот самый день, когда генерал Кобрисов, выслушав невеселый доклад комдива Свиридова, сказал ему: «Ты знаешь, мне твоя оборона нравится», и, прихватив Шестерикова, так легкомысленно отправился в гости на французский коньяк, в этот самый день – да не в этот ли сумеречный час? – за двести километров к югу, за Тулой, накреньясь на обледенелом склоне и также лишенный шипов, неудержимо сползал в овраг командирский танк Гудериана. Взвихренным снегом застлало смотровые щели, и долгое скольжение вниз, в белой слепоте, было мучительным, как тошнота. Еще тягостней, унижительней стало на душе Гудериана, когда танк, наконец, остановился – на самом дне. Ни словом не попрекнув водителя, – прусская традиция предписывала адресовать свое раздражение только вышестоящему, никогда не вниз, – он вылез через башенный люк и побрел по сугробам, ища, где бы выбраться. Танк, с поникшей пушкой, медленно полз за ним.

А всего только час назад он был на позициях егерей своего 43-го армейского корпуса и возвращался оттуда обнадеженный, в душе его что-то пело, душа была тронута едва не до слез, но для записи в дневнике отстаивалось суровое, торжественное, римское: «Солдаты узнавали меня и приветствовали радостными возгласами».

Так оно и было. Этот его танк, выкрашенный белилами, лишь с черными крестами и литерами «G» на бортах, с качающимся над башней хлыстом антенны, так же медленно полз по дну неглубокой лощины – быть может, руслом вымерзшего ручья, – и с обеих сторон, с пологих склонов сбегались, сходились к нему солдаты. Стоя по пояс в люке, он оглядывал их лица, поднятые к нему с надеждой и вопросом, сам при этом, немалым усилием, сохраняя лицо таким, какое они привыкли видеть в лучшие дни – крепкое лицо еще молодежавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое. А между тем, он замечал и нечто кроме их лиц – грязных, заросших, тронутых обморожением, с конъюнктивитными красными глаза-

ми, – он видел разбросанные вокруг заметенные холмики, выглядывающие из-под снега подбородки и носки сапог, иной раз ногу, согнутую в колене, скрюченные пальцы, засыпанные снегом глазницы. Случилось предельное и, наверно, необратимое – германцы перестали хоронить своих покойников! Их только оттаскивали от траншей – сюда, в эту лощину. Он ехал – по кладбищу!

Но, кажется, живые были все-таки рады ему, он слышал возгласы, какие и хотелось ему услышать:

– Старик пожаловал... Молодчина, ему всё нипочем, выглядит, как всегда... Да, может быть, не так уж всё плохо?.. Сейчас он скажет... А кто же, если не он?.. Гейнц, только не скрывай от нас ничего!..

Они перестали верить своим офицерам, они верили только ему. Это был его батальон, в котором давным-давно, еще лейтенантом, он командовал ротой; эти егеря и он считались «кригскамераден», и они могли обращаться к нему на ты и спрашивать о чем угодно. Но, Боже, что сделалось с его батальоном – это было не войско! Только редкие в полной форме, то есть в кургузых шинелишках, в каменных сапогах, уши прикрыты вязаными подшлемниками, большинство же – в пилотках, завёрнутых на щеки, или в русской драной ушанке, или обмотанные бабьим платком, в крестьянских тулупах или в женских шубейках, кто в валенках, кто в резиновых галошах, набитых тряпьем и бумагой, кто даже в лаптях с онучами. Грязные, мучимые вшами, греющие руки подмышками, припрыгивающие с ноги на ногу, в глазах что-то собачье, слезливое, молящее. И это были – герои польского похода, боев на Маасе и при Дюнкерке, победители Бреста, Смоленска, Орла!

Он приказал водителю остановиться, сорвал с головы шлем с очками-«консервами» и черными капсулами ларингофона, стянул подбитые мехом перчатки, положил ладони на обжигающую броню. Он знал, как говорить с солдатами, даже и с такими, но нужно было, хотя бы отчасти, почувствовать то же, что и они.

Голос прежнего Гудериана разлетелся над ними, превратившимися в смердящий сброд:

– Солдаты! Я старался вести вас дорогой побед, и вы мне дарили эти победы. Я счастлив, что командую вами. Выше головы, вам есть чем гордиться. Бывало и жарче, чем в этих русских снегах, ведь правда? Но ни про одну нашу победу никто, никогда не мог бы сказать: «Им повезло». А вот вашему противнику, – он протянул руку туда, где находились не видимые ему сейчас позиции русских, – ему просто везет сейчас, отчаянно везет. Но это не значит, что счастье покинуло нас навсегда. Еще три дня – и всё переменится, только нужно сделать еще одно, последнее, усилие. Но, солдаты... Генерал может потребовать от вас лишь того, что возможно, что в пределах человеческих сил, о невозможном – он может только просить. Вы измучены, вы заслужили отдых, и я обязан отвести вас в тыл. Но я не могу этого, мне некем сейчас вас заменить. Ваш старый Гейнц просит вас...

Он оглядел всю толпу – и ничего не прочел на их лицах, задубевших от мороза, тупых, не способных выразить ни страха, ни уныния, ни даже покорной готовности умереть.

– ...просит вас, – повторил он, прижав руку к груди, – покуда ваши товарищи наступают на другом участке, еще на три дня остаться в окопах. Подумайте, быть может, иные из вас и не доживут до четвертого дня. И любого, кто не захочет остаться, я отпускаю. У меня язык не шевельнется – упрекнуть его. Это всё, солдаты.

Он слушал их молчание, вполне сознавая, что только оно и могло быть ответом на его призыв к последнему усилию. Мороз сжигал ему щеки и уши, ледяной ветер шевелил волосы и стягивал кожу на голове. Ему стоило усилий не вздрогнуть, не поежиться под меховым комбинезоном.

Но какое-то движение произошло в толпе, чуткое его ухо расслышало некую перемену. И вот чей-то хриплый голос произнес то, чего так напряженно он ждал:

– Какие могут быть разговоры, Гейнц? Конечно... Мы останемся.

Как бы огромный вздох освобождения прошел по толпе, она смыкалась теснее вокруг его танка, и сдавлен-

ные, дрожащие от холода, их голоса звучали в его ушах слаще любой музыки:

– Если ты просишь, Гейнц, мы останемся. Правда же, все, как один, останемся?

– Ты мог бы и не просить, а потребовать. Ты же немец, ты знаешь святое слово «verboten»!..

– Мы постараемся, Гейнц. Мы выьем русских из их позиций!

– Я этого не прошу, – ответил он, почти никого не различая и чувствуя в горле запирающий комок. – Только в своих окопах. И только на три дня. За это время придут снаряды, горючее, вы наденете зимнее обмундирование. И отдохнете в тепле...

– Не много ли обещаешь, Гейнц?

Это послышалось сзади, и он обернулся резко, гневно. Некто маленький, чернобородый и носатый, похожий на итальянца, закутанный поверх шинели в рваное одеяло, сердито нахмурясь, зажав автомат подмышкой, простирал руки к створкам жалюзи, откуда веяло теплом двигателя.

Гудериан, рассмеявшись, сверкая зубами, показал на него рукою.

– Ему уже ничего не нужно. Греется у моей задницы.

Тот, вздрогнув, убрал руки, смутился, но все уже смотрели на него с чем-то похожим на улыбки, и он тоже попытался улыбнуться.

– Как тебя зовут? – спросил Гудериан.

– Рядовой Вебер, господин генерал-полковник.

– Господин Вебер, зачем такие строгости? Я спрашиваю имя.

– Ну, Фридрих... Фридрих Вебер.

– Что ты говоришь! Неужели – Фриц?

Тот, еще больше смутясь, согнав улыбку, спросил с обидой:

– Не понимаю, что тут смешного?

– Ничего. Мой отец был Фриц. И мой брат – Фриц. Я смеюсь тому, как тебя называют русские: «мороженный Фриц». По их понятиям, ты уже не вояка. Что скажешь на это?

И маленький, тщедушный – но, видно, из тех, кто показывает характер и в бою, и в постели, – вдруг закрычал, трясаясь от ярости, подняв руку со скрюченными пальцами, которые не сжимались в кулак:

– Прикажи атаковать, Гейнц!

– Ну-ну, успокойся...

– Ты увидишь сегодня «мороженого Фрица»! Десять русских покойников я тебе обещаю!..

Нет, это все-таки было войско! Тевтонский дух под ровными рядами глубоких касок, под штандартами на парадном плацу, под марши и гулкий шаг муштрованных легионов, да хоть и на учебном полигоне – это чересчур просто!.. Они явили его – за пределом отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами, они встrepенулись, как застоявшийся конь, расслышавший зов трубы, и требовали, потрясая оружием:

– Поведи нас хоть сейчас, Гейнц!

– Мы согреемся в атаке!

– Помнишь, как было под Дюнкерком?

– А как форсировали Березину?! То ли еще было!

...Что сказали б они сейчас, увидя, как он бредет по дну бесконечного оврага, указывая водителю, где положе, и уже заранее зная, что опять ничего не выйдет! Белый танк они бы, пожалуй, не разглядели в темноте, а лишь его самого в черном комбинезоне, кому-то куда-то показывающего рукой, – зрелище, наверное, диковинное, но и жалкое; тот, «мороженный», хорошо бы посмеялся в отместку.

Оставив все попытки, он забрался в танк и приказал выключить двигатель, а люк держать открытым, чтобы не упустить какой-нибудь случайной машины. Он не решался радировать о своем несчастье, десятки слушачей услышали бы его просьбу, которую нельзя было даже зашифровать, и, разумеется, разнесли бы по всему фронту. Скорчась в остывающей стальной коробке, боясь задремать и время от времени взбадривая экипаж, он всё возвращался к тем егерям и думал о том, что солдатское обещание, которое он вырвал сегодня – нет, выманил! – из их обмерзающих уст, его самого повязало путами и давит на него – убийственной тяжестью. Генерал, пове-

левая солдат умереть, по крайней мере не обманывает его. Но он трижды убийца, когда обещает победу, в которую сам не верит.

Близко к полночи случайная машина связи подобрала их и доставила в штаб 2-й танковой армии, расположившийся в Ясной Поляне, имени Толстого. Белые башни ворот – как и впервые, когда он в них въезжал, – показались ему бастионами, которые каждый раз приходится брать заново, и, поднимаясь к усадьбе, аллеей могучих лип, он чувствовал, что поднимается к самому значительному, за всю его жизнь, решению.

Адъютант и офицеры штаба, ждавшие его с докладами, помогли ему стащить комбинезон, и он поужинал с ними за семейным столом Толстых, отогреваясь коньяком и рассказывая со смехом о происшествии в овраге. Он знал, что об этом будут рассказывать в армии его словами и подражая его интонациям. С тем он отпустил их спать, попросив, не зовя денщиков, убрать со стола и заменить все четыре свечи в подсвечнике. Кроме того, он заказал связь с командующим группой армий «Центр», генерал-фельдмаршалом фон Боком – как только представится возможным.

Несколько минут он просидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам, скрипам и жалобным вздохам старого дома, к вою метели и окрикам патрулей, проникавшим сквозь плотные светомаскировочные шторы, затем встал, подошел к стенному зеркалу, в потресканной овальной раме красного дерева. Зеркало, в которое, наверно, любили смотреться дочери Толстого, отразило высокую, сухощавую, но и достаточно плотную фигуру 53-летнего генерал-полковника германских бронетанковых сил, в сером мундире с черным плюшевым воротником, с Рыцарским крестом на груди и особо ценимой наградой – дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, начавшее стареть мальчишеское лицо, с серо-голубыми глазами и небольшими, пшеничного цвета, усами. Сейчас, когда лицо не для кого было делать, выглядело оно ни улыбчивым, ни лукавым, а измученно-серым. Вглядываясь в себя придиричиво, как женщина, он его умыл рукою, но только резче обозначились набрякшие потемнения

под глазами. Затем рука опустилась, расстегнула две пуговицы мундира, проникла за обшлаг к левой стороне груди. Никто во всей армии, даже из близкого окружения, не знал, что brave Гейнц, казавшийся воплощением здоровья духа и тела, в сущности очень больной человек, подверженный внезапным обморокам и сердечным припадкам. Пока еще эту железную, но одетую в мягкое, руку, сжимавшую сердце пугающим теснением, удавалось разжать двумя рюмками коньяка. Но рано или поздно, следовало всё же открыться врачам. Он собирался это сделать в Москве. Но из сегодняшнего оврага Москва ему показалась уж слишком далекой.

Взяв тяжелый подсвечник, он перешел в кабинет хозяина, к письменному столу, которые были теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было ясно и почти готово, но, страшась его, отодвигая его в сознании, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснения в сердце, о которых она уже знала, описал подробно свои ощущения и попросил, чтоб она осторожно, без огласки, посоветовалась с врачом. И далее, почти без перехода, обрушил на нее жалобы совсем не медицинского свойства – точно бы фрау Маргарита Гудериан, одна во всей Германии, могла ему и в этом помочь. Впрочем, годы спустя, называя три вещи, которые «делают земную жизнь священной», упомянет он – любовь к женщине, и это, несомненно, о ней, Маргарите Герне, с которой встретился двадцати пяти лет отроду, счастливым командиром егерской роты, и особенно оценил ее способность быть верной подругой солдату, – кому ж еще и было адресовать горестные признания? «Мне самому никак не верится, – выводила его рука, – чтоб за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей!..» Ей предстояло узнать, что «наше командование слишком натянуло тетиву лука, оно требует от армии выполнения задачи, невыполнимой – при теперешнем состоянии дорог, погоды, снабжения частей горячим, техникой, зимним обмундированием...» К ней, наконец, посылался вопль души, говоривший и о том, что ее Гейнц знает цену себе, своему умению, и о том, что

резервы его умения – исчерпаны: «Не могу же я один опрокинуть весь восточный фронт!»

Но – откуда же взялось малое это словечко «почти», которое сама рука вывела и не решалась зачеркнуть? В нем и была вся разгадка, и он ее честно пытался нащупать. Не казалась ли ситуация блестящей – без всяких «почти» – в начале вторжения, хоть было известно заранее, и ему – больше, чем кому бы то ни было, что русский «танковый аргумент» впятеро превосходит немецкий?* «Зато, господа, – так ему передали слова фюрера, – у нас есть Гудериан!» И как кружила голову эта легкомысленная, в сущности, похвала!.. «Я вызвал вас, чтобы спросить: сколько дней вам понадобится – разделаться с Минском?» – «Неделя, мой фюрер». – «Значит, я могу быть уверенным, что вы там будете 28-го?» – «Да, мой фюрер». Он ошибся – на один день: его танки и танки группы Гота были в Минске 27-го. Блицкриг с опережением на один день, пусть даже с запозданием на неделю – разве не блестяще?

Но еще весной, когда в Германии в последний раз побывала военная комиссия русских, и они, осматривая заводы Порше, спрашивали недоверчиво: «Неужели Т-IV ваш самый тяжелый танк?» – закралось подозрение, что не в одном численном превосходстве дело. И уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходившем всё, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с плененным «русским Кристи»**, под скромным индексом «Т-34», подтвердило все опасения. Поразило, прежде всего, изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый ее лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и широченные, в полметра, гусеницы – как не додумались до этого ни сам Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он, наконец, создатель бронетанковых сил Германии! Ему не терпелось самому испытать

* На самом деле соотношение было еще благоприятнее для СССР: 17000 против 3200 немецких. – А в т.

** Уолтер Кристи – американский конструктор, заложивший принципиальные основы танкостроения, создатель «формулы танка». – А в т.

«тридцать-четвёрку» – сев за рычаги, он погонял ее по полю, изрытому окопами и воронками, пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулеметов – башенного и курсового. Затем ее расстреливали из танковых пушек – она сопротивлялась активно, отсылая снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины, только ударом сзади, в радиатор, удалось ее подорвать. Танк умер, но не загорелся – и значит, спас бы свой экипаж, – ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами. Подойдя к этой чудо-машине, положив руку на теплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление: «На таком лимузине я бы объехал весь мир!»

Это нельзя было превзойти, это – увы! – нельзя было даже повторить. Немецким изобретением – дизелем – русские распорядились, как не смогли сами немцы: в алюминиевом исполнении он получился компактным и легким и достаточно охлаждался в корме танка. Безвестному русскому конструктору удалось преодолеть то, что составляло нелепый, чудовищный парадокс Германии: легкие бензиновые моторы на танках и чугунные дизеля – на самолетах, где они могли охлаждаться в скоростном потоке воздуха.

Бывая несколько раз в России, еще в двадцатые годы, в составе миссии генерала Лютца, он себе не составил впечатления, что русские смогут так вырваться вперед. Они охотно показывали свои заводы и полигоны, он присутствовал на маневрах в Казани, бывал и в Туле, по этому шоссе, что в двух километрах отсюда, неслись тогда кавалькадой машины, и майор Гудериан с майором П. так мило, откровенно беседовали – оба, конечно, не предвидя, что когда-нибудь генерал-полковник Гудериан встретит и обнимет генерал-лейтенанта П., попавшего к нему в плен под Киевом. У вынужденного гостя, за дружеским ужином, он и спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нем не знали. «Всё очень просто, Гейнц. Его делали враги народа – значит, работали на совесть и, главное, подпольно». – «То есть?» – «Заключенные. В особом цехе тракторного завода в

Харькове. Фамилия русского Кристи – Кошкин. Ему, как будто, пришили троцкизм, а может быть, и покушение на Сталина. Это, впрочем, неважно. Важно, что у него были идеи и три хороших помощника. Многое приходилось делать впервые и буквально своими руками. За всё это их кормили дополнительным супчиком и каждый месяц – свидание с женой, в отдельной камере. В случае успеха – обещали освобождение». – «И они его получили?» – «Кроме Кошкина. Он освободился сам. Так волновался на испытаниях, что умер от разрыва сердца». Так этот безвестный Кошкин, из своего заточения, теперь уже – из могилы, достал-таки его, известного всей Европе, с Рыцарским его крестом и дубовыми листьями. Так четверо узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о второй миске похлебки, сотворили настоящее танковое чудо – и заставили сжаться в тревоге сердце Гудериана! «Кажется, у вас есть пословица, – сказал он П., – не устоит село без своего праведника, или что-то в этом роде. Я думаю, и тюрьма рухнет – без одного, хотя бы, узника-патриота». – «Ты ошибаешься, Гейнц, – ответил П., усмехаясь. – Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов – сколько понадобится».

Но ведь были же, – хотя всё больше и больше вводилось в бой этих «тридцать-четверок», – были и Белостокский котел, и Киевский, и Брянский, были за полгода три миллиона пленных, из которых он мог половину отнести на свой счет. Что же это за страна, где, двигаясь от победы к победе, приходишь неукоснимо – к поражению?

Между тем, он не мог не помнить, что на этом самом столе, за которым сидел он, лежала некогда рукопись, в которой объяснялось, что это за страна и откуда же черпает она такую силу сопротивления, когда уже всему миру, и самой себе, кажется поверженной и разбитой. Готовясь к вторжению, он читал эту книгу в числе материалов, относящихся к походам в Россию Карла шведского и Бонапарта, разыскал ее и здесь, в многотысячной библиотеке усадьбы, но именно теперь, когда она его больше интересовала, он мог читать лишь урывками, по несколько минут перед сном. Всё же одно место, подводившее итог Бородинскому сражению, было у него зало-

жено муаровой ленточкой, и он к нему возвращался и возвращался:

«Не один Наполеон испытывал то, похожее на сновидение чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все... солдаты французской армии... испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв ПОЛОВИНУ ВОЙСКА, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения... Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска,.. а победа нравственная была одержана русскими под Бородиным... Французское войско еще могло докатиться до Москвы, но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть... Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, гибель пятисоттысячного нашествия и гибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника».

Из этих строк, так энергично звучавших на немецком, но, быть может, утративших в переводе свой подспудный, мистический смысл, он хотел извлечь урок для себя – и не мог извлечь, хотя шел так близко от дороги Наполеона и несколько раз ее пересекал. Он не испытывал наложения чьей бы то ни было руки, сильнейшей, чем его рука, не ощущал и нравственного превосходства советских генералов, так щедро бросавших лучшие силы на убой, без расчета и смысла, слишком оправдывая известное положение фон Шлиффена, что и побежденный вносит свою лепту в дело твоей победы. Отдавая должное русским солдатам, их доблести, спокойной жертвенной готовности расстаться с жизнью, он, в то же время, твердо полагал, что они, в отличие от немцев, безынициативны, страшатся любой неясности, ведут себя непредсказуемо даже для них самих. То, поддавшись необъяснимому страху, сдаются овечьим стадом или бегут, не разбирая дороги, а то вдруг отчаянная горстка их цепляется намертво за клочок земли, не имеющий

никакого военного значения, не сто́ящий не только их жизнью, но одной капли крови. О защитниках Брестской крепости, сражавшихся только потому, что не могли поверить в бегство своей армии и не понимали, в каком они глубоком немецком тылу, об этой крепости, за которую Гитлер всё укорял его, потому что, видите ли, обещал Муссолини дать обед в ее стенах, он, Гудериан, говорил: «Значение этой крепости неизмеримо вырастает, коль скоро мы ею интересуемся, и падает до нуля, как только перестаем интересоваться. Нужно у одного ее входа поставить пулеметное гнездо и прожектор, и у другого входа – пулеметное гнездо и прожектор, самим же двигаться дальше».

Некоторые военные страницы Толстого он не мог читать без чувства неловкости за автора. Рассуждения о кусках материи на палках или о несущественной цене пространства, где стоят войска, еще можно было простить, нельзя было ни простить, ни понять его упрямое непризнание войны как искусства, а не только бедлама, хаоса, в котором никто ничего предвидеть не может, а поэтому никакой полководец на самом деле ничем не руководит. Сколько страсти было потрачено – доказать, что Наполеон не руководил и не мог руководить ходом сражения при Бородине, – и при этом, автор забыл начисто, какой комплимент он уже отпустил Наполеону 70-ю страницами раньше, когда описывал, как он сходу, еще до начала сражения, атаковал конницей Шевардинский редут и тем заставил русских передвинуться к полю; которое «было не более позицией, чем любое другое поле в России» и на котором «немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства». Да после такого трюка Наполеону и не было нужды руководить самому, он мог всё препоручить маршалам, а сам идти играть в карты или пить свой пунш. Ну, и если быть справедливым, то и своим названием Бородинская битва обязана ему, а то б она была – Шевардинская. Однако ж, у автора рука не поднялась написать, что битва была *выиграна* Бонапартом – еще за двое суток до того, как она началась, – со скрежетом зубовным он признал лишь, что она была *проиграна* глупым русским ко-

мандованием. Граф, верно, придерживался того расхожего мнения, что из двух генералов один побеждает просто потому, что должен же кто-то оказаться глупее. Остроты подобного рода не трогали Гудериана, знавшего к ним поправку: подозрительно часто побеждает тот, кого заранее считали глупее.

Но один эпизод по-настоящему трогал его и многое ему объяснял: то место, где молоденькая Ростова, при эвакуации из Москвы, приказывает выбросить всё фамильное добро и отдать подводы раненым офицерам. Он оценил вполне, что она себя, тем самым, лишила приданого – и, значит, надежд на замужество, – и он снисходительно отнесся к тому, что она говорит при этом: «Разве ж мы немцы какие-нибудь?..» Что ж, у немцев сложился веками иной принцип: армия сражается, народ – работает, больше от него никогда ничего и не требовалось. К тому же, судить по роману, так никаких немцев эта девица и не видела. Вот что было любопытно: этот поступок сумасбродный «графинечки» предвидел ли старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при Бородине? Предвидел ли безропотное оставление русскими Москвы, партизанские рейды Платова и Давыдова, инициативу старостихи Василисы? Если так, то Бонапарт проиграл, еще и не начав сражения; он понапрасну растратил силы, поддавшись на азиатскую приманку «старой лисицы Севера», на генеральное сражение, которое вовсе не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества – гигантские пространства России, способность ее народа безропотно – и без жалости – пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней. И что же – он, Гудериан, этого не предвидел? Где ж теперь искать – его Бородино?

Ведь он всячески избегал этих азиатских приманок, встречи грудь с грудью – как, прежде всего, остановки в движении; без движения не было «Быстроходного Гейнца», не имели цены его маневры охвата, клещей, рассекающие удары, быстрые рокадные перемещения, знаменитое его «вальсирование», «плетение кружева» – не теряя при этом контроля над всеми своими танками, держа их всегда «в кулаке, а не вразброс». А приманка спокойно

дождалась его – Киев, поворот армии на юг, к Лохвице, где его танкисты встретились с танкистами фон Клейста и своим рукопожатием замкнули котел с пятью русскими армиями. Полмиллиона пленных – это не блестящая победа? Но блицкриг имеет одну особенность – он не терпит изменений, даже изменений к лучшему. Было гибельным уходить с главного направления, на Москву. Почему же на том совещании в Борисове он согласился с Гитлером, который вдруг перестал интересоваться Москвой и всё внимание обратил на Киев и Ленинград? Почему оставил попытки переубедить, не угрожал хотя бы отставкой? Потому что – солдат? Нет, этого мало сказать. Ему и самому хотелось уйти с Ельнинского выступа, где русские оказали сильнейшее сопротивление и где как раз назревало «генеральное». Ему и самому казалось, что «сбегать» на 450 километров к югу и вернуться – еще успеется до зимы. Не успелось. И не без оснований упрекал его тогда Гальдер*, этот сухарь, штафирка, в жизни не командовавший даже полком, к тому же – ухитрившийся не присутствовать на совещании:

– Как вы могли, мой дорогой Гудериан, согласиться на это? Ведь вы были против такого решения. На какой крючок вас поддели?

Было дико и обидно слушать это Гудериану, который, единственный из генералов, осмелился возражать фюреру. Но именно потому, что это было дико и обидно, он, вскипая, отвечал надменно и заносчиво, а главное – уже почти убежденно:

– Я два часа говорил с фюрером наедине, и он сумел меня переубедить. Я обещал ему, и я исполню обещанное как можно лучше. Я сделаю невозможное возможным.

– Но в таком случае, мой дорогой Гудериан, сами же и планируйте вашу операцию. Позвольте Генеральному штабу к ней пальцем не прикоснуться. Мы не занимаемся наступлениями, которые относятся к категории «невозможных».

* Начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии. После 20-го июля 1944 года Гитлер на эту должность назначит Гудериана. –
А в т.

– Мой дорогой Гальдер, – отвечал Гудериан, уже взяв себя в руки, улыбаясь своей знаменитой улыбкой солдата, славного парня, – это как раз то, о чем я всегда мечтал. Чтоб Генеральный штаб занялся посильным для него, а к моим операциям пальцем бы не прикасался.

Сухарь и штафирка был, однако, прав – разумеется, не от избытка ума, а от унылого житейского понимания, что этой стране всё на пользу, а прежде всего – ее бедность, ее плохие дороги, ее бесхозяйственность и хроническое недоедание в деревнях, недостаток горючего, мастерских, инструмента, корма для лошадей. Теми пятьюстами тысяч пленных русские оплатили главное для себя – время, они купили себе и дождливую осень, и нестерпимо холодную эту зиму, всю дьявольскую полосу невезения, в какой сейчас оказались немцы. И хорошо, если только время утеряно. А если – мужество? А если – даже смысл вторжения?

«Я только солдат», – говорил он о себе, но чем-то же должна была вдохновляться его энергия, не одними мечтаниями о фельдмаршальском жезле, и она вдохновлялась сознанием, что серой чуме большевизма не может противостоять дряхлеющая Европа, предел поставит – лишь сильная духом, отмобилизованная Германия. И он чувствовал себя острием меча, взнесенного отрубить все девять голов гидры, – но, к сожалению... к сожалению, неповоротливую его рукоять держали другие. И не им это было заведено: генералы делают войну, политики делают политику. Как втолковать тем господам в Берлине, которые не любят выглядывать из мира своих иллюзий, из скорлупы святого неведения, что здесь, в России, приходится заниматься и тем, и другим, и даже неизвестно – чем в первую очередь, приходится – страшно сказать – переосмысливать и самые цели войны. Как бы, к примеру, они отнеслись к словам старого царского генерала, которого он безуспешно звал в бургомистры Орла:

– Вы пришли слишком поздно. Если бы двадцать лет назад – как бы мы вас тогда встретили! Но теперь – мы только-только начали оживать, а вы пришли и отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда вы уйдете, мы должны будем всё начать сначала. Не обессудьте, гене-

рал, но теперь мы боремся за Россию, и в этом мы все едины.

При этом, он был в мундире со всеми регалиями, пронафталиненном и со складками от долгого хранения на дне сундука. И не отказывался поведать, как все эти двадцать лет он трясся от страха, что его генеральство откроется.

В те же дни было доложено Гудериану, что в подвалах и камерах городской тюрьмы найдены сотни трупов – узники, расстрелянные своими тюремщиками за день или два до падения города. Он приказал выяснить, кто эти люди и за что казнены. Ему пришлось, и не в первый раз, убедиться, что этот вопрос «За что?» – конкретный для любого мясника из гестапо – здесь звучит безнадежной абстракцией. Выяснилось, что ни один из казненных не имел смертного приговора – даже Бессонов, бывший советник посольства в Берлине, чем-то рассердивший Сталина, даже личный враг Ленина социалистка Мария Спиридонова.

Он приказал выложить все трупы рядами на тюремном дворе и открыть ворота для всего города. Он и сам явился туда, назначив себе пятнадцать минут, и терпеливо их отстоял у стены, близкий к обмороку. Все же он переоценил свои нервы, это оказалось еще ужасней, чем он ожидал, чем если бы даже эта массовая, бессмысленно-жестокая казнь совершалась на его глазах. Боевого генерала не поразишь видом и запахом мертвых тел, даже и в больших количествах, но до сих пор он их видел на полях боев, в безмолвии и покое уже свершившегося и необратимого. Невыносимее было видеть – живых, когда они, в припадке горя и какой-то сумасшедшей надежды, пытались что-то вернуть, оживить родные лица, уже тронутые разложением, лаская их, исцеловывая, обливая слезами. Но что потрясло его еще сильнее, было ужасней и смрада, и нескончаемого, неутихающего вопля, – то, как смотрели на него самого: со страхом и ясно читаемой злобой. Будто и он был к этому причастен, или тем виноват, что из-за его присутствия мертвые глухи к отчаянным мольбам откликнуться. Явно, от него требовали уйти, и он бы

ушел немедленно, но дело касалось – армии, за которой не было вины, и люди должны были это понять!

Между рядами, щедро крестя убитых и живых, похаживал священник в малиновой рясе, полненский, сивогривый, потертый русский батюшка, по всему виду – выпивоха и чревоугодник, но душою любвеобильный. Он всех оплакивал искренними непросыхающими слезами, то и дело утирая глаза и нос подолом рясы. Гудериан велел позвать его и спросил:

– Почему ваша паства так на меня смотрит? Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?

Покуда переводили его вопрос, батюшка, всхлипывая и ёжась от страха, смотрел снизу вверх на рослого генерала в черном плаще и фуражке с высокой тульей, на которой серебряный орел держал в когтях венки со свастикой. Кажется, все слова застряли у него в горле от вида могучих охранников, немедленно, как только он подошел, направивших на него винтовки. С этими парнями, тупыми – но, впрочем, готовыми умереть за него, – Гудериан ничего не мог поделать, они выполняли приказ фюрера, они головой отвечали за сохранность танкиста номер один.

– Говорите, – сказал Гудериан, – они вам ничего плохого не сделают, если оставите в покое вашу рясу.

Батюшка в ответ закивал и, не удержавшись, икнул от слез.

– Господин генерал, вы б не хотели, чтоб вам отвечали грешные мои уста, но ответила бы душа, потрясенная горем?

– Так, – сказал Гудериан. – Только так.

– Никто не думает, что это сделали ваши танкисты. Но может быть, не случилось бы этого, если б не ваши танки?

– Вы хотите сказать: я наступал слишком быстро? Перерезал шоссе, не дал времени для эвакуации? Это мое ремесло, батюшка. Старинное и почтенное, Бог его не отрицает. Я только стараюсь делать свое дело как можно лучше. Но вы уверены, что если бы я его исполнял хуже, и у тюремщиков было время, они бы не перестреляли узников, а вывезли на грузовиках? Я, так уверен в другом:

они бы сделали то же самое, а на машинах вывезли бы самих себя и свое добро – как можно больше.

– Кто и в чем может быть уверен, кроме Бога единого?

– И, тем не менее, вы мне бросили упрек. Хорошо, я его принимаю. Но тех, кто это сделал, вы не упрекаете, вы о них молчите. Как будто они – механическое следствие, тупая, безрассудная сила. Как ураган, как землетрясение.

Батюшка, озираясь на винтовки охранников, тяжело вздохнул, по лицу его, по глубоким морщинам, потекли ручейки слез.

– Да не обижайте вас, господин генерал...

– Говорите всё.

– ...но это наша боль, – вымолвил батюшка, – наша, и ничья другая. Вы же – перстами своими трогаете чужие раны и спрашиваете: «Отчего это болит? Как смеет болеть?» Но вы не можете врачевать, и боль от касаний ваших только усиливается, а раны, на которые смотрят, не заживают дольше.

– Значит, по-вашему, я сделал ошибку, что показал вам эти ваши раны? Лучше было бы скрыть их?

– Каждый шаг человека есть ошибка, если не руководствуется он любовью и милосердием. И если будете честны перед собою, господин генерал, то признаете...

– Благодарю, – сказал Гудериан. – Не смею вас задерживать.

Он прервал – не священника, а переводчика, уже догадываясь о сказанном и зная, что могло бы этому батюшке и не поздоровиться – потом, за его спиной. Уже сделали стойку офицеры из отдела пропаганды, пописывающие доносы и на него самого в Берлин, – впрочем, аккуратно перехватываемые добрым другом, начальником армейской разведки Геленом, – да и не было нужды выслушивать то, что было на уме у всех у них – плачущих, вопящих, причитающих, и что он знал и без этого. Ты пришел показать нам наши раны, а – виселицы на площадях? а забитые расстрелянными овраги и канавы? а сожженные деревни, с заживо сгоревшими стариками и младенцами? а все зверства зондер-команд и охранных отря-

дов, все насилия и грабежи, совершаемые армией третьего рейха?.. Слава о них обгоняла ход его танков и уже была здесь, на тюремном дворе, прежде чем он сюда явился. Могла ли не начаться – или хотя бы прерваться в каком-нибудь звене – эта извечная бессмысленная кровавая чехарда: сопротивление – кара за него – месть за кару – новая кара за месть – новая месть за новую кару?..

...А ведь в Лохвице – той, что замкнула киевский котел, – его танк забросали цветами.

Рукоять меча держали другие – и они не расслышали слов кремлевского тирана, сказанных на одиннадцатый день тому самому народу, над которым он всласть наиздевался. А ведь, очухавшись, этот азиат сказал самое простое, гениальное, безотказное: «Братья и сестры...» Может быть, потому не расслышали, что этими же словами так дешево бросался Гитлер; в устах угрюмого Иосифа Сталина они звучали весомей и обещали некую перемену. На самом же деле он ничего не обещал, не признал никаких своих преступлений, он только приспустил один флаг и поднял другой. Но и месяцы спустя Гитлер не заметил этой перемены флага – его разгневал наглый ноябрьский парад на Красной площади, но того, что он обязан был предугадать, он опять не расслышал, не внял речи, после которой ему противостояла уже не Совдепия с ее усилением и усилением классовой борьбы, противостояла – Россия.

Всегда, до конца своих дней, считавший мифом «непобедимость русского колосса», Гудериан признавался себе этой ночью, что по крайней мере летняя кампания проиграна – в тот, одиннадцатый, ее день, когда из Кремля разнеслось набатным колоколом: «К вам обращаюсь я, друзья мои!..» – а в Имперской канцелярии в Берлине это было пропущено мимо ушей. Так, наверное, пропустил бы и Бонапарт, если б его лазутчики донесли ему, что покуда он выигрывает позиции и ожидает на Поклонной горе ключей от Кремля, в это время – никем не предсказанная, не учтенная сумасбродная «графинечка» Ростова без колебаний раздает свои подводки раненым. А между тем, она ему объявила свою войну – и не легче войны Кутузова и Баркляя!..

Но – Рубикон перейден, и время не повернешь вспять, к 21-му июня, – что ж оставалось теперь, когда наступательные силы исчерпаны? когда изношены моторы и стерлись шипы? когда осталось горючего на два дня боёв, на столько же – снарядов, и в кулаке – лишь половина прежнего количества танков, и нет надежды, что всё это придет – хотя бы через неделю? Выполняя приказ фюрера, спешить экипажи и повести их на отчаянный штурм? Это неплохо звучало бы для истории – «Ледовый поход Гудериана». И они – превосходные солдаты, они пойдут за ним куда угодно – но пусть кто-нибудь другой погонит их в ледяную могилу. Что может Гудериан без своих танков?!

Его рука еще выводила в письме: «Ростов был началом наших бед», но он знал – что простилось фон Клейсту, не простится ему. Старик фон Клейст брал Ростов и был вышиблен из Ростова, но он не оставлял следов, он не писал приказов, не принимал кардинальных решений. Гудериан, на которого столько возложено надежд, обязан принять такое решение, на которое не отваживается Генеральный штаб, да уже и принял его, и знал, что приказ будет им написан сегодня. Он уже выбрал участок обороны, куда следовало отвести войска от Каширы и Тулы – линия рек Шат, Упа, верхнее течение Дона, с командным пунктом – в Орле. Здесь укрепиться, перезимовать, а весной попытаться продолжить начатое – второй кампанией. Решение казалось ему здравым и единственно возможным, вся насмешка судьбы состояла лишь в том, что именно он, гений блицкрига, душа блицкрига, должен был здесь, в доме Толстого, написать первый за всю войну приказ об отступлении. Приказ, грозивший ему отставкой, немилостью фюрера, вызовом на рыцарскую дуэль, злорадным торжеством многих его коллег из генералитета. Но этот, доставшийся ему, жребий было не обойти.

С командующим группой армий «Центр» фон Боком его соединили в четвертом часу утра. Фельдмаршал еще не ложился, был крайне утомлен, говорил слабым голосом и рассеянно. Когда Гудериан поведал ему о своем

решении, ответа не было так долго, что казалось, прервалась связь. Наконец, фон Бок спросил:

– Где, собственно, вы находитесь?

– В Ясной Поляне, семь километров от окраины Тулы.

– Я почему-то думал – в Орле...

– Господин фельдмаршал, танковые генералы таких ошибок не делают. Я нахожусь достаточно близко от своих войск, чтобы видеть воочию страдания наших доблестных солдат. И я нахожусь в достаточном отдалении, чтоб наблюдать общую картину. Она – безотраднa.

– Я понимаю, – сказал фон Бок. – Я понимаю, почему вы так решили.

Гудериан все-таки ждал чего-то еще. И дождался:

– Да поможет вам Бог. Скажите, мой дорогой Гудериан, вас там надежно охраняют? Вы хоть можете спокойно спать?

– Вполне, господин фельдмаршал.

– А я, знаете ли, хоть и в семидесяти километрах, наверно, а чувствую себя...

– Я желаю вам, господин фельдмаршал, – перебил Гудериан, – спокойной ночи.

Прерывая дерзко вышестоящего, он давал понять, что и не рассчитывал на его заступничество перед фюрером. Фон Бок ответил поспешно и даже как будто обрадованно:

– Доброй ночи, мой дорогой...

Гудериан положил трубку, не дослушав. Минуту помедлив, он дописал в письме: «Я меньше всего думаю о себе, гораздо больше меня волнует судьба всей Германии, за которую я очень опасаюсь». Затем положил перед собой чистый бланк с грифом командующего 2-й танковой армией.

Совершая свой поступок, – может быть, высший в его жизни, – он чувствовал нечто похожее на смертное равнодушие бегуна, которому вдруг безразличными показались все почести, ожидавшие его на финише, и ничтожным, бессмысленным – азарт начала бега. Никогда таких трудов не стоило ему написать несколько фраз.

– Да поможет мне Бог, – произнес он вслух, откладывая перо.

Приказ лежал на столе Толстого, он заканчивался обычным «Хайль Гитлер!», его оставалось только подписать. Он все медлил, точно бы опасаясь, что когда эта бумажка будет подписана, он станет уже не господин ее, а покорный исполнитель. Но вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага, указывающая путь одному-единственному танку, бессильному одолеть совсем не крутой склон. И, уже не колеблясь, он расписался. Впервые обычная его подпись – без имени, звания, должности – показалась ему как бы отдельной от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто, человек, голый и беспомощный – *Гудериан...*

Этот приказ только рассылался в войска, но еще не приводился в действие, и советский генерал, находившийся в ограде церкви Андрея Стратилата, не мог о нем знать. Бездействие противника, выбитого из деревеньки Белый Раст, успокоения не принесло, оно тревожило и пугало больше, чем если б тот предпринял самые яростные контратаки, с вводом артиллерии и танков. В неожиданном и как будто покорном молчании Рейнгардта могли таиться и новый коварный замысел, и ожидание какого-то, обещанного ему, резерва, но и просто апатия, неохота посылать измученных солдат в метель и стужу на приступ. И, предполагая худшее, генерал то и дело гонял конного связного за полтора километра на свой КП в Лобню, к телефонному узлу, – хоть проще уже было бы дотянуть провод сюда или самому туда вернуться. Чего так хотелось ему – отрешиться, подняться над суетой и неразберихой ежечасных сведений – не вышло и здесь; отдалась, неизвестность только пуще изматывала ничуть не отдалившимися угрозами. Он здесь был – страус, зарывший голову в снег.

В последний раз ожидали связного особенно долго, и он возник из метели почему-то спешенный, ведя коня в поводу. Следом возник еще некто – в белом длинном тулупе, ушанке и валенках, на груди бинокль в новеньком

футляре, плотно набитая командирская сумка из глянце-вой кожи моталась по бедру. Еще молодое, обожженное морозом лицо, с ямочками на щеках, выглядело как будто смущенным.

– Просьются до вас, товарищ генерал, – сообщил делегат связи. – Говорят, заблудились маленько.

Пришедший с ним это подтвердил – охотно вспыхнувшей зубастой улыбкой – и сказал, чуть разведя руками в перчатках, отороченных у запястьев белым мехом:

– Чего не случается... Виноват.

Генерал, убрав ногу с паперти, намеренно повернулся сначала к делегату и потребовал доклада о Белом Расте. Выслушивая внимательно – всё о том же бездействии противника, – он боковым зрением не упускал пришельца. Скрипучая амуниция и слишком чистый тулуп не выдавали в нем фронтовика, но не мог он быть и порученцем из штаба фронта и тем более из Москвы, не так держался. «Морда, однако, у него командирская», – отметил генерал. И ощутил как бы крохотный толчок в сердце: не этот ли пришелец, стоящий в неловком ожидании, и есть то событие, которое непременно должно было нынче случиться, то самое, свыше поданное, знамение удачи?

– Итак, заблудились, – протянул генерал басисто, поворачиваясь наконец и к нему. И деланно возмущился, играя богатым своим голосом. – Как же так? Не понимаю! И бинокль не помог?

– Однако, – возразил тот, со своей охотной улыбкой, – все-таки вышли на вас. Если, конечно, вы – генерал Кобрисов. Не ошибаюсь?

Делегат связи стоял с невозмутимым лицом, поглаживая храп коню.

– Ошибаетесь, голубчик, ошибаетесь, – при том драматически-шутливом тоне, в каком говорил генерал, его можно было понять двояко. – А вы кто, позвольте знать?

Пришелец не чересчур поспешно вытянулся, изящно касаясь перчаткой своей пышной ушанки – куда пышней, чем у генерала.

– Подполковник Веденин, командир сто восьмой отдельной стрелковой бригады. Прибыли в распоряжение генерал-майора Кобрисова.

– И где же она, ваша бригада? Надеюсь, не потеряли?

– Никак нет. Видите ли... Пунктом назначения нам были указаны Большие Перемерки. Впрочем, кажется, Малые... – Подполковник было потянулся к своей сумке, но по дороге отдумал. – Ну, теперь уже неважно, мы и те, и другие как-то прошли. А вышли – вот, к Лобне. Просил вашего связного нас сориентировать – он, вместо этого, привел меня к вам.

– Умник он у нас, – сказал генерал насмешливо-одобрительно. – Да почему же – «вместо этого»? Привел правильно.

Делегат связи, глядя так же невозмутимо, стал руки по швам. Конь, звякая удилами, положил ему голову на плечо и всхрапнул.

– Сколько у тебя людей? – спросил генерал быстро и требовательно, вынуждая ответ столь же быстрый:

– Два полка полного состава.

– Полного состава, – повторил генерал, как эхо. – Что, только сформированы?

– Свежие, товарищ генерал.

Подполковник отвечал таким тоном, как если б сказал «Гренадеры!», «Орлы!»

– Свежие – значит, небитые. Так оно – на военном языке?

– Сибиряки, однако, – возразил подполковник.

– И что же? – Генерал к нему подошел вплотную и смотрел, сверху вниз, с насмешливым интересом. – Как понимать – это особая порода, сибиряки? Вы там, в Сибири, запросто с медведями в обнимку ходите? Водку из миски черпаками хлебаете и живыми тиграми закусываете?

Спутники генерала готовно хохотнули, но он перебил их, возвысив голос до командного, глядя сквозь толстые линзы пронзительно-сурово:

– Особых ваших сибирских преимуществ – не наблюдаю. Заблудились вы, как малые дети. И благо еще, на противника не вышли походной колонной. Он бы вас отлично сориентировал – в гроб.

Подполковник, противясь распекающему начальству, как это принято в армии – одними пальцами рук в

перчатках и пальцами ног в валенках, вытянулся еще попрямее, с потемневшим, построжавшим лицом.

– Прошу, товарищ генерал, указать наше расположение и поставить задачу. Если вы, конечно, генерал Кобрисов. Если нет – прошу помочь исправить нашу ошибку. – Он поправился: – Мою ошибку.

– Твою, – подтвердил генерал. – А то ты все «мы» да «мы».

И, отвернувшись, он стал прохаживаться по церковному двору, сцепив руки за спиною. Эта бригада, из двух полков полного состава, то есть верных три тысячи людей, была, как видно, обещана его соседу Кобрисову, чтоб как-то заткнуть широчайшую брешь между правым флангом его армии и Рогачевским шоссе, – и по всем военным законам, да просто по-соседски, следовало ее переправить по назначению, выделив ей, по неопытности командира и полному незнанию местности, проводника. Но чего они стоили сейчас – соображения соседства и даже, чёрт побери, дисциплины? Дело в том, что армия Кобрисова, по плану, не участвовала в наступлении и не принадлежала к Западному фронту, это была одна из тех двух армий, которые Сталин наотрез отказался выделить Жукову, а поставил на внутреннем полукольце обороны. Он оставлял себе этот резерв на случай, если танковые клещи Рейнгардта, Гёппнера и Гудериана все же сомкнутся вокруг Москвы, – тогда, умирая, эти две армии позволят эвакуироваться ему самому и его сподвижникам из Политбюро и наркоматов, с их семьями и добром. Эту бригаду нельзя было выпросить у Кобрисова, нельзя было и у Жукова, можно лишь у самого Верховного – значит, ни у кого, разве что у Господа Бога. Но не Им ли она и послана была сейчас – для тяжкого искушения: присвоить эти три тысячи молодых, крепких, хорошо вооруженных и одетых, пусть и необстрелянных, но – сибиряков, охотников, стрелков? В случае успеха – когда те две армии и не понадобятся – о, разумеется, это простят. Но не пройди он хоть два километра – у какого же трибунала будут еще сомнения насчет его вины и единственной за нее кары?

Мученик Андрей Стратилат, с выщербленной вратной иконы, смотрел погасшими тусклыми глазами и ничего не советовал, лишь заставлял вспомнить собственную страшную участь.

Командир бригады, стоя навытяжку, водил взглядом за его похаживаниями, все другие тоже следили напряженно, и долее медлить было бы уже проявлением слабости.

Генерал подошел к подполковнику и сказал:

– С Кобрисовым мы всегда договоримся. Поступаете в мое распоряжение.

– Не понял, товарищ генерал, – сказал подполковник. – Вы всегда договаривались или только намерены договориться?

От ямочек на его щеках теперь только сильнее выделялись внушительные желваки. Как бы разжималась в нем упрятанная до поры тугая пружина.

– О моих намерениях, – властно пробасил генерал, – прошу вопросов не задавать. В армии, согласно уставу, выполняется последнее приказание, так что – будь спокоен, ты не отвечаешь.

– По уставу оно так, – согласился подполковник, но тут же и возразил: – И все же прошу вас сообщить о вашем приказании генералу Кобрисову. Согласно тому же уставу. Или – разрешите, я сообщу.

Это маленькое сопротивление подействовало на генерала противоположно – только утвердило его в своемольном, опасном для него, но, быть может, чем чёт не шутит, и правильном решении – втором в этот день, после того как он решил не препятствовать бегству на Рогачевском шоссе и понял, что единственного не ожидает преследующий противник – удара «кулаком в рыло».

Впрочем, сейчас не столько об этом ударе думал он, сколько о том, чтоб подавить сопротивление стоявшего перед ним, когда посмотрел на часы и отчеканил:

– Вот что, подполковник. Объяви своим людям – даю им полтора часа отдыха. И – в бой.

Командир бригады, закусив губу, вмиг утрачивая свой румянец, еще секунду постоял в раздумье.

– Есть полтора часа отдыха и – в бой...

– Дать ему коня, – сказал генерал. – Справишься?

Подполковник, что-то глотнув, молча кивнул. Делегат связи отдал ему повод и подтолкнул в седло.

Упираясь сумрачным взглядом в спину всадника, очень прямую, но с опущенными плечами, генерал представил себе, как дрогнут сердца этих трех тысяч, когда им объявят, что война для них начнется не через неделю, как они того ждали и готовились, а сегодня, сейчас, и как пронзит их сознание, что многие из них видят друг друга в последний раз. Он увидел, как они прежде замирают от этой новости, встреченной в молчании, а затем, понемногу, в этой трехтысячной массе начинается движение – поначалу суетливое, потом все более осмысленное, спокойно-расторопное, – приготовление к самому худшему, что должно было когда-нибудь случиться и вот – случилось. А виной всему – слово, короткое слово, сорвавшееся как бы и невольно...

Но, между тем, какое-то движение началось и вокруг него самого: как в полусне, он слышал распоряжения и команды, кто-то отвязывал уже лошадей у ограды, вскакивал и отъезжал, другие – раскрывали свои планшетки и сумки, доставали двухвёрстные карты, планы и боевые карточки; радист, как будто и не спросясь никого, распаковывал рацию, втыкал антенный штырь с лепестками-звездой, кричал в трубку: «Заря! Как слышишь, Заря?.. Седьмой будет говорить, передаю седьмому!..» Никто ни о чем не спрашивал генерала, всё происходило само собою – и вот, из не видной отсюда балки, донеслись тарактенье и взрэвы – то заводились моторы пятнадцати танков, выделенных ему из резерва лично Верховным и называвшихся не по чину «дивизионом»; в разрывах и опаданиях метели стало видно, как в эту балку с дальнего холма стекает на рысях казачий эскадрон и выплескивается, совсем уже близко, на этот берег, чернея бурками, алея верхами кубанок. И с замиранием сердца, как прыгнувший с высоты, он осознал, что приказ продолжать наступление уже отдан им – или, по крайней мере, так именно понято неотменимое слово командующего, сказанное тому, давно уже отъехавшему, командиру бригады: «Полтора часа отдыха и – в бой».

Были побуждения – всё остановить, властным голо- сом всех вернуть на прежние места, сказать, что его не так поняли, совсем не то он хотел приказать. Но рот его, крепко сжатый, словно бы не мог разжаться, не могла, не смела гортань исторгнуть самые простые слова. И, вме- сте с тем, одна мысль, и окрыляющая, и парализующая, билась в нем, посылая толчками кровь в виски: что его поняли именно так, и приказал он именно то, что хотел – и не решался.

Если бы знать еще с утра, что судьба даст ему пройти в наступлении не два километра, как он смутно надеялся, и не двадцать, о чем он даже мечтать не смел, но все две- сти километров – до Ржева – будет его армия гнать перед собою немцев, этим рывком – от малой деревеньки Белый Раст на Солнечногорск – побудив и приведя в дви- жение все пять соседних армий Западного фронта!

Так минута его решимости и час безволия опреде- лили судьбу Москвы.

И хотя остальное уже не от него одного зависело, он навсегда входил в историю спасителем русской столицы – той, куда четыре года спустя привезут его судить и каз- нить, и все же никогда, никакими стараниями, не отделят его имя от ее имени.

Через неделю газеты всего мира заговорят о «рус- ском чуде под Москвой», но в этот час оно показалось чудом, пожалуй, лишь одному человеку – Шестерикову, стоявшему в совершенном отчаянии на обочине шоссе над своим умирающим генералом. Уже и милиционер отвалил, исполнив свой же совет: «Всем драпать пора». Все же, к его чести, он ту горбушку отработывал до конца – ничего из вещей не было украдено, он даже нагреб на них сапогами отличный холмик. Другим таким хол- миком, только подлиннее, был генерал. Однако же, возле его рта еще оттаивало – и значит, Шестерикову нельзя было бежать.

Вдруг, сквозь завесу метели, разглядел он поодаль, в поле, нечто неясное и странное, движущееся встречно движению по шоссе. Редкой цепочкой выплыло не- сколько танков, тащивших за собою сани, а в санях плотно сидели люди – в белых полушубках, в ушанках, в

валенках, – держа к небу черные стволы автоматов. Белыми призраками, в балахонах, скользили друг за другом лыжники, с притороченными за спиною винтарями. И уж вовсе как в сновидении, медленной-медленной рысью, разметывая сугробы, шли черной россыпью конники в мохнатых плечистых бурках; передний держал стоймя у ноги зачехленное знамя.

До сих пор Шестериков только убегал и прятался, и если б ему сказали, что он присутствует при начале великого наступления, он бы не то что не поверил, а просто не допустил бы до ума. Его озарила надежда – чисто практическая: ближний к нему танк, к тому же свободный от саней, шел в каких-то шагах тридцати, и он вовсе не был миражем, он рокотал двигателем, и черное облачко выхлопа реяло за его кормой, и если изменили Шестерикову глаза и уши, то чуткий его нос уловил несомненный запах работающего трактора. Это был танк, вещь убедительная, почище той сорокапятки, о которой мечтали они с милиционером, и даже той зенитки с ее ненадежной станиной. И он кинулся наперерез, размахивая маузером, крича танку остановиться. Против слепой махины он себе самому казался муравьем, размахивающим лапкой против сапога. Но чудо произошло – танк явно замедлил ход, и стал приподниматься башенный люк, из-под него вынырнуло юное лицо, под сдвинутым на затылок черным шлемом, и черный ворот комбинезона с лейтенантскими кубиками.

Мальчишка-лейтенант, выбравшись до пояса, оглядывался по сторонам горделиво и мечтательно, вдыхая воздух открытым ртом. Он будто и не слышал Шестерикова, который бежал рядом вприпрыжку, вздевая к нему руки и выкрикивая свои мольбы. Однако, не ответив ни слова, лейтенант кивнул ему, приопустился в люк и что-то там скомандовал. Танк повернулся на месте и пополз к шоссе. Он пересек наискось кювет, но весь на дорогу не выполз, а, медленно вращая башню, перегородил путь, как шлагбаумом, длиной своей пушкой.

Для лейтенанта, очень картинно стоявшего в люке, это могло добром не кончиться, и Шестериков ему прокричал совет поберечься, но тот либо слов его не рас-

слышал, либо, по молодости, не придавал значения. Впрочем, никто стрелять не посмел, а первая же повозка остановилась, и лошади, как их ни нахлестывал, рассчитывая проскочить, ополоумевший ездовой, осадили назад, храпя и вылезая из хомутов. Люди, бывшие в повозке, человек восемь, соскочили вмиг и все же пробежали под пушкой. Но ездовой своих козел не покинул и смотрел в ужасе на лейтенанта, который молча, протянутой рукою, указывал ему на Шестерикова.

– Милый человек, – Шестериков бросился к ездовому, прижав одну руку к груди, а другой, по забывчивости, наставляя на него маузер. – Не бойся, пропустит он тебя, помоги мне только генерала уложить. Довези ты мне его до Москвы, а там уж как Бог положит...

С трудом дошло до ездового, что заснеженный холмик – это и есть генерал. Другие, что напирали сзади, сообразили быстрее и уже покрикивали нетерпеливо: «Подмышками его бери, а ты – под коленки...», а там, не выдержав, и сами кинулись помогать.

Шестериков уложил генерала на сено, головою – вперед, к Москве, сдул с лица снег, подоткнул сена под затылок ему и под бока, сеном же накрыл ноги, обмотанные грязным бельем, хотел бы и перекрестить, но постеснялся отчего-то ездового и лейтенанта, только махнул рукой танку. Пушка медленно отвернулась, и ездовой, секунды не теряя, нахлестал лошадей в галоп. За ним, с утроенной рьяностью, и другие.

Шестериков подошел к лейтенанту, который, так ни слова и не произнеся, стоял в люке картинно и горделиво, едва только не подбоченясь.

– Слышь, лейтенант, а как мне тебя потом вспоминать? – спросил он и благодарно, и с великим изумлением. – Ведь так ты меня, милый человек, выручил! И откуда вы, такие, взялись тут? Все отступают, а вы – наступаете. Это почему так?

То, что ответил ему лейтенант, перед тем как закрыть над собою тяжелую крышку люка, сказать правду, не произвело на Шестерикова особенного впечатления. Но время спустя он вспомнил эти слова отчетливо – и с

горьким сожалением, что никогда, никому, невозможно их повторить:

– Запоминай, кореш: Двадцатая армия наступает! Власовцы!

Шестериков никогда не узнал, что этому власовцу уже не суждено было открыть люк самому. Встретясь, через какой-нибудь час, с головным отрядом 9-й немецкой армии, его танк получил в башню снаряд, и хоть тот не пробил брони, а отскочил рикошетом, но отколовшийся изнутри кусочек стали dokonчил дело, проникнув сквозь шлем и кости черепа в мозг... Успокоенный, Шестериков подобрал свой мешок, покидал в него всё добро, туда же и маузер в кобуре, и, закинув автомат за плечо, отправился искать свою роту. Он шел той же дорожкой, по которой тащил генерала, а после и той, по которой они так резво хрумкали вдвоем, только теперь за версту обходя те чёртовы Перемерки – и не зная, что там живых с оружием никого не осталось, одни перестрелянные немцы и те, кого они успели перестрелять. И не ожидал он от всей этой истории хоть какого-то продолжения.

Однако же, оно состоялось. Всю эту массу бегущих остановил-таки на развилке Рогачевского и Дмитровского шоссе своими пулеметами заградительный отряд, кой-кого – человечков пятнадцать на выбор – тут же постреляли в острастку другим, а других – кого забрали для выяснения, а кого заставили на месте искупать вину, стаскивая с грузовиков и становя бетонные надолбы и сваренные из рельсов «ежи», в которых уже всякая нужда отпала, даже наоборот, следовало от них шоссе очищать. Ездового же с генералом не только пропустили, но еще похвалили и записали все данные – для представления к медали «За отвагу». И он эту медаль принялся отрабатывать так рьяно, что не успокоился, пока не домчал «своего» генерала до госпиталя, и помогал носилки тащить по лестнице, и в палату вносил, и в подробностях рассказывал дежурному врачу и комиссару госпиталя всю историю геройского ранения генерала и столь же геройского его спасения из-под огня. При этом, пока не вскрыли «смертный медальон», он счастливо избег вопросов, как же фамилия его генерала и чем он командовал, называл его

коротко и исчерпывающе – «наш генерал», а на расспросы, куда же делись бурки и шапка, отвечал: «Э, ладно, что голову не потерял, и ноги целы», и было такое у него на лице, что лучше не спрашивать. В награду его накормили и выдали ему справку для патрулей, что прибыл в Москву, «выполняя задание своего командования», а такая справка была повесомее медали, которую он, к тому же, и получил-то тридцать два года спустя – из рук седовласого прихрамывающего военкома, при торжественном салюте пионеров и в присутствии журналиста, написавшего потом заметку «Награда нашла героя».

Восемь автоматных пуль, вошедшие в просторный живот генерала, прошли навывлет, не затронув жизненно важных точек, к счастью и то оказалось, что он не поел перед своим ранением, обошлось без воспалений и нагноения, а мощная плоть обещала засосать все пробоины и разрезы – и вскоре уже выполнила обещание. Куда хуже оказалось у него с ногами, обмороженными чуть не до почернения, даже стоял вопрос – не отхватить ли их по колено, но после многих и долгих консилиумов рискнули оставить, ограничась переливаниями крови и питательными уколами. Поместили его в палату для обмороженных, хоть и отдельную, но наполненную таким ужасным, тошнотным запахом гниющего заживо мяса, что он уже поэтому не мог не очнуться. А очнувшись, он почувствовал смертную тоску и обиду и стал вытребывать к себе запомнившегося ему солдата.

Генералу, конечно же, пересказали чудесную историю его спасения, довольно складную, но в которой для полной правдивости недоставало Перемерок и французского коньяка; он требовал не ездового, а то ли Шустрикова, то ли Четвертухина из роты автоматчиков. За те дни, что генерал пробыл без чувств, его армия прошла километров сорок, и связь с ее частями была такая, что ни дозвониться, ни запросить письменно, но генерал настаивал – и слабую запутанную ниточку размотали. Рота автоматчиков была одна в полку, находившемся прежде в том же селе, что и штаб армии, ни Шустрикова, ни Четвертухина в списке не оказалось, зато был Шестериков, от которого, правда, тоже не много осталось. И вот его,

полуоглохшего, едва не утратившего рассудок, вытащили из мерзлого окопа, где ему и спать приходилось, зарывшись в снег или в золу костра, выдали ему другую шинель и ушанку, паёк на три дня, продаттестат и предписание явиться в Москву, в военную комендатуру. С этим предписанием, где впервые в жизни увидел он свою фамилию напечатанной, хотя и с двумя подпрыгнувшими «Е», он на попутных машинах добрался до белокаменной, за которую сначала чуть Богу душу не отдал и которую, наконец-то, увидел.

В волнении, какого отродясь не испытывал, шел он по Москве, иногда перелезая через неразобранные баррикады из брёвен, трамвайных платформ и мешков с песком, минуя на перекрестках посты милиции с винтовками, ступил под своды вестибюля бывшего музыкального института, а теперь госпиталя для старшего комсостава, поднялся по мраморной лестнице – и едва не был сражен наповал тем смрадом, от которого генерал очнулся. Тут еще два санитары выкатили ему навстречу каталку с горкой отрезанных конечностей, еле прикрытых окровавленной простынкой, – от того, разноцветного, что выглядывало из-под нее, Шестериков закрыл глаза и зашатался. Стараясь дышать пореже и ртом, он одолел и страх, и тошноту, миновал, не заглядывая, двери общих палат и, добравшись наконец до отдельной, увидел своего командующего – несчастного, исхудалого, без кровинки в лице, но, как отметил броский и незаметный взгляд Шестерикова, с обеими ногами под одеялом. И первое слово генерала было при их встрече:

– Пóпили!

– Чего уж, – сказал Шестериков, стараясь улыбаться повеселее. – Отложили до другого раза.

Он вытащил из мешка, который-таки пронес под белым халатом, маузер в кобуре и подал его молча генералу. Генерал открыл кобуру, вытянул маузер за рукоятку и прочел витиеватую гравированную надпись на щёчке.

– Кому-нибудь ты его показывал? – спросил он, не поднимая глаз.

– Никому, – ответил Шестериков. – Иначе б забрали. Охотников много на такую вещь.

В последнюю фразу он вложил и другой, потаенный, смысл. Хорошая, уважительная надпись оканчивалась нехорошей фамилией – Блюхер. Генерал понял его и чуть усмехнулся, одними губами.

– Стереть бы, да жалко. Дарёный все-таки.

– Жалко, – сказал Шестериков.

Генерал вернул ему маузер.

– Пусть у тебя и побудет. Не положено мне тут с оружием.

День был свиданный, и генерал ожидал жену, однако Шестериков, уже почувствовав себя как бы опекуном его, отсоветовал сюда ее пускать: незачем женщине солдатские запахи вдыхать, это ей не свидание, а мучение. Генерал, удивясь, согласился и велел позвонить к нему домой. Так вышло, что с генеральшей, Майей Афанасьевной, познакомились по телефону.

– А, Шестериков! – отозвалась она приветливо. – Знаю, знаю, слышала. А как по имени-отчеству?

– Это, Майя Афанасьевна, потом, когда уже повидаемся. А покамест я – при генерале, так что – Шестериков и всё.

– Ну-ну, – согласилась генеральша. И согласилась, что и в самом деле лучше не доставлять мужу лишнего стеснения.

В мешке Шестерикова, среди прочих интересных вещей, хранилась консервная банка со снадобьем, которое употребляли его предки при обморожениях лет двести: некий сложный состав из отвара корней и травок, гусяного жира, пчелиного воска и меда. Те мази, какими пользовали генерала, он забраковал, посоветовал не давать мазать, а чтоб оставляли баночку, а из баночки всё выбрасывать. Мазал он сам, скрывая отвращение, затаивая дыхание на целую минуту, а потом, отвлекая генерала от страшного жжения и зуда, что-нибудь ему рассказывал из своей деревенской жизни, ну и встречно выпрашивал осторожно – про его жизнь. Поселился он здесь же, в госпитале, под лестницей, в каморке истопника, здесь же и стал на довольствие и кормился в столовой, по норме санитаря. Норма была – поменьше фронтовой, а выходило – поллучше, чем на фронте, где не каждый-то день

горяченького поешь. Истопник же был – по совместительству пожарник, стало быть – с телефоном, и Майя Афанасьевна в определенный час могла справиться, «как там наш».

– Наш ничего, – отвечал Шестериков, – скоро запляшет. Уже у него ноги чешутся – плясать.

Еще не повидавшись с нею, он уже всё-всё вызнал: и что квартира у них на улице Горького – из четырех комнат, не считая кладовки и «холла», – это слово и в госпитале говорили, зал был такой для ходячих, с шахматами и домино, и вот таким громадным Шестериков его себе и представлял, этот «холл», который «не считался», – и что у генерала две дочки, шестнадцати лет и четырнадцати, одну – как и генеральшу – Майей звать, а другую – Светланой, в честь сталинской, и что – вот главное – сама генеральша родом деревенская, из-под Вышнего Волочка, и девичья у ней фамилия – Наличникова, а Майей она себя сама назвала, на самом же деле – Марья. Но, видать, от деревни своей она уже отщепилась, поскольку спрашивала Шестерикова, что вот, генералов на дачные участки собираются записывать, по два гектара, в Апрелевке, так брать столько или не брать.

– Брать! – кричал в трубку Шестериков. – Землю-то? Сколько дают, столько и брать, без разговорю!

Эта Апрелевка вошла в его голову и уж никак оттуда не выходила, заставляла ворочаться ночами на полу в истопниковой каморке, покуда тот, приняв кубиков триста медицинского спирта, похрапывал себе на топчане. Как думают о грозящем ранении или даже увечье, да с пущей еще тоскою, думал Шестериков о возвращении в родную пензенскую деревню. Нисколько не мечталось ему увидеть вновь поникшие вётлы над тихой, ленивой речкою, пройтись босиком по росе или лошадь погладить по бархатному храпу, да после, вскочив на нее без седла, проскакать с полверсты и вогнуть в речку по холку. Все эти радости уже лет десять как отошли от него, с тех пор, как с отцовского двора пришлось свести, в добровольном порядке, и двоих лошадей, и корову, а земли урезали до лоскутка, так что не жаворонка в небе слышно, а как сосед пыхтит, вскапывая гряды. Из двух сараев и то при-

шлось один снести – тесно и не положено два. Всё же теперь общее – и значит, ничьё. Своя только бедность – и такая безысходная, лет на сто вперед, что руки опускаются, не знаешь, за что хвататься раньше, когда все ветшает, обваливается, рушится, линяет, все труды уходят в песок. Всё безразлично стало – даже вот какого председателя выбрать. Да какого велят – самого сговорчивого с властями да покрикливее, а значит, самого никудышного, пустопорожного мужичонку, а если не найдется такого – привезут откуда-нибудь. И никуда из этого не вырваться, не уехать, на первой станции без паспорта заберут, а справка от колхоза – самое большее на неделю, и ту – выпроси, вымани. Вот так, отнюдь не поэтично, даже из мерзлого окопа виделся Шестерикову его родимый край, над которым – вместо веселой гульбы, свадебных частушек и попевок, звяка поддужных колокольцев, – повисло в лунной ночи унылое, пьяное, хриплоголосое:

На селе собака лает,
не собака – бригадир:
«Выходите на работу,
не то хлеба не дадим...»

А вот Апрельевка эта, Апрельевка, ведь генеральская же земля, на нее – кто посягнет, кто посмеет урезать? Два гектара – да на них такое можно развести, что десять семейств прокормятся и за забор не выглянут. Были бы руки при себе и малость бы силенок война оставила.

Меж тем, генеральские ноги подживали, на них новая кожа нарастала – розовенькая, как у недельного поросенка, и однажды он встать решился, попросился – в душ. Едва довел его Шестериков, так его шатало от слабости, а там, в уютной кабинке, они оба разделись и даже попарились немножко, напустив из крана одной горячей. Генеральское тело поразило Шестерикова – и белизною, и щедрой мощью, и многими рубцами. Генерал воевал во всех войнах, какие вела Россия с 14-го года, и с каждой войны какую-нибудь да привозил рану. Даже на лбу у него, из-под волос, вытягивался шрам – от сабельного удара. Про каждое его повреждение можно было отдельно рассказывать, но он все их объяснял одинаково:

«по глупости». Шестериков его помыл, как младенца, велел после этого посидеть, а сам при этом думал растроганно, что мог бы свою жизнь, все равно не сложившуюся, посвятить холе этого тела и этой непутевой и, как отчего-то показалось Шестерикову, по-своему настрадавшейся души.

Но вот настал день, когда генерал, с утра не ложась, а посиживая на койке, разглядывая розовые свои ступни, сказал мечтательно:

– Эх, мне бы коника сейчас, хоть какого. В седле бы я совсем ожил!

«Домой ему хочется, – на сердце у Шестерикова потеплело. – Конечно ж, дома-то оно все быстрее заживет. Да где ж я ему коника достану?» Легче бы было с машиной, которую вызвали б ему врачи, не возражавшие против досрочной выписки, – ан, Шестериков и тут не оплошал. Ясным морозным утром, выйдя на крыльцо, поддерживаемый сестрами, генерал перед собой увидел – коня. Даже – трех сразу: на другом восседал гордый Шестериков, а на третьем – тот самый, рогачевский, милиционер, который теперь служил в Москве, в конном патруле. Случайно с ним встретясь у комендатуры, куда ходил каждый третий день отмечаться, Шестериков его пожурил за преждевременный драп, тот в оправдание ничего не привел, а зато душевно справлялся о здоровье генерала – и вот, искупил вину, удружил с кониками.

Генерал обошел чалого конька вокруг, оглядел снисходительно его стати, попытался вскинуться в седло, но не вышло, пришлось его подсаживать с крыльца. Зато, оказавшись верхом, он так привычно, одной рукой, разобрал поводья, так – одним похлопыванием по шее – и успокоил, и взбодрил конька, что не понадобилось после этого и каблука под брюхо, а только чуть отпустить повод – и он уже понес, понес косо, изгибая красиво шею, с места вскачь.

В ту зиму Москва была такова, что никто не обратил особенного внимания на трех всадников, проскакавших аллюром чуть не по всей улице Горького – от Белорусского вокзала до Моссовета, – ни пешие ополченцы, ни девушки в шинелях, несшие вчетвером громадную се-

ребристую тушу аэростата; никто не оборачивался на звонкий цокот подков, люди шли озабоченно по делам или стояли в очередях у магазинов, с заколоченными, заложеными мешками с песком витринами; маленькая кавалькада, с живописным генералом во главе, проскакала точно бы по пустому городу. И все же генерал остался доволен – помолодел, разругался, глазами рас- сверкался – и возле дома, отдавая нехотя повод милицио- неру, сказал:

– Ну, спасибо тебе, Шестериков.

Не сказал за свое спасение, не сказал за сохраненный маузер, за весь уход в госпитале, а вот за коника – сказал.

Майя Афанасьевна встречать на улицу не вышла, а, как бы опоздав, встретила на лестничном марше – в неза- стегнутой, полураспахнутой серой каракулевой шубке, такой же шапочке-кубанке и с муфточкой на одной руке, – всё тактически правильно, как отметил Шестериков, в ее годы она б на морозе так румяно не выглядела. От при- роды блондинка, о чем свидетельствовали голубые глаза, она уже сильно красилась – в блондинку же, но прежняя, несомненная ее красота не убыла настолько, чтоб дочки ее затмили; у них не было такого аккуратного, победно вздернутого носика, таких изогнутых и полных губ, такого лица, суховатого и крепкого, да и ладной такой фигуры, у которой, как говорится, где надо – выпукло, где не надо – убрано заподлицо. Дочки генеральские были – вылитые генералы, и что хорошо было в нем – простор- но, могуче, полновесно, – то явно грозило их замужеству, – хоть, впрочем, на генеральских-то дочек охотники най- дутся.

Генерал, обцелованный всеми тремя, представил им Шестерикова:

– Это наш гость. Вы его не сильно загружайте.

Генеральша, вынув руку из муфточки, ладошкой вниз, совочком, подала ее Шестерикову и, глядя широко раскрытыми глазами прямо в глаза ему, сказала для пол- ного осведомления:

– Майя Афанасьевна Кобрисова.

А дочки, обняв так бурно, что он слегка зашатался, расцеловали с обеих сторон в щеки.

С этой минуты пошла у Шестерикова такая жизнь, какой он себе и представить не мог. Это она, сама жизнь – в облике генерала – выходила к нему по утрам в столовую, облаченная в жемчужно-сиреневую пижаму, и, протирая руку к накрытому столу, возглашала, как о начале сражения:

– Сейчас мы будем завтракать. Прошу!

Сидя за общим столом и участь потихоньку, как следует вкушать хлеб наш насущный, чтобы не только себе было приятно, но и другим удовольствие на тебя смотреть, Шестериков решительно признавал, что если выпадают такие дни человеку, когда всё ему нравится, так именно они ему и выпали. Ему нравилось, как в этой семье все любят и уважают друг друга, и что генерал не упустит поцеловать дочек в темя утром и на ночь, нравилось, что Майя Афанасьевна неукоснимо укрепляла свои позиции, сидя дважды в день по часу перед зеркалом и никогда не являясь пред очи мужа распустёхой, и что генерал ее за это особо ценит, нравилась даже и болезнь генерала – не какая-нибудь там кила с геморроем, а красивая, генеральская – «мерцание предсердия». Его, Шестерикова, и впрямь не загружали, да он сам рад был загружаться: раз в неделю он со своим мешком и с чемоданом ходил за пайками – всего семейства и своим, который, естественно, прикладывался к общему котлу, ежедневно убирал всю квартиру, ежедекадно мыл и натирал полы, всё чинил, укреплял, подтягивал, понемногу вываживал генерала – сначала во двор, потом и по улице, по Тверскому бульвару. Его собственные позиции так укрепились, что Майя Афанасьевна без его мнения уже не обходилась, говорила соседке на лестнице: «Мой Шестериков не рекомендует... Мой Шестериков, например, так считает...», звала его к чулану и консультировалась, не выкинуть ли, скажем, старый диван. «Ни в коем разе, Майфанасин! Еще как захочется Фотий Иванычу на нем отдохнуть после принятия пищи. Всё починим, всему место найдется!» Он держал в голове всё ту же Апрельку, где будет еще и – «шалле»... Насчет Апрельки он не уставал напоминать, и всей семьей строились планы, какая будет дача, и какое расположение сада и цветни-

ков, и где отвести место под гряды – салата, огурчиков, редиски. Романтический пейзаж при этом несколько нарушался, но, возражал Шестериков категорически, «разве свое с покупным сравнишь? тут каждый витамин тебе на месте!» Ну, и сам он, хоть не говорил этого, но тоже выстроил в мечтах на двух этих гектарах домишко себе и, непременно, баньку, где будут они париться с генералом и вспоминать боевые дни.

Главным предметом изучения и забот был, конечно, сам генерал – включая коллекцию его четырнадцати охотничьих ружей, из которых двенадцать были дарёные, и бесчисленные фотоальбомы, запечатлевшие всю его биографию. Шестериков их разглядывал все свободные часы, посиживая в кресле, в том самом «холле», который оказался просто частью передней, только отделенной от нее раздвижной перегородкой с рифлеными стеклами. Сперва шли порывевшие фотографии детства – маленький Фотя с двумя старшими братьями и тремя сестрами, с матерью, очень на него похожей, и с отцом, казаком станции Романовской, невысоконьким и худым, но, видать, быстрым и дерзким. А вот Фотя на коне, без седла, в отцовской фуражке, налезшей на уши, рот распялен в улыбке, зубы лопатками. Вот первое горе – всё семейство рядом с гробом отца, с напряженными вытянутыми лицами, глаза у всех какие-то рыбы. Несколько лет спустя повзрослевший Фотий Кобрисов стоял, в гимнастерке и фуражке с кокардой, возложив руку на плечо сидящему другу, такому же bravому и лупоглазому, оба – солдаты империалистической войны. Далее он один сидел, положив руки на эфес шашки, уже с теперешними усиками на пухлой еще губе, юнкер Петергофской школы прапорщиков. Потом пошла – Красная армия: выпуск школы красных командиров, один ряд стоит, другой сидит, а возле ног у них – двое лежат головами друг к другу, упираясь в висок ладонью, а локтем – в пол; Фотий Иванович сидит третий справа, немного отворотясь и выглядя мечтательно. Кой-какие снимки были отклеены, а на сохранившихся групповых некоторые лица то ли пальцем затерты, то ли бритвочкой выскоблены, так что вместо голов на плечах сидели белые шары. Множество было

снимков конных – рубка лозы, препятствия, вольтижировка, стойка на дыбы – она же «свечка», но чем более повышался Фотий Иванович в званиях, тем его конь становился степеннее: меняя масти и стати, он полюбил сниматься в одной позе – стоя, ногу вперед выставя и к ней наклоняясь изогнутой шеей. А вот и коня не стало, бывший кавалерист Кобрисов, в черном комбинезоне, открывал над собою гробовидную крышку танкетки – шлем с угловатыми очками сдвинут к затылку, лицо чумазое и веселое, голова бритая «под Блюхера». И вот – последние предвоенные: санаторий в Ялте, крыльцо с широкими ступенями и колоннадой, Фотий Иванович с Майей Афанасьевной, сильно загорелые и во всем белом, стоят по разные стороны колонны и будто друг дружку высматривают; потом они у фонтана встречаются – и вот, наконец, рядышком сидят – в гроте, увитом стеблями хмеля или плюща...

Одно лишь облачко реяло в безмятежном небе Шестерикова – то, которое набегало на чело генерала, когда он после завтрака читал газеты. Шло наступление – и сыпались награды, гремели имена Жукова, Власова, Рокоссовского, Говорова, Лелюшенко, а Кобрисова – не гремело, он себя в списках что-то не находил. Майя Афанасьевна так это дело объясняла соседке:

– А нас-то – за что награждать? Мы ведь, по плану, не наступали, мы только подстраховывали. Вот если б у них с наступлением сорвалось, тогда, конечно, вся надежда – на нас, на кого же еще!.. Но сейчас-то – кто это помнит?

Генерал – тот помалкивал, только губу закусывал и пальцами барабанил по столу, но однажды все-таки не выдержал – когда прочитал, что к Власову, первому из советских генералов, допустили иностранную корреспондентку – взять у него интервью для мировой прессы:

– Интересно, интересно! А не рассказал он ей, как он у меня бригаду украл?

Но, поостыв – и может быть, вспомнив про счастливое свое спасение, – добавил рассудительно:

– Ну, если по справедливости... Украсть-то он украл, но распорядился – неплохо.

Все же и ему, за дела армии, слетела на петлицу звездочка – присвоили генерал-лейтенанта.

– Вспомнили, – сказала Майя Афанасьевна. – И на том спасибо.

Но если б его это успокоило! Именно с этого дня как подменили генерала, ни весеннее солнышко его не радовало, ни водка не пьянила, одно нетерпение во всем. И однажды утром из ванной, где брился, он со злым весельем в голосе прокричал:

– Шестериков, ты воевать – думаешь?

Все враз примолкли – и генеральша, и дочери, а сердце Шестерикова ощутимо стронулось и покатилося августовской звездой, оставляя замирающий след.

Но в прежнюю их армию они уже не вернулись, там утвердился новый командующий, бывший начальник штаба, так что послали их в ближний тыл, под Воронеж, формировать новую армию – эту самую, Тридцать восьмую, с которой дошли они до Днепра и взяли плацдарм на Правобережье.

Жизнь Шестерикова при генерале была сравнительно теплая и сытая, хоть и погибнуть случаи выпадали. Но ведь оттого и смысл был высокий в этой жизни, и ценилась она не за тепло и сытость, а именно за высокий ее смысл. По твердому Шестерикову убеждению, никто б на его месте не стоил того, что он, и сам бы он на другом месте стоил бы вдвое, втрое меньше. Он не привык, он прирос к генералу, знал все причуды его и желания, как бы и несложные, а попробуй их предупреди. Сам генерал любил себя называть солдатом и привычки свои – солдатскими, и только Шестериков ведал, каково этим привычкам потрафить. В морозы баня – чтоб пар до костей прошибал, в жару вода студеная – чтоб зубы ломило, щи – чтоб в них ложка стояла и не валилась, к обеду – водки стакан, а лучше спирта чуть разбавленного, а после обеда – семьдесят минут сна и чтоб муха не пролетела. Тут повертись, покрути задницей! И в избе, какая ни попадетсЯ, чтоб чисто было и натоплено, и ничем бы не пахло, воздух бы свежий был, а фортка затворена. Тяжко ли всё это было Шестерикову? Но тем и любимо.

Вот с каким человеком пришлось встретиться майору Светлоокову из армейской контрразведки «СМЕРШ», вот кого пригласил он выкроить часок и прийти к нему «посплетничать». Свидание их было назначено неподалеку от штаба, в леске, майор объяснил подробно, как выйти к поляне с поваленной сосной, и еще попросил – генерала не извещать, поскольку тема беседы – «деликатная». Шестериков не пришел вовремя, как водитель Сиротин, и не опоздал, как адъютант Донской, он пришел загодя и из-за кустов понаблюдал за майором, как он, раскрыв планшетку, что-то там перечитывает и подправляет, почесывая лоб карандашиком. Затем подошел бесшумно, стал у майора за плечом и вздохнул. Майор, всполошившись, выхватил пистолет, а планшетку не закрыл.

– Что бродишь? – спросил недовольно, но и растерянно. – Так до смерти напугать можно.

– Чо ж пугаться, – сказал Шестериков, – район охраняемый. А я грибков тут хотел поискать. Командующий по грибкам соскучились.

– Не нашел?

– Где ж найдешь, дождя две недели не было. Опята одни, да ведь надоесть могут – без белого или хоть маслачка.

– Заботливый ты, – сказал майор, тоном тем же недовольным, упрятывая пистолет.

Шестериков, не отвечая, уселся против него на траве, обхватив колени, и посмотрел в глаза майору смиренно и выжидательно.

– Печёшься о командующем, – продолжал майор, небрежно, под взглядом Шестерикова, закрывая свою планшетку. – Это хорошо. Я вижу, лучше союзника не найти мне. Я как раз об этом и хотел с тобой...

– Насчет грибков?

– «Грибков», «грибков»! Меня нечто большее беспокоит. Здоровье командующего. Общее его состояние. Что-то не нравится он мне последнее время. Выглядит плохо, нервничает, необщительный какой-то стал. Ты не находишь?

– Да как всегда...

– В том-то и дело, – вздохнул майор. – Всегда-то он орёл был, душа армии. А теперь – что-то гнетет его. Места себе не находит. Чего это он себе КП отдельно от штаба выбрал? Уставать начал от людей?

– От кого ж еще так устанешь? – сказал Шестериков.
– От них-то больше всего.

Какая-то неясная опасность подступала к генералу, и Шестериков не мог понять, с какой стороны она грозит. Но он твердо решил, что с той стороны, где стоит он, Шестериков, эта опасность к генералу не подступится. Это он решил так же твердо, как в тот зверски морозный день под Перемерками, когда он повалился вслед за генералом в кровавый снег и перевел флажок автомата на одиночные выстрелы.

– Скажи мне честно, – майор, с озабоченным лицом, наклонился к нему. – Девка эта не слишком его к рукам прибрала? Может, из-за нее психует? Знаешь, как мужика раздвоенность до ручки доводит...

– Это которая девка? – спросил Шестериков, тоже озабоченный.

– Одна, по-моему. Надюша, санинструкторша. Которая к нему уколы ходит делать. И не одни, поди, уколы, а?

– Конечно. Давление еще меряет. Пульс тоже считает.

– И всего делов? – майор ему подмигнул с усмешкой.

– Что вы, какой «всего»! – отвечал Шестериков. – Медики – они настырные.

Насчет отношений генерала с Надюшей он не сказал решительного «нет», поскольку не знал, какие сведения имеются у майора. Эта Надюша могла и разболтать. Правду сказать, в этих отношениях Шестериков особо зазорного не видел, но принял решение единственно верное: раз это тебе зачем-то нужно, тем более не скажу.

И майор Светлооков понял его, зашел с другой стороны:

– А что, сердце-то у него – действительно барахлит? Пойми ты, не шашни меня интересуют, а общее состояние. Спит-то он – хорошо? Без порошков? Это ведь тоже на мозги действует.

Выяснилось, что сердце у генерала болит. Оно болит – за родину. Выяснилось, что спит он плохо, почти совсем не спит, всё печется о боеспособности армии. Насчет порошков, правда, ничего не выяснилось.

– Лучше, бывает, водки стакан хлопнуть, – посоветовал майор. – А то и два. А утром чайком опохмелиться – из бутылки с тремя звездочками.

«Ах, сука, – думал Шестериков, глядя на него ласково и со вниманием, – я б тебе не три, я б тебе четыре зуба сейчас вышиб», – но отвечал обстоятельно:

– Не уважают они этого – на ночь пить, а после опохмеляться. Стопку одну за победу хлопнут – и то недовольны бывают, что слабость проявили.

– Так, так, – сказал майор. – Что ж, ничего мы с тобой не выяснили? Не откровенен ты со мною. Или плохо своего Фотия Иваныча знаешь. Тебе кажется, что всё видишь, а на самом деле многое от тебя скрыто. Понаблюдал бы ты внимательней за ним, очень прошу. Дело-то – первостепенной важности, тут все готовы на помощь прийти, и в первую очередь – я. Должность обязывает.

Шестериков кивнул глубоко и спросил с большим интересом:

– А что это – «СМЕРШ»?

– Не знаешь? – удивился майор. – Первый раз слышишь?

– Слышать-то слышал, а – не знаю.

– Ну, «Смерть шпионам», если тебе интересно...

– Как же не интересно? Ведь она же мне первому полагается, смерть-то. Ежели я при генерале шпионом буду.

– Что значит «шпионом»? – раздражился майор, начиная уже краснеть. – То категория вражеская. А мы о проявлении заботы говорим. Как ты ее понимаешь – настоящую заботу, а не формальную?

– А так и понимаю, товарищ майор: ночей спать не буду, но ни одна собака к Фотий Иванычу не подберется.

– Правильно, – сказал майор.

Он улыбался широко, всем порозовевшим лицом, но глаза не подчинялись ему, выдавали и злость, и растерянность.

– Тоже думаю, что правильно, – сказал Шестериков.

Больше всего любил он смотреть фильмы – про шпионов и контрразведчиков, а перед ним как раз и сидел главный герой этих фильмов, разведчик там или контрразведчик, Бог их разберет, но только воспринимал его Шестериков совершенно иначе. Не то, что б те были лучше, а этот хуже, то были – евклидовы параллели, ни в какой точке не пересекавшиеся. С таким же самозабвением смотрел он комедии из колхозной жизни, где мордастые и грудастые бабы, заходясь от восторга жизни, с пением бодрых маршей вязали в снопы и копнили непонятно какую поросль, и если б его спросили, как же это соотносится с той жизнью, какую он знал мозолями и хребтом, он бы только заморгал удивленно: «Так это ж – кино». Нет уж, насчет сидевшего перед ним он не обманывался нисколько. И если для шофера Сиротина «смершевец» этот был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полете, если для адъютанта Донского он был – тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы непостижимые, то для Шестерикова он был – лоботряс. Да уж, не более того, но лоботряс энергичный, из той породы, которая изувечила, выхолостила, обесмыслила всю жизнь Шестерикова, и из-за которой любые его труды неизбежно уходили в песок. Границы же власти таких людей, как Светлооков, он определил, не рассуждая, одним инстинктом травленного зайца – она там проходит, эта граница, где ты не допускаешь их к себе в душу, не отвечаешь улыбкой на их улыбку.

– Что ж получается? – спросил майор. – Не найдем мы с тобой общего языка?

– Да разве же не нашли? – услышал он спокойный ответ.

Кровавоглазая ненависть выглядывала из кротких голубых глаз Шестерикова – та ненависть, что подкидывала к плечу обрезы и поднимала на вилы охочих до чужого хлеба и заставляла свое сжигать, чтоб не досталось никому, и которая была обратной стороной любви –

к мягкой родящей земле, к растущему колосу, к покорной и доверчивой, словно бы понимающей свой долг, скотине, – ненависть человека, готового трудиться и поливать эту землю потом, чтоб накормить весь свет, и у которого не получается это, не дано ему, не нарежут ему этой земли, потому что от этого странным образом разрушится весь порядок жизни, позволяющий такому Светлоокову холить свое мурло, писать бумажки, годные на подтирку, – и ощущать себя поэтому хозяином.

– Не наш ты все-таки человек, Шестериков, – сказал майор Светлооков, перестав улыбаться. – Или не совсем наш.

– Ваш, – возразил Шестериков. – Ваш совсем. Именно что – ваш.

В печали, с какой он это сказал, слышался человек беспачпортный, крепостной, не могший никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку – и почувствовавший, что и ту из его рук выдирают.

– Я понимаю, – сказал майор, – откуда это у тебя.

– Чего «откуда»?

– Обида на нас. Можно сказать, классовая обида. Думаешь, перед тем как с тобой встретиться, я тебя всего не изучил? Что тебе сказать – попал ты под колесо истории. Может, и несправедливо: ты ведь в кулаках не числился, а в подкулачниках, а это же почти что середняк, только идеология сходная. А так, подумаешь, подкулачник – две лошади, да корова, да землицы малость. Много тогда было дров наломано. Но ведь это же и партия тогда признала. Ты ж товарища Сталина читал – «Головокружение от успехов»?

«Она-то головокружение свое признала, – подумал Шестериков, – да только не вернула ничего». Но – промолчал, хотел понять, куда теперь клонит Светлооков.

– Срежь-ка мне веточку, – попросил майор, доставая ножик.

– Зачем?

– Жалко тебе?

– И так оно – сколько живого загублено. Ну, ежели приказываете...

– Не надо, – сказал майор. – Я сам.

Он потянулся к ольховому кусту, срезал ветку с покрасневшей уже кожицей, ловкими взмахами ножика стал выделывать прутик.

– Хочешь, Шестериков, я тебе всю твою классовую глупость как дважды два докажу. Сам удивишься, до чего ж мы дураки бываем. Ты на своего генерала молишься, умереть за него готов. Хотел бы на всю жизнь к нему прилепиться, разве не так? А если хочешь знать, это у тебя – то же самое головокружение. Ты же про него не знаешь нисколько. Вот такие, как он, и наломали дров тогда. И продотрядами твой Фотий Иванович командовал, и раскулачивал в двадцать девятом, и бунты замирял, и целые сёла переселял в места отдаленные. Родитель твой, по моим сведениям, коллективизации не противился, а то, глядишь, почувствовали бы вы руку Фотия Ивановича! Где-то он поблизости от ваших мест шуровал. И такой был служака – родного братана не пожалел бы. Ну, а теперь – что ж, общее вас сплотило...

И Шестериков, с уныло сжавшимся сердцем, почувствовал, что это – правда. Да чем же еще и заниматься мог генерал между своими войнами, чем вся армия занималась, на чем тактику отработывала! Выплыл в памяти и такой странный их разговор за водочкой, когда генерал выпрашивал настойчиво: «А все же мужичок принял колхозы?» – «Как не принять, Фотий Иванович, ежели обрезов не хватило». И генерал, насупясь, не поднимая глаз на него, а глядя в стопку, сказал: «Ну, выпьем, чтоб в следующий раз – хватило...» Вон что за этим «выпьем», оказывается, стояло! «А всё равно, – подумал Шестериков, – майору этому не верь». Ведь сколько лет уже это в нем звучало, как заклинание: «не верь им!» Не верь им никогда. Не верь им ни ночью, ни днем. Не верь им ни зимою, ни летом. Ни в дождь, ни в ведро. Не верь – и когда они правду говорят!

Он поглядел на майора с грустью, с неволью навевшимися слезами, и сказал дрогнувшим голосом:

– А вам-то – какое до этого дело?

Майор, словно бы не вынеся его взгляда, резко встал и хлестнул себя прутиком по сапогу.

– Всё, закрыли тему. Значит, договоримся – о нашей беседе никому. Вообще, молодец ты, Шестериков. Тайны начальства хранить умеешь.

– Служу Советскому Союзу, – сказал Шестериков.

Майор, похлестывая себя прутиком, пошел впереди по тропинке, но вдруг обернулся – с таинственным видом.

– Слушай-ка, Шестериков, ты в снах-то, небось, разбираешься? Вот, к чему бы это – всю ночь снится, что с бабой возишься, и вдруг оказывается – не баба это, а мужик. Что бы это значило?

– Понятное дело, товарищ майор, – сказал Шестериков, ласково улыбаясь.

– Что, скажешь – поменьше про это думать надо?

– И совсем не то. А просто, погода переменится.

– Что ты говоришь?

– А вот так.

Более майор не обернулся ни разу, и они разошлись, друг на друга не взглянув.

И вот теперь, трясясь на заднем сиденье «виллиса», Шестериков заново перебирал весь тот разговор в леске. Он чувствовал: от той беседы что-то зависело, тайными невидными ниточками была она связана с внезапным отъездом генерала из армии, и он искал, в чем укорить себя: что такое он упустил? какую позицию сдал? кого предал? И находил, где и в чем сплеховал он – в том, что майор Светлооков просил об этой беседе никому не рассказывать, и он – не рассказал. А может быть, это было важно для генерала, может быть, и не состоялся бы тогда этот их отъезд. Но и рассказать же он не мог – пришлось бы тогда выкладывать всё до конца, а он не мог бы видеть лица генерала, когда бы сообщил ему всё, что узнал об его подвигах. О продотрядах, о двадцать девятом «переломном» годе, о замирении бунтов, о переселении целых сел в места отдаленные. Через это Шестериков переступить не мог – и сам же переломил соломинку, за которую уцепился.

А ведь и тут он правду сказал, майор Светлооков: давней, затаенной мечтой Шестерикова было – служить генералу и после войны. На это вдохновляли его и те, московские, планы насчет Апрелевки, где как-то само выхо-

дило, что без Шестерикова не обойдется, и письма генеральши, в которых Майя Афанасьевна упоминала в конце: «А еще передай привет своему верному оруженосцу и пусть он тебя сбережет для нас. Ну, и себя, конечно...» В частых мечтаниях он представлял себе – вот закончатся бои, отгремят салюты, и генерал, прощаясь, спросит его: «Ну как, Шестериков? Куда ж ты теперь, к себе под Пензу пойдешь?» – «Не-ет, Фотий Иванович, – так заведено было, что ординарец, один из всей свиты, звал генерала по имени-отчеству. – Нет, не под Пензу». – «А почему же? – спросит генерал. – Ты ведь пензенский, из тех мест?» – «Родом-то я оттуда, да никого у нас там с жёнкой из родни не осталось. Мать с отцом до войны померли, вы помните, а братан с сорок первого вестей не подает, не знаю – жив ли, не знаю – нет. Я уж как-нибудь... – здесь наберет он в грудь воздуху и выдохнет шумно. – При вас останусь. Такое у меня решение. Не знаю, как вы».

Весь разговор был давно отрепетирован вот до этого места. Но дальнейшее его течение раздваивалось. Возникло два варианта продолжения. По первому – генерал удивленно вскинет брови и скажет, руками разведя: «Как же это при мне, Шестериков? Ведь я на покой ухожу. – А и правда, он после этой войны в отставку собирался. – Мне прислугу держать – по штату не положено». И тут возразить будет нечего, генерал был большой хлебосол, но деньгам живым счет знал. Ну, а без денег, на один прокорм пойти – нельзя, не солидно.

По второму же варианту, от которого душа Шестерикова замирала сладостно, генерал растроганно улыбнется, даже смахнет слезу, и скажет: «Значит, решено не расставаться? Так, что ли, Шестериков?» – «Да уж, Фотий Иванович, такие мы с вами боевые кони». И на том их мужской разговор кончится.

Теперь же, с отъездом, оба варианта отпадали напроць. Их разговор не имел никакого продолжения. То есть, конечно, он спросит, генерал, при расставании: «Куда ж ты теперь, Шестериков?», но вот ответить ему: «Как-нибудь при вас» – нельзя, невозможно. Потому что он спросит уже насмешливо: «Как так – при мне? Меня, может, в тыл направят. Ты тоже туда захотел?» И это

будет ужасно, тем более – напоследок. Таким генерал и запомнит его, так о нем и рассказывать будет: «Солдатик мой, ординарец, просился со мною в тыл. Так уж ему хотелось в живых остаться». И не объяснил бы ему Шестериков, что выбрал бы и пекло, только бы – вместе.

С каждым часом пути всё тоскливее и пустее становилось в его душе и всё очевиднее, что лучшее в жизни отходило прочь, назад, к тому зверски морозному дню под Москвой, когда он нес котелок со щами для захворавшего старшины, и еще не окликнул его с крыльца – но вот сейчас окликнет! – грозный человек в бекеше и с маузером в деревянной кобуре.



СТИХИ

СЫН ВАСИЛИЯ ТЕРКИНА

Воздух свежий, запах хвойный,
От машины дым кольцом.
У двери солдат конвойный
С милым девичьим лицом.

Автомат при всем заряде
Бойко держит у груди...
Многих мог бы звать он «дядей»,
А не «Эй, ты, проходи!»

Мне бы мог быть другом, братом,
Просто встречным наугад...
Но стою под автоматом
И в лицо бросаю: «Гад!»

Ни обиды, ни испуга,
Только губу докрасна...
Где-то ждет его подруга.
Где-то ждет меня жена...

Как же так!
В машине узкой
Мы по разным сторонам!
Как же так!
Мы двое русских,
И одна Россия нам!

* *
*

Я путь продолжаю отчаянный свой...
Но шаг уж не тверд и не четок...
Всё так же этапы...
Всё тот же конвой...
Всё те же узоры решеток...

Холодные ночи,
Случайные встречи
И долгие, серые дни...
Под тяжестью ноши
Сутулятся плечи,
И гаснут...
и гаснут огни...

И только лишь в окнах
Беспутные ветры,
Да мёртвые
в мёртвой пыли.
Стучат,
и стучат,
и стучат
Километры
Отмеренной в метрах земли...



Петр Грозный

Письмо было из Нового Йорка. Эд писал, что дела идут хреново, но что ему достали плащ только что отбросившего копыта нацистского преступника из Джерси, и теперь он ходит в нем, поддевая толстый свитер. «Настали собачьи холода», – писал он.

Я порывлся в пластиковом пакете, мусорного ведра у меня не было, и вытащил кофейный фильтр. Скелет виноградной ветки прилип к засохшей гуще. Дурная осенняя муха, воображая себя военным вертолетом, пропилила по воздуху и врезалась в окно. Странно, денег давно не было, однако мусор откуда-то брался. Я пропустил воду шесть раз через фильтр, и он развалился. Пойло мало походило на кофе. В пустой сахарнице на стенках еще оставались шершавые наросты. Я влил туда свою бурду и размешал. Теперь эта муть окончательно остыла!

Еще Эд писал, что девица, у которой он снимает комнату, с утра торчит на гашише, а ее приятель не слезает с иглы. «Из окна видно, как рыжие такси удирают в сторону океана. Трава подорожала, но не очень. Бах отрастил усы. Ирка купила военный джип. Вчера в сквере кого-то шлепнули. Стрельба, как по телеку. Я выключил звук».

В распахе тяжелых штор было мутно и мокро. Субботний полдень смахивал на гнилую полночь. Соседский транзистор надрывал гортань чем-то ближневосточным. Если засохший хлеб подогреть в тостере, он иногда устраивает пожар. Если попробовать зажарить в тостере кусок мяса, получается замыкание. В армии, шесть тысяч километров на восток, в каптерке сержантской школы, я

варил кофе на перевернутом утюге. Был поздний май, и на цветах гарнизонной клумбы лежал снег.

Я врезал по регулятору обжаривания, и тортинка моя катапультировалась. В конце письма Эд писал, что Новый Йорк ему обрыд и делать там нечего. Еще был постскрипtum: «Забрел я невзначай к Чапу. Хозяин нес несусветную чепуху, подкуренные голые девицы бродили меж незаконченных шедевров старого охламона. Одна из них всё пыталась совокупиться с хозяйским бульдогом. Я сидел в углу, читал Коллинза. Потом мне стало так тошно, что я встал, разбил о лысый череп Чапа его же статуэтку и ушел».

Покончив с завтраком, я наскоро прибрал постель – драный волчий тулуп на раскоряченном матрасе, оделся, нахлобучил волглую шляпу и, прихватив толстый, венесуэльскими марками заляпанный, конверт, по кривой лестнице свалился вниз. Шел второй год моей парижской жизни, но все же, каждое утро просыпаясь, каждый раз выходя на улицу, я должен был себе повторять: я в Париже; этот человек, несущий торт, – француз, эта дама, показывающая разинутую в вопросе пасть – мечту дантиста, – француженка. «Excuser moi, – сказала дама, – rap gozumié po polsku?»

Через полчаса я был на Rond-Point. Меж складных столиков, в прорезиненных плащах, под зонтами, толклись коллекционеры. Марки и монеты, значки, открытки, ордена и медали – все было затянuto в солидный толстый пластик. Пожалуй, самое главное изобретение века, то, чем нас всех затянет сверху после последних спазм. Я скользнул глазом по верденской битве и версальскому миру, отметил присутствие бронзового бюста казанского шутника, улыбнулся улыбочивой Мэрлин и подошел к розовощекому, белоресничному дяде. Флегматично он клюнул носом в мой конверт и отрицательно мотнул рыжей копной спутанных волос. Я забрался в самые дебри торга, к жаровне продавца каштанов. Седобородый старикан любовно закручивал пробку ополовиненной коньячной фляжки. С полей его лиловой шляпы, – как лошадь, он вскинул голову и фыркнул, – брызнули дождевые потеки. Повернув ко мне заросшее волосами

ухо, он внимательно выслушал ублюдочную в моем исполнении французскую фразу и, слезясь глазами, проваливаясь дырой рта, утираясь платком, стираным в прошлом веке, сказал: «Русский? Вряд ли, приятель, ты кого-нибудь здесь этим заинтересуешь. Попробуй у букинистов...»

В конверте были дореволюционные деньги, чеки, несколько похожих на марки купонов времен братского кровопролития по обе стороны справедливости. Когда-то на том свете, в той жизни (семьсот дней разницы; каждый, как пуля, попавшая в цель), от которой ничего не осталось, кроме налета безумия на нынешней, что-то вроде двойной экспозиции в фотографии, я собирал эти банкноты, старательно классифицировал и даже имел редчайший, стоивший в Москве гораздо больше всей моей коллекции, каталог. Отправляя наперед с приятелем-дипломатом рукописи, я почему-то вообразил, что смогу получить за свою коллекцию приличные деньги, и, в обход министерства Цербера, вложил в посылку и этот конверт.

Букинисты послали меня на Риволи, в чистенький скучный магазин, где под стеклом были похоронены сплюснутые конверты с английскими королевами, островами Тринидад-де-Табаго, Св. Елены и Вознесения. Адреса на конвертах, как им и положено, бледнели от сырости недалекого Коцита. Хозяин, не глядя, объяснил мне, что царские деньги в Париж свозили мешками и что теперь я могу сесть где-нибудь возле Сены и делать из своих двухсотрублевых бумажные кораблики. Я отклонялся, чувствуя себя полным идиотом, и вышел в дождь. Если можно себе представить жизнь на дне унитаза, – мимо проскочил школяр с плиткой шоколада и перемазанным ртом, – то это был тот самый случай. Время от времени кто-то невидимый спускал воду.

Дойдя почти до Нового Моста, я повернулся, чуть не сбив галопирующую к автобусу стерву («Merde», – роняя сумку, завопила она; таблетки, помадка, мелочь, щепочка – полный перечень займет семь томов), и зашагал назад к магазину. Тренькнул дверной колокольчик, объявляя о моей капитуляции. Я просил за всю коллек-

цию, за Петра Первого и Екатерину Великую, за двугла-
вых орлов и закорючки казацких казначеев, за черниль-
ные штампы спорадических правительств – сто франков.
Одного Делакруа или двух Ла Туров. Мне хотелось свер-
нуть боевую операцию, купить бутылку скотча и зава-
литься в постель. Хозяин не оценил моей щедрости, и в
компании дождя я потащился по черному гляncу мокрых
мостовых. Отражения реклам уже дрожали в плоских
лужах. Город был поцарапанной копией давным-давно
знакомого фильма. Клошар, сидя на корточках, спал под
навесом банка. Из остановившегося ягуара высунулась
нога в черном чулке, попробовала мостовую и втянулась
обратно.

* *
*

«Париж – это подарок, – совсем недавно уверял я Эда.
– Это уже сто очков вперед и неоспоримое преимущество.
Люди тратят жизнь, чтобы выбраться сюда. Мы же с
тобою обжили его, как когда-то Петровку или Сретен-
ку». Все это так, все это так, но неплохо было бы иметь
немного твердой валюты. Я подумал о надвинувшемся
вплотную вечере и выругался так, что сдвоенный поли-
цейский патруль остановился и уставился на меня.
Неужели они уже понимают по-русски?

«Когда нет своей квартиры, – теоретизировал Эд, –
нужно по крайней мере иметь приличный костюм. Ты не
можешь пригласить к себе даму, но зато сам можешь
пойти в гости. Желательно сначала прогуляться по набе-
режной до Ботанического сада. Гвоздика в петлице,
конечно, анахронизм, но каждый украшает свою жизнь,
как может». В последний раз, когда я видел Эда, на лац-
кане его пиджака английской булавкой был приколот
пластмассовый цветок. «С макушки американского день-
рожденного пирога, – пояснил он. – Вавилонская башня
из крема и миндаля, наверху вот эта хреновина... Был в
гостях у кого-то на крыше. Отличное место для пулемет-
ного гнезда...»

В гости, кстати, и я должен был идти вечером. Странно, когда есть деньги, Париж сияет прямо-таки черным жемчугом. Гнилой, за ворот льющий кому-то другому, дождь кажется тогда чуть ли не философски оправданным контрастом к жаркому камину, толстой сигаре и стареющей, но еще хоть куда, потаскушке, выходящей из ванной в пеньюаре. Икота от шампанского одолела ее, и пеньюар, просвечивающий со всех сторон, года через два будет подарен кухарке. «Shit, alors!» – сказал я, входя в магазин ламп и выбирая что-нибудь трехсотваттное, чтобы быстрее согреться. Нужно было звонить Лоранс, извиняться, отказываться. Она и сама отлично готовит, эта стерва. «French females are very bitchy» – кто сказал это? И вино у нее прекрасное. К тому же, будут гости. Богатые, любящие задавать умные вопросы. «Вы давно из вашего рая? Ха-ха-ха! Не страшно гнить вместе с нами? Что вы думаете об этом... как его... One-drop-off? Предпочитаете Drop-off? Молодо выглядите для ваших лет... Держали на льду, в Сибири? Уморительно... Вот это штука...» Иногда среди гостей попадаются егозливые, пресыщенные всем на свете, красотки. Джет-сет. Или их семнадцатилетние дочери. Которым наплевать, что ты живешь в дыре или что у тебя разлезлись брюки и тебе не в чем идти в гости. Им, наоборот, только такое и подавай. «Что-нибудь выбрали?» – пропел ангельский голосок за спиной. Я обернулся. Тигрица. Охотится день-деньской меж бронзовых ламп. Набита опилками и счетами из банка, грудь точно уравнивает зад. «Нет ли у вас... – в голове моей затрещали зеленые электрические молнии, – лампы-телефона? Знаете, такой прозрачный светящийся телефон? Китч, но можно поболтать с Сан-Диего, штат Калифорния...» У нее было всё. У нее можно было отовариться парочкой кассетных боеголовок. Но меня не устраивал диск. Какого дьявола? В конце века крутить вертушку, как какой-нибудь провинциальный ухажер? Я предпочитал кнопочную систему. Снял шляпу, от которой валил пар, я откланялся. «Приятного вечера», – скалилась тигрица. «Bon week-end, – пятился я. – Good fuck...»

У Лоранс я встретил Фелин. Мы договорились сыграть в теннис на следующий день. Стояло бабье лето. В Люксембургском саду девочки бэби-ситеры глазели на старательно гоняющих в мяч молодых людей. Чем дольше они глазели, тем лучше молодые люди играли. Антонио, большой специалист по части кадreja, разболтанной походкой подваливал к розовокожей блондинке. На его набриалиненных волосах лежал солнечный блик. Золотая цепь качалась на мохнатой груди. Времени он не терял. «Привет, – говорил он блондинке. – Пойдем трахнемся?» Ирландская подданная, вспыхнув, застревала между улыбкой и слезами, в дальней беседке густел и набирал силу заключительный аккорд симфонии, исполняемый американским военным оркестром, и от монпарнассской башни вдруг выныривал темно-вишневый вертолет телевизионной компании. «Если не пропускать ни одной, – объяснял Антонио, – где-то через два десятка срабатывает».

Фелин была сложного происхождения. Немецкий папа был увлечен малазийской мамой в садах Сиднея. Сама Фелин рекламировала косметику и шляпы в японской фирме. Появилась она в умопомрачительном теннисном костюме. Ракетка ее стояла чуть больше недельного путешествия в Агадир. Играть она не умела. Я подкидывал ей мячи, и она лупила изо всех сил, в основном – мимо или попадая ободом. «Гляди на мяч, – вопил я. – И сядь ниже! Согни ноги...» С ногами у нее все было в порядке. Такие ноги уже были пособием по безработице. Антонио отлип от ирландской няньки. «Махнемся? – крикнул он. – На монгольскую лошадку? А? Сто километров в час! Вся из вздохов и сбитых сливок!» – «Кто этот хам?» – спросила заливающаяся потом Фелин. «Симпатыга, – я собирал новенькие ее мячи, – задвинут на бабах. На днях уговорил несовершеннолетнюю детину из столицы вальсов. Не держи ты ее, как топор! Возьми свободно... – Ракетка у нее в руке дрожала. – И они помчались бегом в его студию. Через пять минут девица верну-

лась – забыла в песочнице трехлетнего карапуза». – «Понятно, – сказала Фелин, – и ты такой же?»

Я пригласил ее в китайский ресторан. У меня был последний чек. Главное было правильно вписать счет. Обычно у меня уходило, из-за ошибок во французском, два чека: первый с ошибками и корректурой, второй – нормальный. Она прекрасно разбиралась в китайской кухне, но ничего не пила. Я выцедил бутылку брюи, и хозяин принес мне чарку сычуанского ликера. На фарфоровом дне ее была голая девушка, но стоило только выпить густой сок, как она исчезала. «Все правильно, – решил я тогда, – девушки должны существовать только в тягучих крепких настойках». – «Терпеть не могу спать одна, – сказала Фелин. По спине моей промчался эскадрон мурашек. – Я всегда реву, как корова...» – «Я, право, живу в курятнике, – начал я, – но если ты не боишься...»

Она бодро вскарабкалась на шестой этаж. Ключ мой не попадал в замок. «Ну и гнездышко, – улыбалась она. – На каком это языке?» – «На русском», – я собирал разбросанные страницы. «Как будет по-русски queue? – она стояла голая, подсвеченная светом из ванной. У нее было худое крепкое тело. Детские лопатки. Неожиданно большая грудь. Иссиня-черные волосы падали до ягодиц. – Слушай, можно я возьму твою зубную щетку?» Дверь она, вряд ли по рассеянности, не закрыла. Я видел, как она журчит, лениво рассевшись, продолжая чистить зубы. «Эй! – сказала она минут через пять, – мы друзья? Из-за того, что я в твоей постели, не обязательно трахать-ся?» – «Да? – переспросил я ошарашенно. – Ты чего-нибудь боишься?» – «Не люблю, когда э т о внутри, – и, откинув свои роскошные волосы, она одарила меня мокрым резиновым поцелуем, – баюшки, спи спокойно...»

Легко сказать! Она повернулась к стенке и пошла ко дну. Полночи я провертелся рядом с этим горячим телом. Под утро, когда бледно проступили сквозь шторы контуры соседней крыши, все произошло само собой. Она что-то бормотала, облизывала пересохшие губы, но, впрочем, так и не проснулась.

С тех пор она повадилась звонить. «Слушай, – говорила она, – я приду к тебе спать. Можно? У меня есть для тебя „Белая Лошадь“, черная этикетка... или наоборот...», – «Но, Фелин, – начинал отнекиваться я, – ты же знаешь...» – «Нет и нет! Обещай мне, что мы не будем трахаться. О'кей? Ну что тебе стоит? Майкл уехал в Рим. Жан-Поль подцепил герпес. Я одна и реву как дура...» – «Нет! – рычал я, – нет и нет. Я живой». – «Ну, хорошо, – стонала она, – я пришлю тебе подружку, она помешана на сексе. Ты ее трахнешь, а позже я приду спать. Согласен? Ну что тебе стоит?»

* *
*

Обо всем этом я думал, тащась по набережной. Дождь разошелся вовсю, но мне было уже наплевать. Я нашел автомат, который еще глотал двадцатисантиметровые монеты, и позвонил Лоранс. «Я не приду», – сказал я. «Что-нибудь серьезное?» – «Свидание с резидентом КГБ». – «Брось свои шуточки. В чем дело? Объясни? Я могу что-нибудь сделать? Хочешь, приходи позже...?» Я повесил трубку. У Лоранс была отличная черта, она никогда не выпендривалась. Однажды, ища зажигалку в ящике спального столика, я нашел небольшой пистолет. Она сидела перед зеркалом, разбирала себя, как елку после Нового Года. Я навел пистолет ей в затылок, у нее была высокая девичья шея. «Заряжен, – спокойно сказала она в зеркало, – спички ниже...» Я должен был ей тысячу франков. Не хотела брать: «Не валяй дурака, для меня это не деньги. Отдашь после первого миллиона». Однажды, притащившись на чердак, я нашел в кармане пиджака две пятисотфранковые банкноты. Месяц или около того я не появлялся у нее. «Дурак», – комментировала она, поймав меня в кафе. Мы пошли к ней. Вечером она шла в оперу. Я лежал в подушках со стаканом красного, она, побледневшая, брила ноги.

* *
*

Ноги мои промокли, поля шляпы обвисли. Но конверт был двойной, пластиковый внутри, я за него не боялся. Я мечтал о рюмке коньяку. Большой рюмке душистого, в ладонях согретого, коньяку. Зайти в кафе-табак, выпить пару стопок и дать деру? Стать у двери, чтобы выскочить в одну секунду? Я знал недалеко скромный бар, боковой дверью выходящий в узкий, плохо освещенный пассаж. Можно было бы смыться без проблем... Что меня останавливало? Припадок идеализма? То, что на подобные операции здесь, во Франции, я не был готов? Там, дома, где все было издевкой, я бы не задумался и на минуту. Здесь меня останавливал принцип. Я, видите ли, уехал принципиально. Merde...

* *
*

Было семь вечера – колокол поделился со мною этой арифметикой с вершин Сен-Сюльпис. Я стоял, разглядывая через разрыдавшееся стекло нутро уютного темно-вишневого паба. Японский бог! Там был камин, и в нем только что, подняв сноп искр, развалилось огромное полено. Бармен, он же, судя по всему, хозяин, присев за столик, трёкал с толстой, щитовидкой отмеченной, дамой. Ее выпученные глаза гуляли по феллиневскому гриму лица. Стойка, чудесная стойка, с армией красивых бутылок, была украшена банкнотами всех стран мира. Я даже разглядел советский трешник. Нужно было что-то решать. На что-то решаться. Со стороны Сен-Жерменского бульвара налетал ветер и, уже совсем по подлунке, заливал дождь чуть ли не в ноздри. Я толкнул дверь паба, стряхнул воду со шляпы, кивнул хозяину и уселся поближе к выходу. Вода стекала с плаща на пол. Я не стал его снимать. На всякий случай. «Чем вас порадовать, молодой человек?» – навис надо мною хозяин. Рукава его рубахи были завернуты, из них торчали здоровенные, смоляным волосом

заросшие, ручищи. В пабе было жарко, все было раскалено – стены, настольные лампы под кровавыми абажурами, медь стойки, улыбка хозяина, его бугристые кувалды... «Кальва, – сказал я. – Большую рюмку». – «Обычного? – спросил хозяин. – Высшей марки?» – «Высшей», – я опустил голову; какая мне была разница... Он принес большую, кверху сужающуюся, рюмку. Янтарного цвета жидкость тяжело плескалась на дне. Я вспомнил перелет из жизни в жизнь, рейс «Аэрофлота» Москва-Париж, соседа-номенклатурщика, который требовал, чтобы стюардесса долила ему коньяку до верхней кромки. «Ишь, – жаловался он, – заграница! Стакан коньяку налить не могут! Что я – школьник, что ли!» И, крикнув, он влил в себя 200 граммов коньячку и уставился в окно, где вместе с нами сваливали на Запад бледные балтийские облака.

Я не мог ждать, куда кальвадос согреется, и отпил добрую треть. Мой, не слишком переполненный, желудок скорчило. Плевать. Отпустит. Я знал, как это бывает. После армии там что-то прохудилось. Радиация и дерьмовая еда. В те годы моей мечтой была банка сгущенки за 55 копеек. В солдатском ларьке, кроме нее, продавались лишь каменные мятные пряники. Однажды, после десятикилометрового марша по зимней тайге, ворвавшись в такую уютную после снега, снега и снега казарму, я рванул к своей тумбочке, где в углу, за книгами, стояла ополовиненная банка с голубой этикеткой. Молоко засахарилось, комки его хрустели у меня на зубах. Сержант, занимавший верхнюю койку, разматывал почерневшие портянки. После того, как основная масса вытекла, сгущенка затормозилась – дырки были слишком маленькие. Штык-ножом я открыл банку – внутри было штук двадцать утопившихся тараканов. Это они хрустели. Странно, меня даже не вырвало.

* * *

Вошла парочка. Седой хмырь в дорогих очках и студенточка. Взял себе вервенового чаю, а ей горячего вина.

Правильно. Чтобы мозги у нее запотели. А свое здоровье пора беречь. Студенточка смотрела, словно извинялась. Давай-давай. Теперь кальвадос согрелся и я блаженствовал. Хозяин вернулся за стойку и мыл стаканы. Жар камина накатывался на меня. На что это похоже? На темно-синий снег за крестом окна и малиновое варенье. Жёлезки распухли, и мать заматывает тебе горло шарфом. «Не канючь! Вовсе он не колючий». Форточка открыта, и перед сном в нее влетают огромные снежинки... Я потрогал шляпу. Бедная, как тебя перекосило. А ведь из хорошей семьи, с авеню Матийон.

География памяти! Боже! Зачем мне все эти тонны деталей. Для чего? Студенточка нервничает. Хмырь не спешит, снял очки, протирает их салфеткой. Глаза у него без очков маленькие-маленькие. Эд как-то писал, что хорошо спать с любимой женщиной. Точно. Совсем не интересно с Фелин. Гораздо уж лучше с Лоранс. Но с нею всегда такое горькое чувство. Словно она тонет, а у тебя увольнительная на берег. Когда я в последний раз спал с любимой женщиной? Год прошел. Больше. Секла всё на свете. Никаких сносок и комментариев. Ночами, пустой навывлет, я спал у ветвями исхлестанного окна. Она – в шерстяных рейтузах и халатике – сидела до утра за чертежным столом, выводя обод теннисной ракетки для новой рекламы или крыло альбатроса для сигаретной пачки. Я проспал ее. Я слишком счастливо спал в те ночи. Теперь, где-то в Челси, в толстом свитере и балетных чулках, она сидит за обеденным столом, раскрашивая двухпалубные автобусы, и муж ее храпит, обняв подушку.

Я почти допил кальва́ и стал рассматривать дверь. Никто не входил, и я забыл, в какую сторону она открывалась. Не важно. Это потеря двух секунд. Нужно лишь подождать, пока поток машин у светофора начнет скрежетать коробками скоростей, и красный свет переключится на желтый. Я высчитал, что реле срабатывает на 36-й секунде. Десять секунд желтого света. Большинство машин трогается уже на пятой... Учитывая лужи, плохую видимость, плащ и беспризорность, на катапультирование и занятие позиции на противоположном берегу уйдет 20 секунд. Все дела. Я пытался придать шляпе форму.

Бесполезно. Дверь открылась вовнутрь. Вошла женщина. Вся в коже. Волосы собраны в пучок, блестят от дождя. Хозяин включил музыку. Blue Rondo a la Turk. Заря сопливой юности. Студентка расплачивалась вместо хмыря. Хозяин собирал со стола. Я позвал его. «Собираете иностранные деньги?» – «Тридцать две страны, – он улыбнулся. – Вы откуда? Мексиканец?» – «Маленький подарок», – я протянул ему пятисотрублевку 901-го года с Петром Великим в рыцарских латах. Хозяин взял ее и крикнул. «Это слишком... – он поднес ее к лампе. – Это что же?» – «Россия до революции». – «Так вы русский? Ага...» – «На эти деньги можно было хорошо погулять... Кстати, сколько я вам должен?» – и я полез в пустой карман. Пламя камина полыхало на стеклянной двери, сквозь огонь неслись взмыленные машины, светофор заклинило на зеленом. «Но, но, но! – жестом обеих рук словно отодвигая меня, запротестовал хозяин. – Ни в коем случае! Кто же это? Ваш царь? Иван Грозный?» – «Петр Великий» – «Ну да! Петр Грозный... Вот это подарок... – И он, перегнувшись через стойку, достал с полки бутылку и плеснул мне двойную, тройную порцию кальвадоса. – От фирмы... Я, пожалуй, вставлю ее в рамку...» Он, все еще разглядывая банкноту, зашел за кофеварку и, сняв со стены фотографию велосипедного клуба футбольной команды, примерил к рамке Петра Грозного. «Juste!» – констатировал он, потроша картонное нутро.

Дама заказала грог. Голубое рондо крутилось по третьему кругу. Все было хорошо. Даже то, что Фелин не любила это делать, а Лоранс не могла без этого заснуть. Когда-то Лоранс была Фелин, а Фелин, со временем, станет потускневшей, напуганной, жадной до мужиков Лоранс. Все было отлично и как надо. Всегда всё как-то устраивается. Если не ныть. Получил же Эд свой плащ. Я поднял рюмку и приветствовал даму в двух кожах. Под одной еще текла горячая кровь. Она улыбнулась. Ее крупные зубы были перемазаны губной помадой. Краем салфетки она отирала их, кося в карманное зеркальце траурно отороченным глазом. Пожалуй, я был единственным на Земле человеком, отоварившим царские деньги через шестьдесят три года после революции.

Еще Эд писал, что русские эмигранты в сабвее вместо токенов пускают в ход трехкопеечные монеты. Дама достала сигаретку и фальшиво вертела головой. Я полез в карман за спичками. Они отсырели.

2 дек. 82 – 23 апр. 83, Париж.



Реквием

1

Как весело ели
Сегодня шумели,
А завтра – обычай таков! –
Закроются веки
И только: навеки,
Навеки во веки веков!
Над крышами кружит,
За окнами вьюжит,
Но щелкни хоть сотней замков,
Закроются веки
И только: навеки,
Навеки во веки веков!
Ты труд свою оставишь,
Ты точку поставишь,
Положишь плиту для венков...
Закроются веки
И только: навеки,
Навеки во веки веков!

2

Что с нами сделалось, Витя Соснора?
Думаем медленно, пишем не споро.
Где наши лавры, литавры и пыл?
Где наши муки, скажи мне на милость?
Солнце поэзии не закатилось
И не остыло, а я вот остыл.

Больше восторг мои губы не сушит,
Ворот застегнутый больше не душит –
Нету охоты его распахнуть...
Но издалёка (чего не бывает!)
К берегу тихо корабль подплывает –
Белые крылья и алая грудь.
Мы поднимаемся дерзко по сходням.
Что это с нами случилось сегодня?
Жадно мы пробуем воздух морской.
Снова кружить нам в морях одичалых,
Снова нас ждут на высоких причалах –
Утро встречает и машет строкой.
Милый товарищ мой, старый товарищ,
Скоро ли ты сигарету нашаришь?
Спичка уже обгорела на треть...
Что ж ты в глаза мне не смотришь впервые?
А над верандой шумят вековые
Сосны, которым не страшно стареть.

3

Все лучше, все хуже читаю стихи...
Срастаясь с печалью и риском,
Мой голос уже не уходит в верхи,
А стелется в рокоте низком.
Как будто спеклись в нем и ярость, и лёд,
И горе – и всё, чем живете,
И, пряча глаза, я веду самолет
На бреющем страшном полете.

4

У Семеновых топят,
Значит, осень пришла,
Значит, время торопят –
Вот какие дела.
И свистят электрички,
И бегут вдоль окна

Станций звонкие клички –
Дачных мест имена.
Этот день неподсуден,
Не желтеют сады,
Ходят строчки и люди
Мимо невской воды.
Деловит, как хозяин,
Катерок на волне...
И весь город изваян
Не вокруг, а во мне.
Умираю в больнице
Наяву, наяву,
А ночами мне снится,
Что я снова живу.

5

Когда я был молод,
Никто не умирал.
Никто,
Даже старики.
А сегодня умирают все –
И старые, и молодые.
Смерть приходит к человеку с возрастом,
И это так печально,
Что об этом почти не стоит говорить.
На улице играет музыка,
Но мой сын ее просто не слышит,
А я знаю,
Что это опять кого-то хоронят...
Господи!
Неужели меня?

6

Мы вдоль заката медленно идем
И разговор ведем неторопливо,
Как будто лодку медленно ведем
Вдоль медленного берега залива.

* *
*

Такая злость, такая здесь тоска,
Как будто землю пустят с молотка,
А может быть, и пустят – кто их знает...
Но мы с тобой живем еще пока,
И нам об этом дождь напоминает.
Седьмую вечность врут метеосводки.
Что будешь делать при такой погодке?
Мы заперты, дорога как река.
Зачем же злость? Куда мы дни торопим?
Давай-ка печь ольховыми затопим
И посидим вдвоем у камелька.
У камелька тоска тоску согреет
И ни о чем душа не пожалеет.
Нас двое? Или мы с тобой одно
Живое тело? Поздно или рано?
Ну обними меня, моя Татьяна,
Моя Земфира, Мери... Всё равно!

* *
*

Дом из прессованного картона
Мне не наносит большого урона.
Правда, он тычется в окна, но я
Мимо гляжу и по-прежнему вижу
То, что люблю и слегка ненавижу, –
Холм и тропинку, и дуб у ручья.
Да, я ворчу: надоело за годы,
Но необидчива прелесть природы
И приедается только тогда,
Если встаю я в дурном настроенье
И упираюсь глазами в строенье,
В это подобье людского гнезда.
Где бы и сколько я раз ни рождался –
Рос бы в горах, городам попадался,

Степь бы молила: «Живи, я твоя...»
Мне бы (простите моё постоянство!)
Нужен был малый кусочек пространства –
Холм и тропинка, и дуб у ручья.

* *
*

Льву Зиновьевичу Копелеву

«Gib meine Jugend mir zurück!»*
Я знаю, это невозможно.
Верни мне все: и то, что можно,
И мой порыв, и мой испуг.
Все отбери: и дом, и честь,
И дар, и вкус, и ум, и силу –
Все то, что есть, за все, что было,
За все, что было, то, что есть.
Не пожалею – отдаю,
Не упрекну, не попеняю...
Я знаю, что на что меняю:
Отдай мне молодость мою!



* Гёте. «Фауст».

Наталья ЯБЛОКОВА-БЕЛИНКОВА

Погасшая елка

В 1970-м году, вскоре после кончины Аркадия Белинкова, я оказалась в Лондоне и там познакомилась с молодым англичанином – специалистом по русской литературе, который собирался в Москву «по обмену». Молодой человек хорошо говорил по-русски, а Россию знал плохо. Больше всего его волновали КГБ и плохой климат – он ехал туда зимой. Я рассказала, как надо одеваться, в каких библиотеках он может достать интересующие его материалы, а КГБ посоветовала не бояться, в том случае, конечно, если ничего нелегального он делать не собирается.

На следующий год я опять была в Лондоне. Мой знакомый, к тому времени уже побывавший в Москве, разыскал меня и попросил приехать. Я постеснялась отказаться, но ехать мне не особенно хотелось. Я знала, что мы теперь обменяемся ролями. Он с видом знатока будет мне рассказывать о Москве, в которой пробыл самое большее месяц, а я буду задавать наивные с его точки зрения вопросы о стране, в которой я прожила всю жизнь.

Помню его большую квартиру, пустоватую, с высокими потолками и старинной мебелью, помню полутемную комнату, обставленную книжными полками, – не то кабинет, не то комната для гостей. Здесь мы пили кофе. А может быть, чай. И все было, как я предполагала: вежливые вопросы и вежливые ответы. Время тянулось медленнее, чем обычно. Я уже готова была уходить.

– А вот самое главное, из-за чего я позвал вас сюда, – сказал хозяин дома, протягивая мне тяжеловатый сверток.

Предполагая, что в свертке находятся московские сувениры, я его развернула. И время остановилось. Нет, поплыло вспять. У меня на коленях была обложка «Методических указаний по выполнению дипломного проекта». Наверху стояло: «Московский полиграфический институт». Несколько лет тому назад я работала в этом институте, и у нас дома иногда пользовались бракованными обложками вместо папок. В серой шероховатой обложке, которую я держала в руках, лежала рукопись. Страницы ее были разной длины и зацеплены скрепками, что образовывало несколько тугих пачек. Бумага была сухой и пожелтевшей, а скрепки поржавели.

Передо мной лежали черновики Аркадия Белинкова к книге об Анне Ахматовой.

На первой же странице летящим почерком был набросан черновой план работы: «Подобрать куски... соединить их по плану... отобрать все планы... сделать сводный план... наблюдения над стихом Ахматовой... Свести тексты „Величайшие живописцы“ и „Безнравственность, ханжество, растленность“...»

Все выглядело так, как будто папку только что взяли с письменного стола писательского дома недалеко от Белорусского вокзала, как будто мы в Москве никаких архивов на произвол судьбы не бросали и никуда насовсем не уезжали. Но я была в чужом доме на берегу Темзы, а автора незаконченных записок уже не было в живых.

По святому неведению, не видя ничего нелегального в том, что делает, привез эту папку молодой специалист? Или – несмотря на страх перед КГБ, совершал подвиг? (Как трагично-нелепо нас вынуждают усматривать подвиг в том, что кто-то привозит вдове пачку незаконченных черновиков с рассуждениями о назначении поэта!)

Я не стала спрашивать, как была переправлена папка и откуда он ее достал. Больше того, я, как могла, естественно изобразила радость по поводу того, что все так благополучно обошлось. Вместе с тем, сколько жестокой бессмысленности было в этом! Папка, набитая пачками правленных бумажек, была доказательством необходимости закончить работу над книгой. Но автора, задумав-

шего эту книгу, уже нет. Что мне делать с незаконченными фразами, с отдельными словами, с несведенными текстами, расположенными в незнакомом мне порядке? Допустим, я разберусь в рукописи, опубликую ее. Но как знать, какие линии потянулись бы от этих еще неуклюжих строк, чем взорвались бы еще робкие вопросы, заданные самому себе? В какой форме были бы изложены выводы? Гадкий утенок превращается в красивую птицу без посторонней помощи. Как это можно – продолжить судьбу умершего человека! Я хорошо помню, как мой муж возмущался родственниками, стремящимися во что бы то ни стало опубликовать литературное наследие. Он боялся не сделанных работ. Значит, я нарушу завет?

Совпадение нескольких, по природе своей различных, обстоятельств привело Аркадия Белинкова к решению писать книгу «Судьба [победа] Анны Ахматовой». После книги о Тынянове, писателе лояльном советской власти, он решил, что непременно нужны еще две: о художнике, сдавшемся власти, и о художнике, противостоящем ей. Все три книги должны были составить трилогию, которая исчерпала бы возможные варианты взаимоотношений поэта и власти (иногда – общества). Предполагалось, что о четвертом типе художника, таком, который принимает господствующую власть безоговорочно и подпевает ей, нечего и говорить: таковой был рядовым автором журнала «Октябрь» и, следовательно, не творческой личностью.

Был самый разгар 60-х годов. «Оттепель». Правда, уже разгромили Дудинцева, уже расстреляли Венгерское восстание, уже погубили Пастернака, но начиналась Пражская весна, появилось постановление ЦК КПСС об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца», уже была исполнена ранее запрещенная опера Шостаковича «Катерина Измайлова», и один шустрый журналист напечатал очерк о птичнице передового колхоза, который назвал «Белая стая». Ожидалось постановление об исправлении ошибок в оценке журналов «Звезда» и «Ленинград», сделанных ВКП(б) в 1946 г. Слава «Нового мира», напеча-

тавшего Солженицына, щекотала нервы редакторам других журналов, которые тоже хотели быть передовыми. «Вопросы литературы», надеясь на отмену постановления 46-го года, попробовали опередить Твардовского и заказали статью об Анне Ахматовой Аркадию Белинкову. Для соревнования в престижности годились и повод, и предмет статьи, и ее автор.

Первые два обстоятельства комментария не требуют. Что касается третьего, то в «Вопросах литературы» хорошо знали, что между Аркадием Белинковым и «Новым миром» тесных связей не было. Хотя А. Марьямов, А. Берзер, К. Озерова были людьми одного с нами круга и хотя Аркадий писал для журнала внутренние рецензии, ни одной его печатной работы в «Новом мире» не появилось. С одной стороны, сам Аркадий Белинков избегал статей, полагая, что в относительно коротком, по сравнению с книгой, тексте труднее протащить через цензуру «крамольные» идеи. С другой стороны, и журнал проявлял некоторую сдержанность по отношению к Аркадию Белинкову: имя было одиозным и привлекало внимание цензуры само по себе. Даже в моих рецензиях цензура обнаруживала что-то неподходящее. Возможны и другие, менее объективные мотивы неприятия Аркадия Белинкова в новомирском клане. Однажды А. Дементьев (скорее уцелевший сталинист, нежели новонародившийся диссидент) при мне посоветовал А. Лакшину съездить к Аркадию на дом, чтобы ознакомиться на месте с рукописью об Олеше и примериться, возможно ли напечатать отрывок из нее в «Новом мире» (А. Белинков в то время не мог приехать в редакцию журнала из-за болезни). На лице Лакшина возникла гримаса неудовольствия. Очевидно, нарушался какой-то этикет во взаимоотношениях автора и редактора. Визита не последовало. Только к концу 60-х годов к Белинкову с полуофициальным предложением о сотрудничестве обратился другой, тогда молодой член редколлегии И. Виноградов. Разговор происходил у нас дома. Виноградов и удивлялся, и одновременно объяснял, почему имя Аркадия Белинкова не появляется на страницах «Нового мира», делал намеки на несогласие между собой сотрудников журнала. Кажется, мы

тогда узнали о вступлении А. Лакшина в коммунистическую партию. На неопределенное предложение Аркадий ответил неопределенно. Подходящее время для сотрудничества миновало. К тому же он придерживался правил игры: самотечных рукописей в издательства не поставлял.

Заказанную «Вопросами литературы» статью Аркадий Белинков начал писать по канве волошинской строчки: «Тяжек жребий русского поэта...» Пытался придумать, что можно показать открыто, а что надо прятать в подтекст. Он записывал: «Прочитировать куски из статей, где говорится, что она великий поэт. Цитировать, якобы не для этого... Блок: – «Искусство – ноша на плечах»... написать об Эльсберге, Самарине, Никулине и т. д. в контексте с историческими лицами, известными такого рода деятельностью. Или же в контексте с рассуждениями о такого рода деятельности». На столе начали накапливаться стопочки бумаг с цитатами, отдельными фразами, названиями разделов будущей статьи: «Об одностемности Ахматовой», «Причины распри Ахматовой с веком».

Постановления о переоценке взглядов на Ахматову и Зощенко не состоялось. Статья для «Вопросов литературы» стала ненужной.

Но материала накопилось так много, что он просился в книгу. В трилогии о разных типах взаимоотношений писателя и господствующей власти место сопротивляющегося поэта было вакантным. Казалось, его займет Анна Ахматова.

Во время работы над книгой Аркадий Белинков часто бывал у Анны Андреевны, когда она приезжала к своим московским друзьям. В один из таких визитов он взял меня с собой.

На пороге типичной старой московской квартиры нас встретила не гибкая гитана, а очень полная пожилая женщина. Ласково поздоровавшись, она повела нас по длинному коридору. Ее поступь была величавой, но шаги были тяжелыми, как у людей с давним сердечным заболеванием. Не классическая шаль спускалась с ее плеч, а широкое выцветшее платье лилового цвета, на котором аккуратными квадратиками красовались две заплаты. Они были заметны, несмотря на то, что были выкроены

из того же материала, что и платье. Потом мне бросилась в глаза огромная, царственной красоты гранатовая брошь, скальвающая на груди вырез поношенного платья. Лицо женщины было большим, бледным, одутловатым и... красивым. Челки, столько раз воспетой, не было. Седые пряди были отброшены назад и заколоты сзади. Ей трудно дышалось, но голова была гордо откинута, и вся она, вопреки явному и давнему нездоровью, наперекор очевидной и постоянной бедности, являла царственной персоны портрет. На ее волнистых седых волосах как будто возлежала блистательная корона. Только вот царство было расхищено. А мы выступали в качестве подданных разграбленного королевства, сопричастных судьбе поэтов-современников. Но нам сожалеть, а им – страдать.

Анна Андреевна ввела нас в маленькую узкую комнату, в которой помещалась узкая кровать, столик у окна и стул. В переднем углу – икона. На голой стене у кровати – известный ее портрет работы Модильяни. Он демонстративно напоминал, с кем мы разговариваем сейчас. Но и без того Ахматова 20-х годов с неотвратимостью дневного света проступала через теперешнюю.

Если гостей в комнате было больше одного, то им приходилось сидеть на кровати вместе с Анной Андреевной. В этот раз вместе с ней сидела я. Аркадий расположился на жестком стуле напротив. Было так тесно, что мы почти касались друг друга. Сидя, Анна Андреевна опиралась ладонями на свои колени. Таким образом она поддерживала свое тучное тело. Заплаты приходились на уровне колен.

Думаю, что если бы Анна Андреевна была жива, она была бы возмущена тем, что я о ней написала. О, я видела ее гнев!

Во время беседы с нами она вдруг прервала сама себя и порывисто, с необыкновенной грацией и гибкостью выхватила не то журнальную, не то газетную вырезку из-под пачки бумаг на столе. Это было опубликованное за границей интервью с нею иностранного ученого, имени которого я, к сожалению, не помню. «Нет, вы только послушайте, что он тут пишет!» – возмущалась Анна Анд-

реевна, переводя с английского языка описание самой себя: «Меня встретила не изящная властительница поэтических салонов начала 20-го века, а немолодая женщина с руками прачки...» – «С руками прачки!» – яростно и вместе с тем беспомощно-обиженно восклицала она. Я посмотрела на ее руки. Они были старческими. Вслух мы притворно разделили ее чувства. Со стены на нас укоризненно смотрел портрет работы Модильяни. Было горько.

Было очевидно, что иностранец не имел никакого намерения обидеть Анну Андреевну. Наоборот, он попытался создать высокий трагический образ. «До чего довели человека в этой стране!» – как бы хотел он сказать. Но у Анны Андреевны было свое мнение по вопросу о распре поэта со временем.

Этот эпизод должен был бы послужить некоторым предостережением тому, кто собирался сделать ее героиней своих писаний.

Каждый раз Аркадий отправлялся к Анне Андреевне с большой неохотой. Как-то он объяснил мне, что неприятное чувство, с которым он идет и возвращается, связано вовсе не с нею, а с ее окружением: «курят фимиам и не дают поговорить серьезно».

Сейчас я думаю, что надо извинить тех, кто курил фимиам. Если есть закон взаимоотношений поэта и черни, то в случае с Ахматовой общество этот закон нарушило. Теперь поэту воздавали должное за его высокий смелый дар и извинялись за долгие годы молчанья и страданий, причиненных ему в года глухие.

Аркадий Белинков аккуратно ходил к Ахматовой, как ходят на работу. Потом садился за письменный стол, перекладывал стопочки бумаг, пересматривал однотомники поэтессы и писал: «Главное заключается в том, чтобы показать, как сложный душевный мир, тонкость ощущений, глубина переживаний могут возникнуть в результате сложнейшего исторического развития... Таким образом возникает главный вопрос: «Как связать поэтическое творчество с историей, с историей культуры, с искусством...?»

Одна из особенностей черновиков Аркадия Белинкова к книге об Ахматовой состоит в том, что Ахматова в

них почти не цитируется. Он как бы боялся сломать хрупкость ахматовских строчек, преждевременно сопоставив их с рассуждениями на исторические и политические темы. В одном месте он пишет: «следует опасаться выводить творчество Ахматовой только из исторических мотивов». Но судьба ее поэзии, как и ее собственная судьба, как и судьба ее современников, вынуждала писать именно об истории. И в другом месте мы находим: «Связать выход сборника 1940 года с резким изменением идеологической концепции. Это изменение было вызвано тем, что близилась война и это требовало иных взаимоотношений государства и общества, нежели революция. Подготовка к войне в государстве, покончившем с борьбой классов, оказалась связанной с необходимостью объединения всего народа вокруг привычных представлений о родине, патриотизме, величии народа, исторического прошлого и пр.»

С одной стороны, у Ахматовой:

Здесь всего сильнее от Ионы
Колокольни Лаврския вдали.

или:

И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись – и там зеленый дым.

С другой стороны, у Аркадия Белинкова:

«История не может вызвать определенный эстетический ответ, но история может выбрать и усилить подавленные явления».

Трепетные лани поэзии и тяжелые кони литературоведения в одну повозку впрягались с трудом. Особенно это было заметно в работах других исследователей ее поэтического творчества: «До сих пор, – пишет Белинков, – все, что мне приходилось читать о стихах, в частности о стихах Ахматовой, весьма определенно тяготело или к анализу темы, или к анализу морфологии. Изредка и к тому, и к другому. Причем и то, и другое не соединялось. Об искусстве, то есть о явлении идеологической

истории человечества, я не читал. Но, очевидно, нужно писать именно об этом. Особенно это касается Ахматовой, потому что Ахматова это не только художник, но и судьба художника. И об этом надо писать: об искусстве и о судьбе художника».

Медленно и постепенно Аркадий Белинков преодолевал сопротивление двух спорящих материалов – лирики и литературоведческого текста. Стали появляться наблюдения над творчеством Анненского, Блока, Пастернака. И, наконец, он находит точку, в которой могли бы сойтись и история, и морфология, и искусство, и личность художника: «связующим звеном должен быть Пушкин».

Думаю, что в законченной книге стилистического противоречия между лирикой Ахматовой и критикой Белинкова не было бы. Аркадий Белинков писал литературоведческие работы трудно, долго и тщательно, как пишут прозу, как пишут стихи. Он обдумывал по нескольку дней, каким словом лучше закончить предложение: из двух слогов или из трех, с ударением на первом слоге или на последнем. Убедительность исследовательских работ Аркадия Белинкова держалась не только на логических построениях, но и на сложном комплексе художественных средств, который включал в себя и литературоведческий анализ, и публицистику, и даже лирику – как форму самовыражения. Он иронизировал над авторами, которые писали в манере «замечательный писатель в своем замечательном произведении замечательно отразил».

Между догадкой (Пушкин!) и ее литературным воплощением оставалось обширное пространство будущей книги, которое должно было заполниться не только анализом влияния исторического процесса на тонкость ощущений героини, но и восторгом, болью, отчаянием и порой... гневом автора.

Иногда между Аркадием Белинковым и Анной Андреевной возникали размолвки. Например, он сердится на потуги Хрущева руководить искусством – скандал на выставке в Манеже, встречи с писателями, – а Анна Андреевна недовольно отвечает: «А мы с вашей мамой и н о г о мнения о Хрущеве».

Аркадия Белинкова и сына Анны Андреевны освободили приблизительно в одно время. Как два бывших зэка, они, может быть, и нашли бы общий язык, но у Анны Андреевны было свое особое мнение и свое особое чувство. В том, что она уверенно пригласила в сообщницы мать Аркадия, предварительно не сговорившись с ней, кроется, по-моему, тайный смысл, обойденный биографами поэтессы. Из всех любовных болей и гражданских обид у этой властной, гордой, временами капризной богини преобладала одна общечеловеческая уязвимость. Источником мудрости, смирительницей гордыни, внутренним светом поэзии у зрелой Анны Ахматовой стала материнская боль.

И тебе порасскажем мы,
Как в беспмятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

После паузы, похожей на ссору, королева снисходительно простила нас. «Хотите, я вам почитаю», – не спросила, – предложила она. Интонация – жест. Жест – царский дар. Кто бы отказался? Мы замерли. Заботы суетного света отступили. Ни размолвки, ни стареющего тела, ни гранатовой броши. Побледневшую женщину потребовали к жертве. Проходя через муки ада, Анна Андреевна превращалась в Анну Ахматову, в нечто, называемое чистой поэзией и (это уж для русского читателя) совестью. Она читала нам «Реквием». Сама! Кажется, она не читала его – творила заново.

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
Но туда, где молча мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Голос у Анны Андреевны был низкий, грудной, с сильным перехватом, когда не хватало воздуха.

К концу чтения мы плакали все трое. У памятника, самой себе поставленного Анной Ахматовой, таял в брон-

зовых глазницах снег. В Москве еще надеялись на обновление, по Неве плыли корабли, как облака плывут, облака...

Свидание с Анной Андреевной кончилось цитатой. Она действительно проводила нас до передней, в которой стояла золотая пыль.

Анна Ахматова, о которой хотел писать Аркадий Белинков, уходила от Анны Андреевны все дальше и дальше. Это беспокоило его, и он записывал: «В книге будут исследованы не декларации, а книги, эволюция творчества, сложные взаимодействия исторического факта и художественного явления, определенного этим историческим фактом. Что же касается субъекта исторического воздействия – писателя, – то к его собственному отношению следует подходить с особой внимательностью и не переоценивать его значения. Потому что волюнтаризм всегда процветает там, где одному человеку приписывается решение задач, которые выполняются всем обществом в процессе исторического развития».

Нет сомнения, что Ахматова смотрела на время, на искусство, на книгу о себе иначе, чем думал об этом Аркадий Белинков, преисполненный как к Анне Андреевне, так и к поэзии Анны Ахматовой большим уважением и любовью. В конце концов, они были людьми разных поколений. Шестидесятые годы, которым принадлежал Аркадий Белинков, обкраденные и искалеченные социалистическим реализмом мышления, нуждались в прошлом, как в прерванном истоке. Но это также были годы ревизии исторического прошлого, когда ничто не принималось безоговорочно. Ей же, царскосельской воспитаннице, думаю, не нужны были вторичные открытия диссидентов периода «оттепели», как и их запальчивость, их разъедающий скептицизм, который они переносили даже на то, что противопоставляли режиму. «О чем волнуются эти молодые люди? – недоумевала она: – „Октябрь“ или „Новый мир“? На них на всех написано „Пролетарии всех стран соединяйтесь!“»*

* Последняя фраза приписывается молвой Анне Андреевне Ахматовой.

Анна Андреевна разочаровалась в авторе книги о ней. Однажды, после ухода Аркадия Белинкова, раздраженного тем, что опять не удалось поговорить серьезно, она с огорчением произнесла: «Елка погасла!»

Впервые я услышала об этом от Анатолия Якобсона, нашего московского друга, в Иерусалиме, спустя несколько лет после смерти Аркадия. Тогда же, основываясь на нескольких страничках рукописи, напечатанных в «Новом колоколе», он высказал предположение, что сложный и хрупкий образ поэтессы нельзя вмести́ть в жесткую формулу «поэт и власть». Помнится, я тогда пожалела, что опубликовала часть архива.

Значительно позже я натолкнулась на то же у Л. К. Чуковской в ее «Записках об Анне Ахматовой». Сразу же должна оговориться, что более честной, более талантливой, более обогащающей (и фактами, и силой духа) книги об Ахматовой я не знаю. Тем более неприятно мне было прочитать следующие ее слова об Аркадии: Белинков «ведь вообще публицист – не литературный критик. И Тынянов послужил ему лишь трамплином для публицистических взлетов. Поэзию же Анны Ахматовой делать трамплином для чего бы то ни было – грех. Она сама себе довлеет. Извлекая политический корень, неизбежно исказишь и обузишь ее».

Эпизод с елкой в этой книге описывается более подробно. Привожу запись от 5 июня 1962 года.

Анна Андреевна «меня без конца вызванивала и заставила прийти в очень для меня неудобное время. Зачем?

.....
– Елка погасла! – произнесла Анна Андреевна с такой внезапной и горестной торжественностью, что я, от удивления, огляделась вокруг (ища глазами елку).

– Да, погасла, погасла. Знаете, как это бывает? Скажет человек одно слово и праздник окончен.

Оказывается, у нее был Белинков, который собирается писать о ней книгу...

– Знаете, что Белинков сказал о «Поэме»?

– Нет. Откуда мне знать?

– Догадайтесь!

– Ну, Анна Андреевна, ну как же я могу догадаться?

– Он сказал, что «Поэма» прямо обязана своим возникновением поэзии Игоря Северянина... Да, так, – сказала Анна Андреевна со вздохом. – А мне твердили о Белинкове, как о восходящей звезде.

И тут я догадалась, почему она столь настойчиво меня вызывала.

Ей хотелось поделиться со мною очередной надеждой, которая рухнула. Она, видимо, сильно рассчитывала на Белинкова*.

Разочарование Анны Андреевны мне понятно. Выводить «Поэму» из Игоря Северянина, о котором сам Блок сказал, что у того «жирный адвокатский голос»!..

Однако, то, что Л. Чуковская (наш друг, можно сказать) так легко и доверчиво последовала за реакцией Анны Андреевны, меня смущает. Создается впечатление, что они обе (а вслед за ними и другие) с излишней поспешностью и категоричностью отказались от более высокой оценки поэтессы, чем имели в виду сами. Относясь с пиететом к ранней Ахматовой, Белинков еще более ценил позднюю, ту, которая, не став самой себе музеем, выстрадала свой особый путь. «Поэму без героя» – любимое детище Анны Андреевны – он не числил в ряду лучших ее произведений не по политическим, а по эстетическим соображениям. В частности, ему не нравилось нагромождение нескольких вступлений к поэме. Не исключено, что имя Игоря Северянина в злополучном разговоре выполняло роль эвфимистической метафоры. Любопытно, что знаток всемирной литературы и поэт Алексис Раннит, характеризуя раннее творчество поэтессы, наравне с ней упоминает Игоря Северянина, Бальмонта и Мих. Кузьмина (а также Рахманинова, Скрябина, Врубеля, Сомова). Попутно, он предлагает переоценку Игоря Северянина, в творчестве которого усматривает не замеченное современниками ироническое начало**.

* Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. YMCA-Press, Paris, 1976, стр. 425, 426.

** Alexis R a n n i t. «Anna Akhmatova considered in a context of Art Nouveau» в кн. «Анна Ахматова, соч., т. II», Международное литературное содружество, 1968, стр. 9.

В записях Аркадия Белинкова к книге «Судьба [победа] Анны Ахматовой» упоминаний об Игоре Северяnine нет вообще. Возможно, что весь ёлочный эпизод был всего лишь недоразумением. Но из недоразумений рождаются мифы...

О том, что праздник доверительного общения с Анной Андреевной был прерван по его собственной вине, Аркадий Белинков так никогда и не узнал. Но чувство невозвратимой утраты он пережил.

Однажды утром на нас, как и на других подданных ахматовского королевства, обрушилась весть о ее кончине.

В это утро во дворе больницы, в которой она умерла, собралось несколько сот человек. Пришедшие сюда добровольно осуществили дарованное советской конституцией право на свободу собраний и свободу слова. Во дворе находился помост, назначение которого было неизвестно. За ним стоял столб с перекладиной. Люди стали подниматься на помост по одному и говорить о величии Анны Ахматовой и о своей скорби. Каждый из выступающих казался обреченным на виселицу. В стороне стояли какие-то ржавые бочки. Также в стороне топтались одинаково одетые незнакомые личности. Единственные ворота во двор были полуприкрыты. На улице перед воротами стоял автобус. К нам подошел Шаламов, шепнул: «Тут как раз та тысяча, о которой говорил Семичастный...»*

Гроб с телом стоял в совершенно пустой комнате, расположенной рядом с моргом. Со двора длинной бесконечной вереницей входили прощаться. Совершив скорбный круг, вытекали обратно. Давила особая, сопутствующая смерти, тишина. Шаркающие подошвы, да шепот. Сморкались и всхлипывали. И вот она – отгороженная от нас кромкой гроба. Голова чуть склонена влево. Странная ироническая улыбка на лице. Серые пушистые волосы прикрыты черной кружевной косынкой. Такие в народе принято надевать на похоронах живым. От непрерывающегося движения толпы, в медленном кружении

* По Москве ходила фраза Семичастного о том, что, арестовав тысячу московских инакомыслящих, он установит в стране порядок.

обволакивающей гроб, воздух в нетопленной комнате нагревается. Он пошевеливает косынку. Как будто кто-то дышит. Но контраст между подвижной материей и застывшим лицом ненарушим. Он подчеркивает непреложность смерти.

Современность на глазах превращалась в историю.

И как в прошлом грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет.

Работа А. Белинкова над книгой об Ахматовой была отложена на неопределенное время из-за текущих литературных дел. Некоторые следы ее можно обнаружить в книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», ставшей второй частью трилогии о взаимоотношениях поэта и власти: «Из всех условий существования поэта единственное, которым нельзя пренебречь, это правда, которую он обязан говорить обществу. Эта правда в разные эпохи выражается неодинаково. Иногда она может выражаться так:

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пенея...
(Пушкин. Стихотворение «Нимфа»)

Иногда иначе:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ...
(Ахматова. Поэма «Реквием»)

Это ничего не меняет. Поэт говорит только правду. И ни пытки, ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женщина, которую он любит и которая предает его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, льстить, лгать, клонить голову и славить тирана. Сдавшийся человек не может быть поэтом. Человек, испугавшийся сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ни-

чтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья»*.

Олеша завел Аркадия Белинкова дальше, чем тот предполагал, – в эмиграцию. Кипа черновиков к книге об Ахматовой, уложенная в самодельную серую папку, осталась в России – как казалось тогда, навсегда. Над последней частью трилогии – о несдавшемся художнике – он продолжал работать в Америке. Но положительным героем этой книги должен был стать Александр Солженицын, а не Анна Ахматова.

Работа над обеими книгами была прервана обстоятельствами, не зависящими от автора. Отрывки из той и другой рукописи были опубликованы в сборнике «Новый Колокол» в 1972 г.

Аркадий БЕЛИНКОВ

Анна Ахматова и история

Отрывки из неоконченной книги «Судьба [Победа] Анны Ахматовой».

Парадокс в русской общественной мысли осужден как жанр. С него не спрашивают, хорош он или плох. Его осуждают за принадлежность к малопочтенной корпорации.

Это похоже на многие другие осуждения в нашей истории. Например, на осуждение кулачества как класса, когда личные качества одного, отдельно взятого кулака значения не имели.

Проблема парадокса несомненно важна и с каждым днем приобретает все большее значение.

* Аркадий Белинков «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», Мадрид, 1976, стр. 146.

(Я не хотел бы, чтобы эта страница была принята за ошибку типографщика, заверставшего в научное исследование кусок из фельетона).

Дело в том, что всякое научное явление – парадокс. Впрочем, что такое парадокс?

«Странное мнение, противоречащее на первый взгляд здравому смыслу», – утверждает словарь («Словарь русского языка», составил С. И. Ожегов. Гос. изд. ин. и нац. словарей, М., 1949).

В определении важно то, что – «на первый взгляд». Предполагается, что при внимательном рассмотрении мнение не будет противоречить здравому смыслу.

Если бы всё в жизни на первый взгляд не противоречило здравому смыслу, то, очевидно, не было бы потребности в науке, ибо все было бы ясно и ничего не надо бы было изучать.

Два века назад любой англичанин счел бы за парадокс предположение, что пар, который он ежедневно видит над своим чаем, может двигать вагоны с сидящими в них джентльменами.

Каждый из нас хоть раз в жизни, а некоторые даже и два, пережил это страшное ощущение, когда на наших глазах осуществлялось нечто, что еще накануне казалось совершенно противоречащим здравому смыслу.

Не правда ли?

Слово «парадокс» Пушкин употребляет четыре раза. («Словарь языка Пушкина». Гос. изд. ин. и нац. словарей. М., 1959, т. 3.).

Анна Ахматова в своих напечатанных произведениях не употребила ни разу.

Несмотря на это, проблема парадокса в ее жизни и литературной судьбе играет важную роль.

Парадокс Анны Ахматовой заключается в том, что ее главная тема – отверженная любовь, т. е. одиночество, – определена историей, которая в нашем сознании связана с огромным количеством людей и событий.

История для Анны Ахматовой играет роль не только как детерминанта ее творческой судьбы, а как действующее лицо ее произведений.

Следует иметь в виду, что это действующее лицо из эпизодических.

Но значение этого эпизодического героя часто бывает решающим. Это известно из театра: приходит вестник с двумя репликами, и две реплики меняют судьбы Мироздания.

У Анны Ахматовой эпизодический герой – история – решает ее судьбу.

Дай мне долгие годы недуга,
Задыханья, бессоницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так томлюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над скорбной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Странность мнения о том, что Анна Ахматова глубоко определена историей, – мнимая.

«Анна Ахматова и история» – это парадокс, т. е. мнение, «противоречащее на первый взгляд здравому смыслу».

Но только на первый взгляд.

Дело в том, что, думая об Ахматовой, мы упускаем из виду по крайней мере два обстоятельства: определенность историческим элементом контекста и роли исторического элемента в формировании ее личности.

После спиритуализма и незаинтересованности человеком и присущими ему переживаниями, характерными для средних веков, явился Петрарка со своим сложнейшим (дифференцированным, дробным отношением) анализом к человеку и его переживаниям. Прошло четыре века, и снова человек стал интересен не с точки зрения особенностей индивидуальной психики, а как выражение идей и категорий. Наступил классицизм. Ему на смену снова приходит повышенная заинтересованность индивидуальным, уже в романтической концепции и в романтической стилистике, с ее преувеличением и подавлением остальных признаков (образующих) человеческого характера.

И эта смена, следует полагать, не боясь впасть в типологизм, присуща всей человеческой истории в самых разнообразных ее проявлениях – в истории культуры, политической истории, истории искусств и т. д. И как всегда в истории человеческого существа, эти явления не следуют друг за другом, а всегда существуют вместе, но одно из них всегда подавлено, и всегда подавленное в свое время становится победителем, подавляя, но не до конца, побежденное. Поэтому одновременно существуют такие явления, как «Аполлон» и «Знание», как Пастернак и Сурков.

Было бы нелепым отделять стихи об «истории» от стихов о «любви». И никогда такой поэт, как Ахматова, их не отделяет. Скорее следует говорить о соединении истории и любви в одном стихотворении:

Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.

.....

Путь мой жертвенный и славный,
Здесь окончу я,
И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.

(1940)

Несомненно, любовная и историческая тема в ахматовских стихах связаны, и важно проследить, как т а к а я любовная тема, т. е. рожденная в результате длительных и сложных исторических процессов, произрастает из истории, из исторического воспитания чувств.

Из 350 стихотворений Ахматовой в 50 (например) есть история, искусство и пр. Много ли это? Вероятно, нет – в сравнении с другими поэтами, например, с Брюсовым. Хороши ли ахматовские стихи от того, что в них есть история, искусство и пр. Вероятно, нет. У других поэтов сколько угодно истории, искусства и пр., а стихи плохие. Точно так же и наоборот: у прекрасных поэтов нет ни истории, ни искусства и пр. В чем же дело? Дело не в истории, искусстве и пр., присутствующих или отсутствующих

ющих в стихотворении, а в том влиянии, которое оказывает история и искусство на человека, написавшего стихотворение, какую историю он выбрал и какая его воспитала. Если составить исторические ряды, определившие разных поэтов, то отличность этих рядов будет в какой-то мере соответствовать отличности этих поэтов. [Взять исторические ряды двух разных поэтов, например, Тютчева и Ахматовой. Сделать главку об историческом ряде Тютчева, сравнительно короткую, а следом затем развернутое исследование об историческом ряде у Ахматовой с подразделением на историю, искусство, с выделением из него литературы, а из литературы Пушкина. Попробовать начать с этого (после вступления) статью. Мотивировка такого поворота – сложность и тонкость ощущений являются следствием поглощения сложных исторических явлений.]

Враждебна или не враждебна поэзия Ахматовой нашей действительности? Я думаю, что не может быть и тени сомнения: не враждебна. Но в то же время, имея в виду опыт и борьбу советской литературы, трудно говорить о близости Ахматовой стремлениям этой литературы. Ахматова, конечно, не враждебна. Ахматова – лояльна. Но для нас, воспитанных на тезисе «тот, кто сегодня шагает не с нами, тот против нас», лояльность стала синонимом враждебности. Если это отбросить, то следует признать, что Ахматова – писательница очень далекая от задач и требований, интересов и тенденций советской литературы. Как же могло возникнуть такое явление? Это уже тема «Маугли»; человек попадает в иную среду и сохраняет свои особенности.

Как могло получиться, что внешние воздействия, столь интенсивные, ее, в сущности, не затронули? Почему это не происходит с другими?

Она была твердо уверена в себе и в своей поэтической духовной правоте. Поэтому она, как всякий (редкий) порядочный человек и большой писатель (последнее встречается значительно чаще первого), не подверглась воздействию быстротекущих концепций, которые еще за пять минут до гибели почитались вечными и непреложными и за попытки ревизии которых гибло все мыслящее.

Она не подверглась воздействию временных, преходящих, но всякий раз принимавшихся за нетленную истину идей, злобных и вредных. И поэтому она не претерпела ни вульгарного социологизма, ни еще более вульгарных концепций, сменивших вульгарный социологизм.

* *
*

Главное в статье – это эстетическое как производное исторического. Главное заключается в том, чтобы показать, как сложный душевный мир, тонкость ощущений, глубина переживаний могут возникать в результате сложнейшего исторического процесса, исторического развития. Может быть, следует по-иному посмотреть на так называемый исторический материал; может быть, исторический материал это не только имя, название, событие? Нужно посмотреть, нельзя ли найти связь между историческим материалом в обычном значении и производным от него, но так же историческим.

У меня все крепнет ощущение, что статья об Ахматовой (ее внешняя сторона, не подтекст, который, конечно, совершенно ясен) должна быть о воспитании чувств историей. Это нужно очень, очень сильно, коротко и блестяще сформулировать, а потом можно соскользнуть на непосредственно связанные с историей стихи. Кстати, если это удастся с Ахматовой, то таким способом можно написать целый цикл работ о разных других писателях – разумеется, моего ряда.

* *
*

Особо проследить, как происходит соединение лирической темы с исторической. Что и как определяется в таком стихотворении. Что такое ахматовское стихотворение без видимых исторических элементов. Но самое главное – как связана основная масса ахматовской любов-

ной лирики, не имеющей никакого видимого отношения к истории, с малочисленной и не лучшей лирикой, в которой история есть, т. е. как историей определена поэзия Ахматовой.

* *
*

Следует опасаться выводить творчество Ахматовой только из исторических мотивов. Если подсчитать количество исторических упоминаний, фактов, имен, то у Ахматовой всего этого окажется очень немного. Можно ли считать историю импульсом ахматовского творчества или нужно вести иной счет и не думать, что какое бы то ни было чисто поэтическое явление в ее творчестве является производным исторического понимания, имени, события? Очевидно. Кроме того, при такой методологии большая часть написанного Ахматовой окажется за пределами исследования, и само исследование будет носить частный, чуть ли не «диссертационный» характер. Таким образом, возникает главный вопрос, от решения которого зависит судьба всей работы: как связать поэтическое творчество Ахматовой с историей, с историей культуры, с искусством, связать не по одной частной линии и без противоестественных натяжек, а естественно. И связующим звеном должен стать Пушкин.

* *
*

Сразу же после введения пушкинской темы следует очень энергично говорить о пушкинской борьбе с государством, о поэте и обществе, об одиночестве поэта, об отсутствии отзвука, о поэте и черни, о государстве, покупающем или убивающем поэтов. Обо всем этом надо говорить как о пушкинских темах. Об Ахматовой ни слова, и ни слова о Пушкине в творчестве Ахматовой. Это просто должно повиснуть в воздухе. Но все, что сказано о

пушкинской борьбе, должно как-то перекликнуться с судьбами всей русской классической литературы.

* *
 *

О свободном и чистом дыхании поэта, о человеческой независимости, о выносливости, холодном презрении и понимании преходящности и пустоты идеалов черни. О выветривании души из идеалов, с которых начиналась эпоха. О перерождении. Поэты и революции. Тяжек жребий русского поэта.

* *
 *

Большое искусство независимо от мелких задач времени, оно подчинено великим задачам. Художник, знающий свою великую задачу, может выдержать любое давление времени.

* *
 *

Итак, конфликт поэта с обществом. Этот конфликт вечен, он приобретает лишь всякий раз характерные для времени формы и остроту, то большую, то меньшую. Но конфликт художника с обществом остается всегда и он неминуем, потому что художник, наиболее смелый, наиболее наблюдательный, наиболее внимательный, ничего не пропускающий, не прощающий член общества, говорит об этом обществе то, что он о нем думает. Когда людям, которые хуже тебя, говорят то, что о них думают, то это естественно вызывает конфликт между говорящим и слушающим. Всего этого было бы достаточно для того, чтобы объяснить конфликт человека и общества, если человек этот – политический деятель, оратор, публицист.

Хотя и здесь выражение, проявление этого человека специфичны, и тоже следует искать характерных особенностей этого проявления политической деятельности, ораторского выступления, публицистики. И у незначительного человека это проявляется в характерном, отличающем его от других, стилистическом проявлении. Но по сравнению с художником эта стилистическая особенность нехудожника имеет второстепенное значение. Художник же вне особенностей своего искусства, искусства, характерного для него, стилистически индивидуального, не мыслим. Как же проявляется этот конфликт у художника? На этот вопрос ответить нельзя. На этот вопрос можно ответить только в системе историко-литературных категорий. Вне истории искусства такой ответ слишком общ, а стало быть, слишком неполон, он пуст и неконкретен. На это, как и на подавляющее большинство вопросов общеэстетического порядка, можно ответить только при введении одного обязательного условия. Это обязательное условие – историко-художественный процесс. Мы не можем ответить с достаточной серьезностью на этот вопрос для художника вообще. Мы можем на этот вопрос ответить для художника определенной эпохи, определенной социальной принадлежности, определенного эстетического мировоззрения. Вопрос не может быть удовлетворительно решен для художника вообще. Но он может быть более или менее удовлетворительно решен для художника эпохи Возрождения, для художника классицизма, для разных тенденций в классицизме и разных его представителей, отдельно для Корнеля, отдельно для Мольера, отдельно для Вольтера и отдельно для каждого периода в творчестве этих художников. Что не мешает, конечно, обобщить и идти от одного периода к другому, соединять периоды, воссоздавать концепцию художника, выражение им определенных тенденций в ограниченном пространстве категории стиля, всей стилевой концепции целой эпохи, общей теории стиля. Как же проявляется конфликт художника с обществом в искусстве Анны Ахматовой? Он проявляется во всем. Но, очевидно, существует определенная иерархия ценностей этого проявления. Можно полагать, что наиболее харак-

терным проявлением, наиболее явственно рисующим и позицию Ахматовой, и степень характерности ее проявления этого конфликта, будет – однотемность. Я начинаю разговор об эстетической проявленности конфликта поэта с обществом, не о теме, а именно об однотемности, т. е. о не очень часто повторяющейся особенности. Я не преследую какую-либо методологическую задачу. Возможно, что разговор о конфликте с обществом Блока был бы начат совсем с иных положений. В каждой художественной судьбе и в каждом произведении искусства есть особые, наиболее ярко проявленные характерности. Эти характерности доминируют над всем остальным. Для того, чтобы понять этого художника или это художественное произведение, нужно в первую очередь понять его главное направление, его тенденцию, его доминанту. Доминанта поэтического творчества Анны Ахматовой, его наиболее яркая проявленность, его наиболее выраженная характерность – в однотемности ее творчества. Это подмечено еще с поры «Вечера», и при всей соблазнительности опровергнуть мнение, повторяемое на протяжении 50 лет, серьезных оснований опровержения нет. Что же такое однотемность Ахматовой? Однотемность Ахматовой возникла в результате того, что человек, обладающий положительными сравнительно со своей средой качествами, ищет отклика (тема «Эхо») в кругу людей, в котором он существует, и этого отклика он не находит. Поэт уходит в себя. Ахматова уходит в любовную тему. Любовь кончается трагически. Любовь героини Ахматовой – это обязательно разрыв и обязательно одиночество. Однотемность Ахматовой окрашена одной выразительной краской, в значительной степени отличающей ее однотемность от возможных подобию у других художников: Ахматова не просто уходит в одну тему и эта тема не просто одна любовная тема, но это тема одиночества, тема несчастной, неразделенной любви. (Привести примеры из ее стихов этой несчастной любви). Чем вызывается этот индивидуализм? Уход в эту тему для нас более или менее очевиден. Для этого существуют определенные исторические предпосылки. Эти предпосылки действуют на предрасположенного чело-

века, и в результате возникает такое эстетическое явление. Не история вообще вызывает определенные эстетические ответы. Но история выбирает людей, на которых она может воздействовать и получить то, что ей нужно. Если ей встречаются люди, которые не могут или не хотят удовлетворить ее требования, то она поступает с ними в зависимости и от своих возможностей, и в зависимости от возможностей этих людей. Если она достаточно сильна, а человек достаточно слаб, то она, конечно, его уничтожает. Если человек оказывается сильнее ее в известных обстоятельствах, то он может и выжить. История всегда старается получить и в большинстве случаев получает то, что ей нужно. Она уничтожает тех, кто ей сопротивляется, или заставляет их делать то, что нужно ей, и то, чего они не хотят, или она переводит на вторые пути, заталкивает в угол даже то, что было ярко проявлено в пору, когда действовала иная история. По избирательному сродству история выбирает то, что ей необходимо, и по избирательному сродству человек выбирает то, что нужно ему. Не всегда история одинаково сильна и не всегда человек достаточно слаб. А так как история – это люди и их взаимоотношения, то в конце концов абстрактное понятие истории трансформируется в очень конкретное понятие взаимоотношений людей, борьбы людей, борьбы одних людей против других. Это, собственно, и есть история. Одни люди (они могут быть или прогрессивными и хорошими или не прогрессивными и нехорошими) осуществляют поступательные движения истории. Поступательное движение истории – это нечто органически вызванное всем предшествующим историческим процессом. Поступательное движение истории – это развитие истории. Силы противоположные (они могут быть носителями и высоких нравственных, эстетических и др. идеалов) осуществляют не развитие, а возвращение истории. Конечно, Рим по сравнению с германцами был явлением более высоким. Но люди, защищавшие идею Рима, не осуществляли развитие заложенных органическим процессом в истории тенденций, они возвращали ее к пройденному этапу. Историческая борьба, борьба одних людей против других отражается в искус-

стве, и одни люди, которые осуществляют поступательное движение истории, отбирают то, что им нужно. Время всегда получает от искусства то, что ему нужно. Что же выбирает время в искусстве? Что нужно одному времени и что не нужно другому? Почему одно время вызывает в искусстве спиритуализм и символизм Данте, а другое время ищет свое выражение в личной, интимной проявленности Петрарки. Почему русское искусство до 1910 года на протяжении пятнадцати лет отвечало на вопросы времени лирикой, живописью и в известной мере музыкой символистов, а после 10 года произошло то, что впоследствии Блоком было определено как кризис символизма. И действительно, этот год был отмечен как рубеж не только фразой, не только теоретической констатацией, но и появлением новых журналов, новых поэтов, нового искусства. Как история вызывает к жизни те или иные явления и почему в истории происходит что-то такое, что эти явления вызывает? Это снова проблема избирательного сродства. Меняется история и меняется ее эстетическое выражение. Искусство все время идет параллельно истории; вдоль широкой изрытой исторической дороги идет путь истории искусства, повторяющий повороты, изгибы дороги истории. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему возник акмеизм, нужно ответить на вопрос, что произошло в русской истории. Какие же явления возникают в это время в истории? [Наиболее характерно – это явная противопоставленность новых поэтов предшествующей школе, символизму. Возможно, здесь следует сказать, что такое символизм с точки зрения мелодического стиха и вообще именно и только с точки зрения стиха, а вовсе не с точки зрения философских и эстетических концепций. Разумеется, связав с общей установкой символизма этот стих, сказать, что такое внушаемость символического стиха и основной способ, каким эта внушаемость осуществляется, т. е. опять же проблема внушаемости фонетического (мелодического) стиха. Показать это на характерном примере из поэзии символистов. Затем следует сказать, что акмеизм возник на противопоставлении себя символизму, но в то же время вывести это противопоставление только из ли-

тературного ряда, показав, что для этого (или упомянув, что для этого) были достаточно серьезные исторические предпосылки. Это очень важно, но это или нужно решать в специальной работе, или же, если не в специальной, то очень серьезно отнестись к возможности появления категорических и скорых вульгарно-социологических суждений. Что же такое стих, противопоставленный символизму. Это можно показать, сравнив два стихотворения — символистское и акмеистское. Но что же происходит в стихе, как это проявляет себя в стихе, какой поэтический эквивалент истории получает общество, как оно выражает себя, события, происходящие в искусстве, и только ли это проявление идет в материале, в теме, в смысле, в людях. Нет. Как искусство идет параллельно дороге истории, так и формы искусства идут параллельно его темам. Поэтому исторически обусловлены всякие изменения эстетического проявления эпохи. Поэтому ритмика античного стиха отлична от ритмики стиха XIX века. Задачи истории разрешаются искусством всякий раз в новых, специфичных и наиболее приспособленных формах. История ищет своего эстетического эквивалента не только в теме, но и в наиболее выразительной проявленности темы.]

* *
*

Случай Ахматовой сам по себе, может быть, и не показался бы исключительным, если бы он не происходил в такое время, которое особенно нетерпимо к таким случаям. Это могло бы вызвать некоторое удивление или писаревскую статью в XIX веке, это было весьма распространено в XX веке. Но наше время со всей решительностью противостоит художнику, даже и говорящему о времени, а если художник говорит о времени, то далекой метафорой. То, что делает Ахматова, кажется внесоциально. Внесоциален и материал ее лирики, внесоциальна и ее судьба, судьба поэта. Для этой жизни характерно, что она принимает на себя удары судьбы, без каких-нибудь попыток судьбе противостоять. В то же

время все эти соображения утрачивают большую часть истинности при более внимательном и тщательном рассмотрении. Можно ли назвать тему общечеловеческой? Разумеется, можно. Но можно ли сказать, что общечеловеческая тема может быть внесоциальной? Разумеется, нет. Общечеловеческая тема не может быть внесоциальной, хотя бы потому, что она касается вещей, важных для слишком большого количества людей. Не может быть темы, не может быть проблемы, важных для большого количества людей и лежащих где-то вне главного потока мировой истории и человеческой жизни. Нельзя сказать, что человеческие чувства, даже те, которые входят в круг «личной жизни», чтобы человеческая любовь, играющая такую важную роль в мировой истории, чтобы она была внесоциальна, чтобы она была только биологична, чтобы она была социальной только в том случае, если она связана с каким-нибудь вне ее лежащими обстоятельствами, которые она только определяет. Поэтому нельзя сказать, что любовь человека, вдохновившая на подвиг, социальна, а любовь, не вдохновившая на подвиг, внесоциальна. Очевидно, речь идет не о социальности или внесоциальности, а речь идет о таких формах социальности, которые устраивают время, и таких, которые его не устраивают. С сожалением приходится отметить, что разговор о социальности творчества Ахматовой велся только с точки зрения неприемлемости этого творчества. Этот разговор был коротким, сухим и не плодотворным. Он начался, да и закончился, в 1946 году. Аспект его был выбран суровый и неудачный. Он сводился к нехитрой мудрости: «Тот, кто сегодня поет не с нами, тот – против нас». И только. В то время как о внесоциальности ахматовской поэзии говорить следует. Более того. О ней следует говорить именно в связи с конфликтом, который существует у Ахматовой с обществом, в котором она живет и пишет. И еще более. Этот конфликт нельзя сводить к недоразумению, к непониманию и к недоумению. Этот конфликт существует, необходимость его следует признать. И вопрос будет заключаться лишь в том, чтобы стать на чью-то сторону. Однако так поставленный вопрос уже заранее обречен на неудачу. Мы

слишком привыкли к тому, что в такого рода конфликтах поэт прав быть не может. Но может быть, следует сказать по-иному, по-другому. Может быть, следует прибегнуть к простой, не всегда правой, но на этот раз, возможно, приемлемой мудрости: каждый прав по-своему. Можно ли сказать, что не права Ахматова? Очевидно, нет. По крайней мере, если это говорить категорическим тоном. Если ее стихи вызывают доброжелательное, внимательное сочувствие людей, видящих в этих стихах важные для них переживания, т. е. как раз то, что всегда возникает между людьми и искусством, которое не приходится специально оговаривать, то можно ли говорить, что художник, ответивший людям, не прав? Очевидно, нет. Но можно ли сказать, что неправо общество, которое отрицает уход поэта от его, века, общества, тем, надобностей и задач? Очевидно, тоже нет. Можно ли сказать, что человек, который мог ответить на что-то нужное и важное своим современникам, ушел от общества? Можно. Мы не в состоянии признать Эсхила поэтом нашего времени, только потому, что он сказал что-то такое, что важно и для нашего века. Когда мы говорим, что Пушкин наш современник, то нельзя забывать, что это главным образом метафора и юбилейный тост (наше восхищение). Но мы можем сказать, что Эсхил, современнейший для своего века художник, стал певцом общечеловеческих тем. В каждую эпоху есть художники, которые или отрицают свое время, или лояльны к нему, и таким образом, с эпохой как бы не связаны. Но, во-первых, они абсолютно обязательно рождены особенностями и противоречиями эпохи. И, во-вторых, они осуществляют функцию, важную и для этой эпохи, и для последующих эпох, и могли бы осуществлять ту же функцию и для предшествующих эпох. Их тематический выбор связан с тем, что они не прикреплены к характерным особенностям, характерным проявлениям, к материалу своего времени, что они обнаруживают в своем времени не две формы соединения себя с ним, т. е. то, что свойственно времени, и то, что свойственно людям всегда, а лишь одну форму, последнюю: то, что свойственно людям всегда. Ахматова принадлежит именно к этому типу художника, и ее связь со

временем осуществляется лишь в том, что она была этим временем, его особенностями, его противоречиями порождена, этим и предшествующим временем, или точнее: стыком этого и предшествующего времени. Все же остальное относится ко времени лишь как общее к частному.

С кем это происходит и с кем не происходит? Почему одни люди быстро попадают под влияние окружающей среды, а другие не вступают с этой средой в реакцию? Неужели дело только в личной стойкости? Наконец, что порождает эту стойкость? Убеждения? Но откуда они являются, эти убеждения, и почему у Городецкого были одни убеждения, а у Ахматовой другие? Но главное – это что дает возможность сохранить человеку его стойкость, его отграниченность от среды. Что же может противопоставить один человек среде, обществу, государственным институтам, господствующему мнению, издательствам, осуждению близких, изоляции?

Итак, Ахматова нейтральна. Это значит, что ко всему происходящему она безразлична. Ко всему ли? Не ко всему. Например, она не была безразлична к войне. В какой же мере идеал Ахматовой, безразличной к идеалам общества, в котором она живет, может быть интересен этому обществу, и, что, собственно, этому обществу может быть интересно в этом идеале? Независимо от своих социальных связей с действительностью, Ахматова – человек. Общество, с которым Ахматову ничто не связывает, тоже состоит из людей. У людей есть какие-то общие интересы, по крайней мере, у тех, которые не враждебны, а лишь равнодушны друг к другу. Какие же общие интересы у Ахматовой и у общества, с которым она соприкасается? Очевидно, те, которые свойственны всем людям, общечеловеческие. Эти интересы могут далеко не в полную меру совпадать, но та часть, которой они соприкасаются, важна для обеих сторон. В первую очередь это область чувств. Любовь, горе, страдания, радость, смерть, утраты, счастье. Кроме этого, существует область близких культурных интересов. А со второй половины 30-х годов и некоторые совпадения в области исторических симпатий и отношения к родине.

Нейтральность Ахматовой – явление очень редкое, но все-таки встречающееся в истории. Оно редко бывает в литературе, чаще в музыке, в живописи. Эта нейтральность ощущается как нечто резко отличное в эпохи, требующие отчетливой идеологической поляризации идеологий. Только на этом фоне она и ощущается. Если это требование ослаблено, то нейтральность не ощущается как остро отличное явление. Что же такое эта нейтральность? Нейтральность художника это ощущение (и выражение) себя как явления, по возможности независимого от среды, в которой этот художник существует. Это выражение, конечно, социально, хотя бы в том смысле, что художник (и чем он значительнее, тем больше) выражает не только себя, а какую-то группу людей. Нейтральный художник старается быть независимым от среды, в которой он существует, но так как среду такая позиция не устраивает, то она резко ограничивает сферу высказываний художника о себе. У художника остается возможность высказываться лишь в кругу личных переживаний. В зависимости от того, насколько эти переживания значительны и представляют общественный интерес, общество или разделяет их, интересуется ими, или не разделяет, не интересуется. Художник такого плана выражает только себя, т. е. узкий круг личных переживаний. Поэтому естественно, что Ахматова не изменяется за 50 лет своего творческого пути. И ее стихи до первой мировой войны похожи на стихи после второй мировой войны. И обе войны написаны одинаково.

Искусство Ахматовой внесоциально, как внесоциальны некоторые человеческие чувства: любовь, ненависть, чувство долга, привязанность, чувство материнства. Нельзя сказать, что они совершенно внесоциальны, потому что в одни эпохи чувство долга бывает более развито, в другие менее, но при всем этом чувство долга биологически присуще человеку и может или стимулироваться, или не стимулироваться историей. Вообще история в отношении человеческих чувств выступает в качестве катализатора: она сама в реакции не участвует, но усиливает реакцию, убыстряет ее, делает ее более интенсивной. Это же относится и к любви, к материнству. И то, и

другое присуще людям почти независимо от их социальной принадлежности и от требований времени. Социальна ли любовь? Конечно, социальна, особенно, когда она связана с долгом. Человек может или не может преодолеть любовь, если он знает, что делает что-то, нарушающее запрет. Но он может нарушить этот запрет, может не подумать о нем. Тогда получается что-то похожее на любовь Ромео и Джульетты. Любовь оказалась вне норм, вне отношений, сложившихся в течение многих лет. Любовь Ромео и Джульетты пренебрегла связями с окружающими и отношением окружающих к этой любви. Поэзия Анны Ахматовой существует как любовь, как пренебрежение требованиями, предъявляемыми окружающей действительностью. Эта поэзия-Джульетта живет лишь собой и не интересуется враждой Монтекки и Капулетти. Окружающая действительность может лишь убить ее.



Театр Сергея Довлатова

Третья волна эмиграции выдвинула в современную русскую литературу многих, кого в Советском Союзе не печатали. Не печатали за непохожесть, за внутреннюю чуждость, за то, что всегда можно было подвести под какие-нибудь казенные определения: формализм, трюкачество, элитарность и т.п.

Только на Западе появился писатель Сергей Довлатов.

Писатели-эмигранты печатаются без политической цензуры, они предлагают свой товар на вольном рынке, где все зыбко и туманно, где вместо официальных оценочных трафаретов как будто должно звучать только свободное и нелицеприятное мнение критика.

Сергей Довлатов не может пожаловаться на невнимание к себе или недоброжелательность критики. И все же, кажется, что по отношению к нему еще не найден истинный масштаб оценки. П. Вайль и А. Генис в своей очень интересной и яркой книге о современной русской прозе уделили Сергею Довлатову две страницы. Чем они определяли критический метраж? Скорей всего тут сказался бессознательный пиетет к большим вещам, к монументальным жанрам. А у Довлатова трудно даже определить, в каком прозаическом жанре он работает; к тому же он, как с некоторым недоумением пишут критики, – «как червонец. Всем нравится». Хорошо это или плохо? Во всяком случае, сомнительно. Тем более, что и пишет он как-то очень не мудрствуя.

Присмотревшись, мы замечаем, что книги Довлатова располагаются по действительным этапам его жизни.

Первая книга – «Зона» – написана в 1966, напечатана (в Америке, разумеется) в 1982. Эта книга – как бы «Воспоминания молодого бойца о его срочной службе». Служба – в военизированной охране лагерей, ВОХРе. Следующая (и первая, появившаяся в 1977 г. на Западе) – «Невидимая книга» – опыт литературной автобиографии непечатавшегося писателя, у которого написаны сотни рассказов. В середине 1960-х годов писателям казалось, что оттепель продолжается – ведь печатают, кроме авторов «Юности», и «нового» Трифонова, и Искандера, напечатали Солженицына! Но оттепель, по мановению сверху, закончилась – прошел процесс Бродского, процесс Синявского и Даниэля; приказано было повышать бдительность. Много тут было загублено свежих литературных побегов. Такая же судьба грозила и Довлатову. Надо было принимать трудное решение. Тем временем (в 1978 г.) еще одна его книга вышла на Западе – «Соло на Ундервуде». В чем-то – продолжение «Невидимой книги», все еще «догутенберговская» эпоха его жизни, жизни в ленинградской неофициальной, внутренне свободной литературе 60-х годов.

В 1979 году Довлатов эмигрировал. Первая книга, которую он выпустил сам, – «Компромисс» (1981 г.) – работа в большой республиканской газете. Затем «Заповедник» (1982 г.) – служба в Пушкинских местах, «Марш одиноких» (1983 г.) – тоже работа в газете, но уже в Америке, в своей собственной газете и в условиях как будто полной свободы.

И наконец, «Наши» (1983 г.), где Довлатов возвращается к своей долитературной жизни, где, вместе с его детством и юностью, появляются его деды, родители, жена, дети, верный друг семьи – собака Глаша, чьи судьбы показаны и на родине, и в Америке. Автору захотелось оглянуться на прошлое, чтобы понять самого себя и чем он обязан предкам, «нашим», как их назвал Довлатов. Начинает он со своего прадеда, дальневосточного еврея-крестьянина, а завершает семейную хронику двенадцатой главой – о дочери Кате. И каждая глава книги – это человеческая судьба в самом сжатом ее изложении. Там, где другой автор завалил бы нас подробностями,

Довлатов выбирает только то, в чем выражается характер персонажа. И характер важен не сам по себе, а тем, как он определяет судьбу человека.

Сами персонажи несут в себе черты эпических героев. Таков, например, дед: «На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту дед был около семи футов. Он мог положить в рот целое яблоко. Усы его достигали погон.

Государь приблизился к деду. Затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь.

Деда сразу же перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею.

Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие».

И, как полагается по былинному жанру, у деда было три сына. Двое потянулись к искусству: один стал поэтом-футуристом, другой (отец Сергея Довлатова) – стал художником-малоформистом. Третий брат, которому по сказочному сюжету полагалось быть недотепой-счастливецем, в каком-то смысле именно так и построил свою судьбу: добился своего счастья – разбогател. Он «рос аферистом. В восемнадцать лет он бежал из дома. В трюме океанского парохода достиг Китая (...) Из Китая он направился в Европу. Обосновался почему-то в Бельгии». За один лишь переданный с оказией привет от сына дед был расстрелян как бельгийский шпион. Сын же (Леопольд) создал в Брюсселе процветающее дело, и только в пору оттепели с ним отважились связаться его советские родственники. Однако понять друг друга им было мудрено. Леопольд «свою бедность изображал так: „Мои дома нуждаются в ремонте. Автомобильный парк не обновлялся четыре года...“»

Отец Довлатова так отвечал на эти письма:

...«Я литератор и режиссер. Живу в небольшой уютной квартире. (Он имел в виду свою перегороженную фанерой комнатушку). Моя жена уехала на машине в Прибалтику. (Действительно, жена моего отца ездила на профсоюзном автобусе в Ригу за колготками)».

Леопольд сообщал, что инфляция его почти разорила, на что советский брат отвечал ему – с полным, конечно, основанием: «...Что такое инфляция, я даже не знаю...»

Характеры «наших» определяют у Довлатова их судьбы, – конечно, если не вмешиваются те посторонние силы, которые по-своему распорядились судьбой деда. «Характер» по Довлатову – это нечто очень трудно определяемое, скорей всего это можно назвать нравственным зерном, из которого он растет и которое определяет и поведение человека, и выбор профессии или того, что называют местом в жизни. Довлатовские родственники иногда находили для себя такое место в жизни, где они могли, не прокламируя этого, жить не по лжи. Так сложилась жизнь матери. Она закончила театральный институт и проработала несколько лет в театре. Потом – «мама бросила театр. И правильно. Я наблюдал многих ее знакомых, которые до смерти принадлежали театру. Это был мир уязвленных самолюбий, растоптанных амбиций, бесконечных поношений чужой игры. Это были нищие, мнительные и завистливые люди...» Произошло нечто удивительное! – Мать переменила профессию. Из актрисы с не очень большими данными она превратилась в первоклассного артиста – мастера своего дела: «Мама стала корректором. И даже прекрасным корректором. Очевидно, был у нее талант к этому делу. Ведь грамматики она не знала совершенно. Зато обладала корректорским чутьем. Такое иногда случается.

Я думаю, она была прирожденным корректором. У нее, если можно так выразиться, было этическое чувство правописания. Она, например, говорила про кого-то:

– Знаешь, он из тех, кто пишет «вообще» через дефис...

Что означало крайнюю меру нравственного падения».

«Этическое чувство правописания» – как прекрасно это сказано и как хорошо, когда оно есть. А если его нет? Тогда литературный редактор, заметьте – редактор, а не корректор, ведет себя так, как другая героиня «наших», тетка автора:

«Она говорила:

– Здесь написано: «...родство тишины и мороза...» Это неточно. Мороз и тишина – явления различного порядка. Следует писать: «В лесу было морозно и тихо». Без выкрутасов.

– Как это – в лесу? – удивлялся я. – Действие происходит в штрафном изоляторе».

И вот такому ценителю «доверили литературное объединение...

Среди других в объединение пришел Иосиф Бродский. Тетка не приняла его. О стихах высказалась так:

– Бред сумасшедшего!

Бродского не приняли. Зато приняли многих других. В Ленинграде очень много поэтов. Есть три Некрасова – Владимир, Георгий и Борис...»

Эти три Некрасова действительно существуют, много печатаются и других редактируют. И это было бы смешно – в одном городе три поэта Некрасовых, если бы они не занимали ответственных постов в издательствах и журналах и не душили других – способных и талантливых.

У каждого писателя – свои университеты. Дома, у родителей, Сергей Довлатов получил необходимую профилактическую прививку здравого смысла и разумного отношения к советской системе:

«В общем, то, что Сталин – убийца, моим родителям было хорошо известно. И друзьям моих родителей – тоже. В доме только об этом и говорили. В шесть лет я знал, что Сталин убил моего деда. А уж к моменту окончания школы знал решительно всё. Я знал, что в газетах пишут неправду. Что за границей простые люди живут богаче и веселее. Что коммунистом быть стыдно, но выгодно».

Окончательное прозрение, как считает Довлатов, произошло за три года службы в лагерной охране. Действительно, он увидел совершенно особый мир, который можно было бы счесть изнанкой «настоящей», «свободной» жизни, но увидел и самое главное: «...здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости – оставалось неизменным». Он попал в Зазеркалье, и судьба сделала ему как литерато-

ру бесценный подарок, отправив не в лагерный барак, а в солдатскую казарму. Он видел лагерь и лагерную жизнь, не будучи сам лагерником. Он видел и познавал лагерь одновременно и снаружи, и изнутри, что еще никому из литераторов не удавалось. Отсюда его афористическое утверждение: «По обе стороны запретки единый мир», – а следовательно одни и те же люди. Более того, в клубке мерзости, каким явилась ему зона, он сталкивается с античным героизмом – когда рецидивист Купцов, чтобы навсегда избавиться от проклятия работать на своих тюремщиков, отрубает себе пальцы на руке, что уже сродни подвигу Муция Сцевола... Тот самый Купцов, который в ответ на слова рассказчика: «Ты один против всех. А значит не прав», – говорит «медленно, внятно и строго»: «Один всегда прав...» Ведь это и есть «безумство храбрых», о котором нам натвердили в детстве.

В одном из писем своему издателю, чередующихся с собственно текстом «Зоны», Довлатов заявляет, что он приглашает своих читателей не в кунсткамеру и не хочет переписывать Шаламова. Не хочет и не может. У него другое отношение к жизни и людям (и конечно, другой жизненный опыт). Шаламов увидел трагическую эпоху ГУЛага, когда советские лагеря были лагерями уничтожения, когда – по слышанному мною рассказу старого вора-лагерника – на 5-ом водоразделе Беломорканала на пятьсот человек не было ни одной миски, ни ложки, и баланду разливали хоть в шапку, хоть в горсти...

Довлатов вошел в лагерную систему в сравнительно благополучное время, когда в стабилизировавшемся послесталинском обществе отличия между лагерем и свободой стерлись, когда сильнейшим средством нравственной самозащиты от бескислородного воздуха стал смех. Тот смех, который, по словам Гоголя, «весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне её заключен вечно-бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без пронизывающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека».

«Мелочь» и «пустота», а не бездны и ужасы жизни – в том числе лагерной, – вот о чем пишет Довлатов и над

чем он смеется. Пройдя свою школу коммунизма (ВОХРу), Довлатов начал писать и вошел в литературную жизнь оттаявшего, как и вся страна, Ленинграда. О той неофициальной, но кипучей и напряженной, литературной жизни, которая иногда подземными толчками сотрясала кору официального распорядка, мы тогда в Ленинграде узнавали по скандалам, на которые бешено реагировало партийное начальство, а весь цивилизованный мир узнал после «дела» Иосифа Бродского.

Теперь многое из того, что тогда существовало в основном изустно, опубликовано.

В многотомной «Голубой лагуне», составленной К. Кузьминским, можно найти многих, кто так и не пробился на поверхность и не решился на риск зарубежной публикации.

Что дало это общество талантов, непризнанных и признанных, Сергею Довлатову? Он сам в своем писательстве больше всего ценит то, что называет «языком» и что вернее было бы назвать «стилем». Он не только больше всего гордится своим языком, но и обижается на критику – почему она не пишет, а следовательно, и не замечает его языка?

Чтобы помочь критике понять происхождение и природу своего языка, Довлатов называет в одном из своих интервью ту языковую школу, которой он очень многим обязан: «Западные, и в том числе – американские, романы выходили в России в очень хороших, блистательных переводах, и вообще советская переводческая школа – одно из самых замечательных явлений современной мировой культуры. Дело в том, что лучшие советские прозаики и поэты, не имея зачастую возможности публиковать свои оригинальные произведения, становились переводчиками, чтобы как-то заработать на хлеб. Качество переводов, таким образом, заметно возросло за счет качества литературы в целом. Все это можно сказать и о переводчиках западной, американской прозы. Имена Риты Райт, Кашкина, Хинкиса, Маркиша, Волжиной, Калашниковой, Сороки, Гольшева, Паперно произносятся в советских неофициальных кругах с таким же уважением, как имена писателей-диссидентов.

Я вырос под влиянием американской прозы (в русских переводах. – И. С.), вольно и невольно подражал американским писателям, и в Союзе редакторы ставили мне это в вину, говорили о «тлетворном влиянии Запада», а здесь мне это, видимо, пошло на пользу, сделав мои книги (по мнению издателей) более доступными для американской аудитории».

Довлатов верно называет языковой образец для значительной части советской прозы 1960-х годов. Не впервые в советской литературе переводчики, которые могли защитить свою стилистику именем переводимого западного писателя, шли впереди средней прозы, вынужденной тщательно избегать каких-либо языковых вольностей. Особенно осложнилось положение в середине 30-х годов, когда М. Горький начал кампанию за «чистоту» языка. И вдруг появились рассказы Хемингуэя, блистательно переведенные И. Кашкиным, где герои не произносили никаких деклараций, а позволяли себе как будто ничего не значащие слова и междометия. Но как много смысла подозревали мы за их словами, простыми, как мычание! Эта проза, где мысли выведены в подтекст, расковывала и освобождала.

То же произошло с поколением Довлатова, только оно получило образцы переводной прозы в большем количестве и разнообразии и в другую эпоху – в оттепель, когда вдруг стало доступно многое, что от нескольких поколений тщательно скрывалось.

«Язык легок, шутки остроумны», – снисходительно пишут о Довлатове Вайль и Генис. И в самом деле, язык у Довлатова «легок»: его персонажи не вещают, не прорицают, не уснащают свою речь раритетами из словарей Срезневского и Даля. Если они задумываются и решают, по их мнению, «философские вопросы», то и свои умозаключения они высказывают в доступной любому читателю форме. Так, опер Борташевич в «Зоне» ищет ответа на «философский» вопрос – «отчего люди пьют»? И сам же на него отвечает: «Допустим, раньше говорили – пережиток капитализма в сознании людей... Тень прошлого... А главное – влияние Запада. Хотя поддаем мы исключительно на Востоке». Казенные формулы, плавающие в

сознании персонажа, при их проверке реальностью превращаются в неожиданный каламбур. Свободное, непридуманное остроумие, возникающее совершенно естественно из ситуации. Один из вохровцев жалуется на врача, который не дал ему освобождения. По словам мнимого больного, врач «совсем одичал (...) абсолютно... Прихожу как-то раз. Глотать, мол, больно. А он и отвечает: „Вы бы поменьше глотали, ефрейтор...“ Намекает, козел, что я пью».

Не всегда персонажи Довлатова каламбурят невольно, подчиняясь ситуации. Когда к отсиживающему свой срок за спекуляцию летчику спускается на вертолете его друг, тоже летчик, и хочет дать ему денег, то конвоир запрещает: «Деньги иметь не положено». На это следует реплика залетного гостя: «Ясно (...) значит, вы уже построили коммунизм».

Запрещение иметь деньги в лагере сопоставляется с ходячими (и официальными) представлениями о светлом будущем человечества без денег. Официальная утопия вдруг приобретает неожиданный смысл, превращается в отражение лагерной системы.

Создатели «Золотого теленка» еще допускали, что, может быть, действительно без денег что-то получится хорошее и удобное для жизни. Для Довлатова и его персонажей разговоры подобного содержания – только повод для острот, не больше.

По тому, что опубликовал Довлатов из своей записной книжки («Соло на ундервуде»), можно понять, что настоящей его школой была ленинградская, тогда молодая еще литература.

«Соло на ундервуде» – это отголосок того, о чем говорили литературные друзья Довлатова и как они говорили. Вот одна из записей:

«У Иосифа Бродского есть такие строчки:

„Ни страны, ни погоста не хочу выбирать,
На Васильевский остров я приду умирать...“

Так вот, Баюканов спросил у Грубина:

– Не знаешь, где живет Иосиф Бродский?

Грубин ответил:

– Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский остров...»

Смысл стиха в этом ответе перенесен на бытовую почву, метафорическое «приду умирать» перевоплощается в сугубо реальное – и смешное: «умирать ходит».

Иногда таким переосмыслением привычных, застывших уже словосочетаний занимается сам Довлатов. Он записывает: «Роман Симонова „Мертвыми не рождаются“». Неожиданная и смешная по абсурдности своей формула создана из двух названий симоновских вещей: «Солдатами не рождаются» и «Живые и мертвые». Можно было бы объяснить это столкновением мнимой афористичности одного названия с претенциозной многозначительностью другого. Но стоит ли? Все равно останется нечто необъяснимое, всегда присущее подлинному юмористическому дарованию.

Еще пример превращения непреднамеренного, случайного обмена реплик в шутку, которая обнажает всю социальную структуру «развитого социализма»:

«Это случилось в Таллине. Мне понадобилась застезжка-молния.

Захожу в лавку.

– Молнии есть?

– Нет.

– А где ближайший магазин, в котором они продаются?

Продавец ответил:

– В Хельсинки...»

Довлатов не принял ни одного из вариантов словесного маскарада, которым увлекаются некоторые современные писатели. Он не захотел «живописать» в «орнаментальных традициях юго-западной школы» и отказался строить литературу из лагерной ругани. И не молчаливо отказался, а декларировал это в рассуждении о лагерном языке: «Как это ни удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной лагерной скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену (...) Брезгливое: „Твое место у параша“ –

стоит десятка отборных ругательств. Гневное: „Что ж ты, сука, дешевишь?!“ – убивает наповал».

Не уверен, что Довлатов здесь прав. Мой собственный опыт этого не подтверждает. Интереснее другое – что писатель отводит мату последнее место в своей стилистике, он не хочет оглушать читателя потоком того, что называют «ненормативной лексикой».

Для Довлатова язык, как и для его героев, часто оказывается «целью, а не средством». Но цель у него другая, он хочет увидеть и понять человека, и только для этого ему нужен язык, а не для жонглирования непристойностями. Я согласен с той оценкой литературного потенциала мата, которую дает Довлатов. Безусловно, мат для литературы – это оружие каменного века, его коэффициент полезного действия ничтожен. Это орнамент без узора, раскраска вне какой-либо колористической системы, балласт, который может потопить нагруженный им корабль.

«Соло на ундервуде» – это только небольшая часть той сокровищницы остроумия, которую создавали, не придавая ей особенного значения, тогда молодые, ленинградские литераторы. Пока только Довлатову удалось немного из этого вспомнить. И замечательно, что ему посчастливилось применить этот опыт свободного высказывания и игры ума в условиях настоящей свободы слова – в Америке: «Я всегда говорил то, что думал. Ведь единственной целью моей эмиграции была свобода. А тот, кто любит свободу, рано или поздно будет достоин её».

Снисходительные Вайль и Генис находят, что у Довлатова «фабулы (...) рассказов просты, композиция несущественна». Чувствуется, талантливые критики не хотят поверить своему непосредственному чувству и эстетическому вкусу... Ведь если оценить Довлатова по достоинству, то надо умерить восторги по поводу победы над реализмом, о которой с таким энтузиазмом они пишут.

Довлатов оказывается чем-то вроде камня преткновения для их общей концепции развития русской прозы.

Что же делать? Может быть, внимательно прочитать Довлатова? В одной из глав книги «Компромисс» (1981 г.)

рассказчик получает редакционное задание – заменить другого сотрудника газеты на похоронах директора телестудии Ильвеса. Это первая подмена сопровождается переживанием: у рассказчика нет черного костюма, и ему предлагают надеть пиджак того, кого он заменяет – Шаблинского. Пока идет подготовка к похоронам, рассказчика дважды принимают за Шаблинского и в конце концов вручают ему текст надгробной речи, подготовленной Шаблинским. Затем он едет к своей любовнице Марине, бывшей любовнице Шаблинского. Увидев на нем пиджак Шаблинского, Марина в этом переодевании видит «какое-то сексуальное надругательство. Какую-то оскорбительную взаимозаменяемость чувств...»

Однако подмена принимается: в любовном экстазе Марина называет нашего героя именем Шаблинского.

Весь следующий день, перед похоронами, его несколько раз принимают за Шаблинского, он как бы теряет самого себя, живет и действует за другого.

Наконец, еще одна, трагикомическая, подмена обнаруживается уже на кладбище: покойников перепутали, и поменять уже нет ни времени, ни возможности. Гроб опущен в могилу и начались речи, так как об этой подмене знают еще немногие. Рассказчик произносит речь над гробом неизвестного. В конце концов ситуация разъясняется: «Это бухгалтер рыболовецкого колхоза – Гаспля. Ильвеса под видом Гаспля хоронят сейчас на кладбище Меривяля. Там невероятный скандал. Только что звонили... Семья в истерике... Решено хоронить как есть...»

Троекратная подмена придает рассказу удивительную стройность композиции. А рассказчик, одновременно и жертва, и зритель подмены, на время утрачивает «чувство реальности». И вместе с ним читатель, который не знает, смеяться ему или пугаться того, что ритуальные формы поведения совершенно безразличны к изначальному своему смыслу, и таинство погребения совершается конвейерным порядком, никого не смущая.

Довлатов очень внимателен к композиции своих рассказов. Композиционная точность ему необходима,

чтобы справиться с материалом, который у него зачастую несет в себе абсурд.

Книга о компромиссах журналистской жизни показывает, что вся жизнь советского обывателя на любом уровне неизбежно сопровождается подменами, большими или малыми, сознательными или случайными. Иногда эти подмены совершаются не среди мелких сошек партаппарата, а на самом верху. В «Компромиссе восьмом» знатная эстонская доярка еще только собирается рапортовать Л. И. Брежневу о своих рекордных надоях, как уже от Брежнева пришел ответ на её неотправленный рапорт. Об этом читатели «Компромисса восьмого» узнают из телефонного разговора между первым секретарем райкома и журналистом Довлатовым:

«— Мы получили ответ, — сказал Лийтвак.

— От кого? — не понял я.

— От товарища Брежнева.

— То есть как? Ведь письмо еще не отправлено.

— Ну и что? Значит, референты Брежнева чуточку оперативнее вас... нас, — деликатно поправился Лийтвак.

— Что же пишет товарищ Брежнев?

— Поздравляет... Благодарит за достигнутые успехи... Желает личного счастья...

— Как быть? — спрашиваю. — Рапорт писать или нет?

— Обязательно. Это же документ. Надеюсь, канцелярия Брежнева оформит его задним числом».

В «Заповеднике» место действия — Пушкинские места (Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь, где похоронен Пушкин). Рядом с ухоженными и охраняемыми домами и угодьями Пушкиных, Осиповых, Ганнибалов — Псковская земля, обнищавшие, полуразрушенные деревни, беспробудно пьющие мужики: «Некрашенные серые дома выглядели убого. Колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах сутились цыплята. Нервной мультипликационной походкой выступали куры. Звонко тьякали мохнатые приземистые собаки».

Рассказчик поселяется в такой деревне у одного из жителей: «Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся

антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла – заклеены бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля.

В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с черными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли. Утюг, заменявший гирю, касался пола».

Основное занятие Михал Ивановича – пьянство. То есть, он где-то работает, что-то делает, но в его жизни работа – нечто второстепенное и неважное: «Пил он беспрерывно. До изумления, паралича и бреда. Причем бредил он исключительно матом. А матерился с тем же чувством, с каким пожилые интеллигентные люди вполголоса напевают. То есть, для себя, без расчета на одобрение или протест».

За все лето рассказчик видел своего квартирохозяина трезвым только дважды.

Конечно, есть и хозяйственные, солидные жители в деревне Сосново. Сосед, например, у которого Михал Иванович домогается денег на выпивку и получает отказ. Тогда Михал Иванович начинает ему угрожать:

«– Я тебе устрою веселую жизнь (...) Всё напомним. Напомним семнадцатый год! Мы тебя это... Мы тебя, холеру, раскулачим! Всех партийных раскулачим! В чека тебя отправим, как этого... Как батьку Махно... Там живо...»

Такое смешение стандартов политической фразеологии хорошо передает строй сознания, окончательно разрушенного алкоголем.

К деревенской теме в «Заповеднике» Довлатов обратился не только потому, что её подсказывали непосредственные наблюдения. Ему было интересно проверить самому так называемую деревенскую прозу.

По вечерам после работы рассказчик читает Лихоносова: «Конечно, хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. (Услышал бы Толстой подобный комплимент!) И тем не менее, в основе – безнадежное, унылое, назойливое чув-

ство. Худосочный и нудный мотив: „Где ты, Русь?! Куда всё подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники? Где хлебосољство, удаль и размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, чёрт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!“ Голову ломают: „Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!“ Кто, кто... Известно кто... И нечего тут голову ломать...»

Тоске по стилизованной Руси Довлатов противопоставляет унылые псковские пейзажи и несчастных жертв Зеленого змия. Проза Лихоносова оказывается тоже подменой реальности русской деревни 1970-х годов, – может быть, и с благими намерениями, но все же подменной.

Тема подмены в малом и в большом, в серьезном и глупом заполняет всю эту книгу. Пушкинские музейные экспозиции, уже стандартизированные выражения любви к великому поэту – всё это один из вариантов подмены истины, в данном случае истины поэтической, – ее суррогатом, подделкой, обездушенной и пресной.

После долгого разговора, в котором рассказчик хочет объяснить руководителю экскурсионного бюро свое понимание Пушкина, выясняется, что нужно было на вопрос: «За что вы любите Пушкина?» – ответить: «Пушкин – наша гордость! (...) это не только великий поэт, но и великий гражданин».

Так Пушкин становится похожим на всех «великих», превращается в казенную собственность, подлинный интерес к нему подменяется культом. «Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно любимым детищем. Всякое посягательство на эту личную святыню их раздражало». Становится понятным, что такой безудержный бездарный «культ» мог породить «Прогулки с Пушкиным», автор которых издевался, конечно, не над самим поэтом, а над успешно его заменяющим «великим гражданином». Понятен и оголтелый визг, который раздался в Совет-

ском Союзе и в эмиграции, когда посягнули на «нашу гордость».

На безобидный, и вполне уместный, вопрос будущего экскурсовода – «какие экспонаты музея подлинные» – ему отвечают: «Здесь все подлинное. Реки, холмы, деревья – сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест...» И это вместо того, чтобы сказать просто – ничего нет подлинного, кроме действительно прекрасных пейзажей, которые, вероятно, за два года ссыльной жизни должны были Пушкину изрядно надоесть...

Но смысл «поэтического» ответа, который получил Довлатов на свой вопрос, в другом. В том, что мы – служители культа, что пушкинские места – это святилище, храм, и какие бы то ни было сомнения в этом – кощунственны... Как и всякий культ, этот сопровождается экзальтированными чувствами, которые вряд ли объяснимы только преклонением и любовью: «Тут местная одна работает – Лариса. Каждый день рыдает у могилы Пушкина. Увидит могилу и в слезы...»

Культ Пушкина советское начальство поощряет. Он заменяет гонимую и преследуемую религию. А так хочется верить во что-то неофициальное, непохожее на прозу буден, к тому же и далекое по времени.

Однако в повествование вторгается еще одна тема – современная и остро актуальная – эмиграция. Уезжает жена рассказчика, и он решает этот мучительный вопрос – ехать или не ехать. Идет спор между супругами, один из тех, которые шли тогда во многих интеллигентных семьях:

«– Еще раз говорю, не поеду.

– Объясни, почему?

– Тут нечего объяснять... Мой язык, мой народ, моя безумная страна... Представь себе, я люблю даже милиционеров.

– Любовь – это свобода. Пока открыты двери – все нормально. Но если двери заперты снаружи – это тюрьма...

– Но ведь сейчас отпускают.

- И я хочу этим воспользоваться... Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы?
- Березы меня совершенно не волнуют.
- Так что же?
- Язык. На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности. (...)
- Все равно тебя не печатают.
- Но здесь мои читатели. А там... Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?
- А здесь кому они нужны? Официантке из «Лукоморья», которая даже меню не читает?
- Всем. Просто, сейчас люди об этом не догадываются».

Спор этот у Довлатова идет в лучших традициях русской прозы: оба диспутанта правы, и решать, чья правда весомее, приходится читателю.

Как решит этот вопрос для себя герой-рассказчик «Заповедника» – мы еще не знаем, но и после того, как Довлатов сделал свой выбор, спор этот будет продолжаться в других его книгах.

«Марш одиноких» – это повествование о газете «Новый американец», о ее возникновении, расцвете и печальном конце. Но это не просто летопись жизни русской газеты в Нью-Йорке. Это и книга об Америке, такая, какой еще не было в русской литературе. Маяковский, как известно, восхищался Бруклинским мостом, но пощады американскому капитализму не давал. Ильф и Петров старались написать о том, что им понравилось в Америке. Но это всегда были впечатления гостя или туриста, который помнит, что с него спросится за неумеренные восторги, да и войти в американскую жизнь, увидеть ее изнутри было этим авторам не дано.

Довлатов в Америке не гость, а ее гражданин. Он здесь живет и работает.

И он рассказывает о том, как группа энтузиастов – недавних эмигрантов – решила издавать газету для таких же, как они, новых жителей Нового света.

Сейчас уже можно собрать библиотечку эмигрантских книг, действие которых происходит в Америке, а большинство персонажей занято тем, что Америку ругают.

Довлатов искренне захотел сначала Америку понять, а уже потом о ней судить. В предпоследней главе «Марша одиноких» он подводит итог своим впечатлениям: «Мои взаимоотношения с Америкой делятся на три этапа. Сначала все было прекрасно. Свобода, изобилие, доброжелательность. Продуктов сколько хочешь. Издательств сколько хочешь. Газет и журналов более чем достаточно.

Затем все было ужасно. Куриные пупки надоели. Джинсы надоели. Издательства публикуют всякую чушь. И денег авторам не платят.

Да еще – преступность. Да еще – инфляция. Да еще эти нескончаемые биллы, инвойсы, счета, платежи...

А потом стало нормально. Жизнь полна огорчений и радостей. Есть в ней смешное и грустное, хорошее и плохое.

И продавцы (что совершенно естественно) бывают разные. И преступники есть, как везде. И на одного, допустим, Бродского приходится сорок графоманов. Что тоже совершенно естественно...

И главные катаклизмы, естественно, происходят внутри, а не снаружи. И дуракам по-прежнему везет. А счастья по-прежнему не купишь за деньги.

Окружающий мир – нормален. Не к этому ли мы стремились?»

Думаю, что это открытие Америки для русской литературы сделал именно Довлатов. Он убедился сам, что из мира подмены, из мира абсурда, который хочет прикинуться светлым будущим человечества и его радостным настоящим, он попал в мир, который не выдает себя за рай земной, не обещает кисельных берегов и молочных рек, не хочет никого учить жить.

И эта мысль, что Америка – норма, а не идеал или счастливое исключение, как-то очень утешает на фоне того, что пишут об Америке другие.

Довлатов увидел Америку как она есть, он сумел это сделать без предубеждений и без неоправданных восторгов. Поэтому он может написать о Нью-Йорке с любовью и восхищением: «Нью-Йорк – хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляюще благодушен

и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп.

Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она ужасно настолько, что достигает своеобразной гармонии.

Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы эвклидовой геометрии. Издевается над земным притяжением. Освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов.

Нью-Йорк реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда и развлечения.

Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое и будущее тянутся в одной упряжке.

Здесь нет ощущения старожила или чужестранца. Есть ощущение грандиозного корабля, набитого двадцатью миллионами пассажиров. Где все равны по чину.

Этот город разнообразен настолько, что понимаешь – здесь есть место и для тебя».

И все-таки, если задуматься, что же стоит за всеми вещами Довлатова, что дает им единство стиля и тона, какова мера вещей в его художественном мире, то мы обнаружим везде – его самого, Сергея Довлатова, русского интеллигента 1960-х, лицом к лицу с советской системой в целом, с самыми различными характерами и социумами. Главный герой довлатовской прозы – он сам. Такой как есть, со всеми своими привычками (не всегда похвальными), со своими слабостями, со своим неумением делать карьеру в советских условиях и пробиваться в джунглях американской газетной свободы.

Читателям Довлатова кажется естественным, что он не извиняется за свои поступки, не стесняется самого себя, и они видят в этом непредубежденном отношении автора к себе – персонажу – норму литературного отношения. А может ли быть иначе?

Вспомним советскую литературу «героической» эпохи, когда интеллигент был главной мишенью разоблачительных ее усилий, и писатели всё, что было в них лучшего, свои страсти, свои мечты, свои идеалы, отдавали этим лихо разоблачаемым персонажам – чтобы таким образом

выговориться. Наступать на горло собственной песне приходилось не только Маяковскому, но всем, кому искренно или вынужденно казалось, что надо смиряться перед исторической необходимостью, перед той «стеной», с которой ни за что не хотел компромисса «подпольный человек» Достоевского.

Не буду перечислять всех молодых героев советской русской прозы, которые гибли заложниками, спасая своих авторов от «идеологических пени». Первым из них был Мечик в «Разгроме» Фадеева, на клеймении которого воспитывались поколения советских школьников.

Вновь возникли эти неправильные герои в повестях Трифонова, всё в той же коллизии неосуществленного самоопределения.

Значит ли это, что Довлатов нашел себя и примирился с системой, отыскал в ней для себя удобное место?

Смысл его позиции по отношению к советской системе в том, что он включен в нее только внешне: то он журналист в одной из ленинградских заводских тиражек, то солдат-вохровец, то есть служит в лагерной охране, то экскурсовод в пушкинских местах, то снова в газете – на этот раз республиканской – в Эстонии. Довлатов служит, идет на естественные и неизбежные компромиссы, но остается самим собой, не принимает всерьез официальную ложь – и не потому, что у него есть какие-либо политические убеждения и религиозные верования, а по другой, более весомой причине. То есть, конечно, у Довлатова-человека есть и свои политические воззрения – может быть, он сторонник прямого народоправства или конституционной монархии. Это мне неизвестно. К тому же убеждения – вещь наживная, они могут перемениться, а верования могут и не прийти или остынуть. Довлатов не принимает систему официальной лжи, потому что не может принять, не может с ней примириться его Я, его личность, его человеческая природа. Она в нем бунтует и не соглашается, она страдает от компромиссов, на которые соглашается Довлатов-журналист, и эта же натура часто безмолвствует, когда перед ним открываются бездны мерзости, безмолвствует потому, что сила факта, переданного в лаконичной манере Довлатова, потрясает, как немая сцена в «Ревизоре».

И, конечно, он перенимает литературную эстафету от единственного героя советской литературы, который откровенно заявлял, что он не хочет строить социализм. И когда заявлял – в 1933 году, когда социализм, по авторитетному заявлению, был в основном построен.

Этот герой, Остап Бендер, вырос и сформировался в досоциалистическом Черноморске (читай – в Одессе), где в сознании людей были еще живы нормальные представления о жизни, для них «социализм» – это нечто чужое и неприемлемое. То, что Остап не принимает новое общество, не удивительно и естественно, ему еще не сумели «запудрить мозги», как выразились бы герои «Зоны». Удивительнее другое, что Довлатов-персонаж так же естественно не принимает уже сложившуюся и победившую систему.

Остапа сместила казенная формула о преодолении реакционных собственнических инстинктов. Довлатова – смешит разговор двух эзков о коммунизме:

«– ...с деньгами я кругом начальник. Деньги – сила...

– Вот наступит коммунизм, – злобно произнес Ероха, – и останешься ты без денег, хуже грязи. При коммунизме-то деньги отменяют...

– Наверяд ли, – сказал Запараев, – без денег всё растащат. Так что не отменяют. А будут деньги – мне и коммунизм не страшен».

Сам автор понимает, что сваливать всё на власть денег так же глупо и бесплодно, как объявлять кибернетику «лженаукой».

Довлатов принадлежит к поколению, которое выросло и сложилось не в мире социальных утопий и прекраснородушных мечтаний. Его может только смешить то, что говорил Юрий Олеся на первом съезде писателей в 1934-м году: «Мир с его травами, зорями, красками прекрасен и (...) делала его плохим власть денег (...), власть человека над человеком. Этот мир при власти денег был фантастическим и превратным. Теперь, впервые в истории культуры, он стал реальным и справедливым».

В книгах Довлатова не только показана «превратность» этого «теперь», но и раскрыта средствами искусства фантастическая природа двоимирия – удивительного

сочетания бюрократической окостенелости системы и – вопреки всему – биения живой мысли, нормальных человеческих чувств.

То, над чем смеется и горюет Сергей Довлатов, – это заговор против чувств, это та система, при которой природный талант должен выбирать между двумя равно обратительными жизненными путями: «Жизнь превратила моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему повезло, иначе он неминуемо стал бы крупным партийным функционером».

Довлатов не пишет исторических романов, он всегда в сегодняшнем дне, и даже «Наши» – его семейная хроника – легко переходят от прошлого к настоящему. Но и настоящее заставляет его вспоминать о прошлом, думать над историей, которая породила нашу современность.

Кроме книг, у Довлатова опубликован рассказ «Представление» («Континент», № 39, 1984). По материалу он сходен с «Зоной». Снова рассказчик – вохровец, снова уголовники, снова лагерь со всеми чертами своего быта.

Но это несколько архаическое название (кто же сейчас говорит – «представление»?), очевидно, не случайно. Оно повторяет название известной главы в «Записках из мертвого дома», где тоже изображается спектакль, разыгранный товарищами Достоевского по Омскому острогу. Но в Омском остроге все делали сами каторжане, от начальства нужно было только разрешение. В рассказе Довлатова инициатива идет сверху, пьесу выбрал замполит Хуриев, он же отбирал исполнителей.

Товарищи Достоевского сами выбирали пьесу из репертуара народно-балаганного театра и сами определяли исполнителей. Замполит – предлагает одобренную высшим начальством пьесу какого-то Якова Чечельницкого «Кремлевские звезды», в которой действуют всего несколько персонажей (в том числе Ленин и Дзержинский), а заканчивается она монологом Ленина и пением «Интернационала».

Пьеса своей тематикой создает временную дистанцию в полустолетие, название рассказа продлевает ее еще далее, к середине XIX века. Читатель неотвратимо идет

по пути исторических сопоставлений и подсказанных ему рассказом аналогий.

Ходовое определение «театр абсурда», конечно, не подходит к бездарной агитке Чечельницкого. Театр абсурда – это само «представление», в котором зэки – жертвы системы, созданной Лениным и Дзержинским, – играют их роли, говорят их монологами и репликами. И не просто повторяют их. Замполит, он же режиссер, требует от артистов, разумеется, полного вхождения в роль:

«– Знаете, что говорил Станиславский?! (...) – Станиславский говорил – не верю! Если артист фальшивил, Станиславский прерывал репетицию и говорил – не верю!»

Один из актеров, играющий Дзержинского, немедленно комментирует это на свой лад:

«– То же самое и менты говорят, – заметил Цуриков.

– Что? – не понял замполит.

– Менты, говорю, то же самое повторяют. Не верю... Не верю».

Как может видеть читатель, зэки-актеры, хоть и по-своему, осмысливают внушения своего режиссера лучше, чем он сам:

«– Вы что-нибудь слышали о перевоплощении?» – продолжает объяснять систему Станиславского замполит.

«– Перевоплощение, – объяснил Гурина, – это когда ссученные воры идут на кумовьев работать. Или, допустим, заигранный фраер, а гоношится, как урка...»

У более развитого умственно зэка, вора-рецидивиста Гурина, который играет Ленина, переосмысление пьесы оказывается не каламбурным, а серьезным выводом. Шагая с репетиции в лагерный изолятор, он говорит сопровождающему его вохровцу – рассказчику:

«– Сколько же они народу передавили?

– Кто? – не понял я.

– Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским. Рыцари без страха и укропа... (...) – Они-то и есть самая кровавая беспредельщина».

И, понимая всю правоту этих слов, «вольный» солдат ничего не может ответить заключенному. Не может и боится...

Гурин довольно точно перенимает ленинскую карту-вость, которую все советские люди хорошо знают по кинофильмам, и, гуляя по зоне, так приветствует встречных зэков:

«— Вегной догогой идете, товагищи гецидивисты!...

— Похоже, — говорили зэки, — чистое кино...»

В конце рассказа эту комическую игру с трафаретными клише пропагандистской пьески Довлатов переключает в другую тональность.

По ходу пьесы Гурин-Ленин произносит монолог, обращенный к зрительному залу, то есть к товарищам-заключенным.

«— Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых? (...) Завидую вам, посланцы будущего».

Страшный смысл этих слов звучит не издевательски, а серьезно и трагично. Ленин со сцены обращается к жертвам своего фанатизма, своей утопии, обездолившей народ, во имя которого он как будто все делал, не считаясь с жертвами и не предвидя результатов.

Этим монологом творение Чечельницкого не кончается. По авторской ремарке, как я уже говорил, действующие лица должны исполнять «Интернационал». В наэлектризованной монологом Гурина атмосфере зрительного зала слова когда-то революционной и вдохновляющей песни звучат, как сегодня созданные. Ее подхватывает весь зал, и снова происходит переосмысление, казалось бы, чужого текста. Песня опять зовет к борьбе с насилием и произволом, воодушевляет угнетенных и грозит притеснителям.

...Весь мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем...

И рассказчик не выдерживает: «Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы...»

Вот каким оборачивается театр Довлатова, где каждый играет не свою роль.

Мир подмены изображен у Довлатова с такой простотой, что на фоне так называемой авангардной прозы (не знаю, впереди какой армии идет этот авангард!) его книги кажутся безыскусственными, нехитрыми. Довлатову не надо придумывать неведомые государства и небывалые королевства для своих героев и сюжетов.

Абсурдность мира, который он изображает, не требует ухищрений авторской фантазии.

Она ждет внимательного глаза и отзывчивого уха. Для того, чтобы этот вывихнутый мир стал понятен и раскрыт нормальному человеческому восприятию, нужны именно те писательские свойства, которые у Сергея Довлатова есть: его понимание нормы и свобода от предубеждений. То, что Пушкин называл свободой от любимой мысли.

У Довлатова мы не найдем ни монстров зиновьевского Ибанска, ни гиньольных персонажей харьковского дна из рассказов Милославского, ни амбициозных героев Лимонова. В книгах Довлатова живут и действуют просто люди, со всеми их привычно человеческими качествами. Они смешны не тем, что они уроды и раритеты. Они смешны, как все, как мы с вами, когда жили в мире подмены и «перевоплощения» (не по Станиславскому!).

И так же, как дети России смеялись и смеются над приключениями Тома Сойера, так современные американцы, наверное, от души веселятся, читая Довлатова.

У него они находят не только экзотический мир тоталитарной страны, – это они могут найти и у других писателей-эмигрантов. У Довлатова западный читатель узнает и себя, те свои общечеловеческие страстишки, слабости, компромиссы и уступки, которых так много на жизненных дорогах каждого. И в этой всеобщности довлатовского юмора – может быть, главное достоинство его прозы.



Урок хозяина

Принято считать, что писателю не обязательно быть участником описываемых событий. Ведь писатель – не летописец, не журналист; наделенный Божественным даром – интуицией, воображением, – художник способен путешествовать по истории и современному ему миру, не выходя из своего кабинета. Однако в двадцатом веке такое представление о литературном творчестве уже не выглядит бесспорным. И не потому, что наша эпоха скупа на выдающихся писателей – гений распределен по векам равномерно, – а потому, что именно в нашем веке произошел ряд событий, не имеющих эквивалента в прошлом и зачастую не поддающихся осмыслению современников, даже наделенных талантом, – разве что они сами угодили под колесо истории и умудрились остаться в живых, сохранив свой дар.

Тогда появляются «На западном фронте без перемен», «Доктор Живаго», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «По ком звонит колокол», «Слепящая тьма», «Каждый умирает в одиночку», «Жизнь и судьба», «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛаг». Авторы этих произведений – Ремарк, Булгаков, Хемингуэй, Кестлер, Фаллада, Гроссман, Пастернак, Солженицын – не историки, не социологи и не просто соглядатаи. Они – участники, и их показания, возможно, ценнее для будущих исследователей катаклизмов двадцатого века, чем тысячи научных статей и монографий.

Но и здесь не обошлось без исключений, наиболее знаменитым из которых является «Тихий Дон», написан-

ный молодым «иностранцем» Шолоховым. (То, что в основу романа положены дневники погибшего в Гражданскую войну белого офицера – казака – лишь гипотеза. Проще предположить, что Божественный дар неожиданно посетил случайного человека, а затем, так же неожиданно, его покинул.) Поэтому – больше всего нас поражают не «иностранцы» писатели, описывающие незнакомую им среду или эпоху, а иностранцы.

На одном таком исключении, когда писатель не то что «иностранец», но иностранный, сумел осмыслить художественно одну из глубочайших трагедий XX века, трагедию русской культуры, я хочу остановиться подробнее. Речь пойдет о пьесе английского писателя Дэвида Поунэла «Master Class» – «Урок мастерства». Уроженец Ливерпуля Поунэл не происходит из семьи русских эмигрантов и в университете не изучал советологию. В его романах, пьесах и стихах также не проявляется интерес к нашим бедам. Но вот, в январе 1983 года, театр Хеймаркет в Лестере ставит новую пьесу Дэвида Поунэла, в которой с блеском осуществлена попытка, ограничившись одним эпизодом, выразить весь мрак и ужас сталинских лет. Мне довелось посмотреть «Урок мастерства» через полтора года в Вашингтоне.

* *
*

На залитой ровным светом сцене, в окружении массивных колонн, стоит грубо выкрашенный рояль. На колоннах едва проступают фрески религиозного содержания. Но мы не успеваем их рассмотреть, переводя взгляд в левый угол сцены, откуда доносится звук льющейся воды. Там – уборная, дверь в нее приоткрыта. У раковины стоит коренастый, коротко стриженный мужчина средних лет в парадном мундире. Он моет руки, затем глотает таблетки, причесывается и, весьма довольный собой, выходит из уборной и идет в противоположный угол сцены, где стоит проигрыватель и ящик с пластинками. Воровато оглянувшись, ставит пластинку, закуривает, внимательно слушает. Это джазовая пьеса Бикса

Бейдербека. Раздается стук в дверь. Еще и еще. Наконец, военный слышит его и зычным голосом командует: «Входи!» В дверях появляется пожилой, болезненного вида мужчина в костюме строгого покроя, в очках, тяжело опираясь на трость. Видно, что он болен. Войдя в комнату, он застывает в нерешительности, однако в его взгляде нет страха, а лишь недоумение и некоторая брезгливость. Военный резко встает, выключает музыку и говорит: «А я слышал, что ты пунктуален, Прокофьев!»

«Я прибыл вовремя, но умудрился заблудиться: в этом здании столько лестниц»... – отвечает с достоинством композитор Сергей Прокофьев. От предстоящего разговора зависит вся его дальнейшая жизнь. Ведь перед ним не просто генерал, а сам Жданов – главный теоретик партии по вопросам литературы и искусства. Теперь уже ясно, что встреча происходит в кремлевской приемной. Через несколько минут, с видом проштрафившегося ученика, появится другой композитор – Дмитрий Шостакович, а еще погодя – и сам генералиссимус в скромном френче со свертком подмышкой – как какой-нибудь управдом. И начнется «урок мастерства»: Сталин и Жданов станут объяснять двум великим композиторам двадцатого века, как сочинять музыку...

Разумеется, подобной встречи никогда не было. Она состоялась лишь в воображении автора, Дэвида Поунэла, и относится к разряду так называемых «невозможных интервью», распространенных в мировой драматургии еще со времен древних греков. Бернард Шоу называл их «правдивыми историями, которых никогда не было». В современном театре мастером таких историй является другой англичанин – Том Стоппард. Так, в его знаменитой пьесе «Травести» Ленин, Джеймс Джойс и основатель дадаизма Тристан Тцара встречаются в Цюрихе, где каждый из них действительно жил в то или иное время.

Но в отличие от этих забавных столкновений, «Урок мастерства» – не бурлеск и не театр абсурда, а зловещая гротесковая фантасмагория на темы советской действительности – «реалистического социализма», при котором, как сказал бы покойный Аркадий Белинков, – «все стали выздоравливать, как мухи». Композиторы стали

сочинять лучшие симфонии и оперы, поэты – писать лучшие стихи, художники – рисовать лучшие картины, балерины – лучше танцевать, футболисты – забивать больше голов, а ученые, вооруженные передовым мировоззрением, – глубже постигать тайны природы.

Чтобы убедиться, что вымышленные события, описанные в пьесе Поунэла и поставленные на вашингтонской сцене режиссером Дэвидом Трейнером (в театре им. Эйзенхауэра в Кеннеди-Центре), вполне могли бы произойти в 1948 году, в пору гонений на композиторов и прочих лиц с хорошим музыкальным слухом, но с плохим классовым чутьем, заглянем в журнал «Советская музыка» – «орган Союза советских композиторов СССР». Тавтология здесь не случайна: только подлинно советским композиторам было место на страницах этого журнала, украшенного неизменным портретом Сталина – ведущего музыковеда страны. Итак, каково же содержание первого номера журнала за январь-февраль сорок восьмого года (судя по отдельным репликам героев пьесы, их встреча происходила примерно в то время). Сначала идут «исторические» материалы:

Об опере «Великая дружба» Вано Мурадели (Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г.);

Вступительная речь тов. А. А. ЖДАНОВА на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б);

Выступление тов. А. А. ЖДАНОВА на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б);

Великому вождю советского народа товарищу СТАЛИНУ (письмо московских композиторов и музыковедов).

Затем следует «Обсуждение постановления ЦК ВКП(б) московскими композиторами и музыковедами». Первым идет доклад Тихона Хренникова «За творчество, достойное советского народа», с которым перекликаются «Выступления на собрании композиторов и музыковедов г. Москвы». Вот, например, одно из них:

«Когда мы оглядываемся на путь, пройденный нашим искусством, нам становится совершенно ясно, что всякий раз, когда партия исправляла ошибки того или иного художника, указывала на уклонения в его творче-

стве, или же сурово осуждала какие-либо направления в советском искусстве, это всегда приносило пользу как всему советскому искусству, так и творчеству отдельных художников... Я глубоко благодарен за это и за всю ту критику, которая содержится в Постановлении. Все указания ЦК и в частности те, которые касаются меня лично, я воспринимаю как суровую, но отеческую заботу о нас – советских художниках».

Словно предвидя реакцию читателей будущего на эти вымученные слова юродствующего Шостаковича, редакторы «Советской музыки» озаглавили следующий раздел номера «Смех сквозь слезы» (дружеские шаржи, выполненные художником с многообещающей фамилией Костомолоцкий).

И, наконец, заключительный раздел номера – «Нотные приложения». Здесь обнародованы результаты конкурса «Три лучшие песни о Сталине»:

А. В. Александров – Кантата о Сталине (помните – «о Сталине мудром, родном и любимом»?)

М. Блантер – Песня о Сталине

В. Захаров – Величальная И. В. Сталину («Всенародному Маршалу»).

Ознакомившись с содержанием лишь одного из номеров «Советской музыки», уже не станешь подозревать автора пьесы «Урок мастерства» в надуманности сюжета, а чтоб у читателя полностью развеялись представления о Дэвиде Поунэле как о безответственном фантазере, покинем пыльные страницы советского журнала и выйдем на широкие просторы истории.

В середине января 1948 года свыше семидесяти ведущих композиторов, дирижеров, музыкальных критиков и музыковедов были согнаны на «историческое» совещание деятелей советской музыки в ЦК партии, где они, под энергичным руководством товарища Жданова, прошли краткий курс того, как сочинять «подлинно народную социалистическую музыку и отстаивать ее от проникновения в нее элементов буржуазного распада». Затем 10 февраля ЦК обнародовал свои постановления на музыкальном фронте:

«1. Осудить формалистическое направление в советской музыке, как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки.

2. Предложить Управлению пропаганды и агитации ЦК и Комитету по делам искусств добиться исправления положения в советской музыке, ликвидации указанных в настоящем постановлении ЦК недостатков и обеспечения развития советской музыки в реалистическом направлении.

3. Призвать советских композиторов проникнуться сознанием»... и далее в том же духе.

Композиторы, естественно, отнеслись к критике ЦК со вниманием, а многие и с благодарностью. И, по уже сложившейся традиции, пишут товарищу Сталину интимное, но тем не менее открытое письмо:

«Мы испытываем чувство огромной благодарности к ЦК ВКП(б) и лично к Вам, дорогой товарищ Сталин, за суровую, но глубоко справедливую оценку нынешнего состояния советского музыкального творчества, за то внимание, которое Вы и Центральный Комитет нашей партии проявили к делу развития советской музыки, к нам, советским музыкантам».

Но какое отношение к этой творческой переписке имели мировые знаменитости Прокофьев и Шостакович? Самое непосредственное. Весь сыр-бор разгорелся, в основном, из-за тех «формалистических извращений», которыми они «заразили здоровое тело» советской музыки. Вот и пришлось Шостаковичу надевать маску юродивого, каяться, благодарить партию и обещать исправиться. Прокофьеву чуть более повезло: он был тяжело болен и мог не являться на суд нечестивых. Но и от него требовали верноподданнического письма... Письмо это с одобрением цитирует И. Мартынов в своей книге о великом композиторе, вышедшей в 1974 году, когда иные «деятели» уже ностальгировали по 1948 году: «Он (Прокофьев. – А. Б.) говорил вновь о своей готовности служить общенародному делу и удвоить усилия в поисках музыкального языка, понятного и близкого нашему народу, достойного нашего народа и нашей великой страны».

Но как бы горячо оба композитора ни заверяли партию и правительство и как бы искренне ни хотели исправиться (если даже допустить, что хотели), они этого не могли – их талант был сильнее инстинкта самосохранения и не укладывался в очередную партийную директиву. И как ни странно, Сталин, в отличие от многих своих подчиненных, видимо, понимал это. Понимал, что есть Божественный дар, с которым не совладать ни ему, ни его карательному аппарату. Правда, носителей дара можно уничтожить: у нас «незаменимых нет». Но ему – хозяину – было жаль уничтожать всех сразу. И он играл принадлежавшими ему художниками, как кот с мышью: одних убивал в припадке гнева, других мучил подолгу, со знанием дела, пока они сами не отдавали Богу душу, третьих – жалел и временами даже покровительствовал им, защищая от завистливых коллег, награждая премиями своего имени, машинами, дачами, чтобы в какой-то момент все отобрать и снова мучить, причем уже не своими, а чужими руками (самому – наблюдать свысока) – руками профессионального инквизитора Жданова.

* *
*

В пьесе «Урок мастерства» Сталин (в вашингтонской постановке его играет Джордж Дзундза) – главный режиссер «показательного урока», и, как положено режиссеру, он наблюдает за происходящим со стороны, в данном случае – из уборной, где он – подобно жизнерадостному большевику Андрею Бабичеву из «Зависти» Олеси – поет. Но вскоре Сталину наскучивает роль наблюдателя, он выходит на сцену и демонстрирует перед запуганными композиторами и своим несколько примитивным подручным (Жданова играет Дик Латесса) ряд образов. Перед нами проходит сначала Сталин – друг и защитник композиторов, чуткий, отзывчивый и не дурак выпить (в одну из колонн вмонтирован бар с набором водок). Затем эта маска неожиданно исчезает, и перед нами – разнuzданный хам, озлобленный неудачник, за-

комплексованный нацмен, и, наконец, графоман, глубоко переживающий свои провалы на поприще искусства.

Однако, в исполнении Джорджа Дзундза, Сталин – не разновидность Сальери, каким его представлял Троцкий, сам при этом претендуя на роль большевистского Моцарта (отношение к Сталину как к «самой выдающейся посредственности партии» во многом предreshило судьбу Троцкого и многих других большевиков). Согласно пьесе Поунэла, талант Сталина и один из секретов обретения им абсолютной власти как раз и состояли в том, что он мог примерять бесконечное количество масок, в зависимости от конкретной ситуации. Причем, нельзя было предсказать, какую маску он наденет в данный момент, на кого направит свой гнев, а кого помилует. И эта принципиальная непредсказуемость вождя внушала ужас даже его ближайшим соратникам.

Вот Сталин-Дзундза с благоговением на лице вынимает из ящика пластинку, сдувает с нее пыль, подносит к проигрывателю. И неожиданно разбивает ее. Затем вторую, третью. И вновь переходит к мирной беседе. Вот он горюет по несостоявшейся карьере священника, а затем приказывает Жданову выплеснуть водку на икону. То он кручинится о жертвах, понесенных Россией в войне с Германией, то с полным цинизмом выказывает равнодушие к судьбам погибших шахтеров. То он плачет, осознав свою творческую несостоятельность, то мирно засыпает. На самом деле его не интересуют ни Россия, ни Грузия, ни религия, ни народное искусство, ни сам народ, ни его лучшие представители, которых он мастерски истязает. Сталин, каким его играет Джордж Дзундза, абсолютно, до стерильности пуст. Ему бесконечно скучно и поэтому не превратно понимаемый долг перед отечеством, не приверженность к марксистской догме и не клиническое безумие толкают его на путь террора, а стремление к власти – настолько беспрекословной, чтоб весь окружающий мир можно было рассматривать как гигантское захватывающее представление-монтаж аттракционов. Разумеется, роль монтажера – великого манипулятора – предназначена только ему самому.

Такой с виду заурядный, скучающий, пытающийся себя развлечь всеми доступными ему средствами (доступно ему было всё в пределах его собственности – России), Сталин оказался непонятен вашингтонским критикам. Они, наверное, ожидали увидеть деспота а ля Иван Грозный, опереточного злодея или маньяка, что-то вроде Гитлера, а им показали мелкого скучающего беса, перевертыша, существо хоть и отталкивающее, но не без обаяния. Отсюда и жалобы критиков на отсутствие в «Уроке мастерства» драматического центра, на то, что Сталину не хватает клыков и когтей. А дело как раз в том (если я правильно понял замысел драматурга и режиссера вашингтонского спектакля), что Сталин не может быть никаким центром. Он – провал или бесформенная масса, перетекающая из одной формы в другую. И в этом его сила, особенно на фоне «несгибаемого большевика» Жданова, который в пьесе Поунэла представляет скорее не бесцветного, евнухоподобного интригана – Андрея Жданова, а потерянное поколение бунтарей, ставших сталинскими шестерками.

Лучше всего разница между этими двумя палачами видна в том эпизоде спектакля, где Сталин и Жданов лихо отплясывают вокруг затравленных ими композиторов на мотив «Светит месяц, светит ясный...». Сталин танцует легко, артистично, ступая по-кошачьи мягко, словно крадучись. Не то Жданов. В том, как он отплясывает этот невинный русский танец – с остервенением и хаотизмом заведенного (Сталиным), но сломавшегося автомата – весь режим, воплощение которого – новый Голем, сомнамбула, марионетка Жданов, готовый по первому призыву хозяина растоптать, уничтожить, стереть с лица земли все подлинное, живое, не поддающееся контролю.

Похоже, что этот «danse macabre» (погребальный танец, или пляска смерти. – фр.) отталкивается от знаменитого танца опричников в масках из второй серии «Ивана Грозного» Эйзенштейна, вызвавшей ярость Сталина и чудом сохранившейся. Кстати, музыку к этому фильму, вошедшему в анналы мирового киноискусства, написал Сергей Прокофьев...

Но есть у этой пляски и другой прототип – не из искусства, а из жизни.

«Я поднимаю голову и вижу обращенный на меня взгляд... Он сидит недалеко. Он средних лет, плотный, в генеральской форме без знаков отличия. Лицо властное, с упрямым, выдающимся подбородком. За весь вечер... не произнес ни одного слова. Он сидел, молча изучая других, размышляя... Вдруг он вскочил, сгреб меня и выволок на середину комнаты танцевать русского. Как он танцевал! Пылко, неистово, не улыбаясь... Он танцевал так, как будто собирался втоптать своими тяжелыми сапогами что-то или кого-то в землю...»

Действующие лица – реальные люди: маршал Жуков и русская актриса Галина Вишневская. Приведенный эпизод описан в вышедших недавно мемуарах выдающейся певицы, десять лет назад эмигрировавшей на Запад.

Галина Вишневская присутствовала на вашингтонской премьере «Урока мастерства» в Кеннеди-Центре. Позже, на приеме в честь спектакля, она сказала корреспонденту «Вашингтон пост» Тому Бёрнсу: «Я плакала во время спектакля. Пьеса, действующие лица – всё это настолько подлинно!..»

На приеме в Кеннеди-Центре был также Максим Шостакович, советский дирижер-невозвращенец, сын Дмитрия Шостаковича. Отзываясь о постановке Дэвида Трейнера положительно, он отметил, что, несмотря на неизбежные неточности в деталях, пьеса и спектакль в целом передают дух и трагедию сталинской эпохи. Как известно, ту категорию зрителей, которую составляют очевидцы событий или родственники изображаемых людей, удовлетворить не так просто, но, судя по всему, режиссеру и драматургу удалось это...

Отметим, при этом, и заслугу актеров. По-моему, Вернер Клемперер и Майкл Заслов блестяще справились с ролями Прокофьева и Шостаковича, так же, как Джордж Дзундза и Дик Латесса – с ролями Сталина и Жданова. На американской сцене редко встретишь такой слаженный ансамбль звезд. Наибольшее впечатление на меня произвел эпизод, в котором все четверо (естественно, под руководством Сталина) сочиняют «народную музыку» к поэме

Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». По своей абсурдности и остроумию эта сцена может потягаться с лучшими страницами Беккета и Ионеско. Но не одними абсурдностью и остроумием интересна эта сцена. В какой-то момент композиторы, насильно вовлеченные в процесс творчества, забывают, что цель этой процедуры, напоминающей унижительный таможенный досмотр с раздеванием догола на советской границе, – сломить дух художников и полностью подчинить их гений и мастерство капризам вождя. Работая над «Витязем», они начинают с азартом спорить о том, в каком ключе нужно исполнять ту или иную фразу поэмы. И вот их спины распрямляются, появляется уверенность в жестах и речи, в то время как Сталин и Жданов как-то съёживаются, тушуются, превращаясь в робких учеников. Так талант и мастерство одерживают победу над страхом, пошлостью и безумием.

Спектакль «Урок мастерства» заканчивается тем, что Сталин, утомившись пришедшейся ему не по плечу ролью наставника композиторов и к тому же изрядно выпив, засыпает. Жданов снимает с композиторов пиджаки, накрывает ими своего кумира и, потушив свет, на цыпочках выходит и уводит за собою Прокофьева и Шостаковича. Урок окончен, и притихшая вашингтонская публика медленно выходит из зала. На некоторых лицах я ловлю недоумение. Ведь люди пришли сюда приятно провести вечер, довольно дорого заплатив за билеты, – мужчины в отутюженных фраках, женщины в меховых горжетках, – а их, вместо того, чтобы развлекать, – дубиной по голове. Так, может, не стоило вспоминать, может быть, весь этот кошмар, пережитый советской творческой интеллигенцией, – дело далекого прошлого и незачем к нему возвращаться через тридцать пять лет? Ведь у каждой эпохи свои проблемы...

К сожалению, проблемы советского общества отличаются своим постоянством... Характерно, что из главных сталинских сатрапов, если не считать недавно реабилитированного Молотова, лишь Жданову удалось остаться в официальном пантеоне. Он умер в том же

сорок восьмом году, незадолго после проведенного им совещания композиторов, на котором он, кстати, предупредил, что «у нас, к сожалению, недостаточно разработана та область теории, которая говорит о физиологическом влиянии музыки на человеческий организм. А между тем, надо учитывать, что плохая, дисгармоническая музыка, несомненно, нарушает правильную психофизиологическую деятельность человека».

К счастью, никому не пришло в голову подсказать Сталину, что, может быть, в этих пророческих словах его верного соратника сокрыта истинная причина его смерти. А то ведь Сталин мог тут же заключить, что Жданова уморили композиторы-убийцы, злоумышленно перенапрягшие его слух дисгармонической музыкой. Что произошло бы дальше, мы все хорошо знаем...

Так или иначе, Жданов умер, и его именем был назван второй по значению университет страны – ленинградский. Ждановым стал город Мариуполь; впрочем, этого события никто не заметил. С тех пор прошли десятки лет, включая легендарную оттепель и хрущевские разоблачения сталинизма... Но по сей день и город, и университет, и даже ленинградский дворец пионеров носят имя Андрея Жданова, а студенты по-прежнему заучивают ждановские постановления о работе журналов «Звезда» и «Ленинград», где ошельмованы выдающиеся представители русской культуры XX века Анна Ахматова и Михаил Зощенко. (Мне, например, попался билет с этим вопросом на экзамене по истории КПСС, который я сдавал на первом курсе института в 1971 году, и у меня нет оснований полагать, что программа с тех пор переменялась.)

Жданов умер, но дело его живет. В либеральные хрущевские времена травили Пастернака, при Брежневе – со столбовой дороги детанта сдвинули заслонявшего светлое будущее Солженицына, а теперь, похоже, все возвращается на круги своя: опять взялись за Пастернака, разгромили дачу-музей в Переделкине, вышвырнули из окон письма и черновики...

Музыковед И. Мартынов, в вышеупомянутой биографии Сергея Прокофьева, вышедшей десять лет назад, писал о незыблемости идейно-эстетических принципов,

изложенных в резолюциях 1948 года. Правда, имени Жданова он при этом не упоминал (все-таки Мартынов – интеллигентный человек!). Но если сегодня составить список всех тех композиторов, музыкантов, артистов балета, театра и кино, режиссеров, художников, писателей и поэтов, которые были вынуждены покинуть родину, то невольно начинаешь думать, что, следуя заветам Сталина и Жданова, о которых нам вполне своевременно напомнили англичанин Дэвид Поунэл и американец Дэвид Трейнер спектаклем «Урок мастерства», советские власти скоро добьются того, что в стране воцарится подлинно народное искусство: песни, мифы да былины.

Как в старые добрые времена, при царе Горохе!

Вашингтон, 1984 г.



Сегодня и завтра советской энергетики, или почём нынче Западная Сибирь

Газопровод, поставляющий сибирский газ в страны Западной Европы, представляет собой одну из самых выгодных сделок в советской истории. Не будь его, баланс внешней торговли СССР сейчас выглядел бы совсем иначе. По существу в советской торговле возникла в связи с появлением газопровода новая тенденция. Газ на мировом рынке всегда в цене. Деньги эти советским властям нужны позарез. Все они предназначены для покупки зерна. Американские и европейские эксперты дивятся русскому парадоксу: тратить ценнейшие энергетические ресурсы на покупку зерна, которое можно вырастить на собственной земле... Где тут смысл? Советское сельское хозяйство малопродуктивно? Ну, так оснастите его новой техникой, постройте дороги, элеваторы. Зачем же газ разбазаривать? Ведь Советский Союз и сам близок к дефициту электроэнергии...

Для советского человека никакого парадокса тут нет. Мы знаем – в колхозы и совхозы можно вложить миллионы и миллиарды, можно оснастить их новейшей техникой, толку от этого все равно не будет, и продуктов в магазине не прибавится. Так что сделка – «сибирский газ в обмен на американскую пшеницу», может быть, и впрямь, наиболее надежный способ хоть как-то заполнить советские закрома. Тема этой статьи, однако, не абсурд социалистического сельского хозяйства, а состояние советских энергоресурсов сегодня и завтра, а также вопрос, как соотносится отечественная энергетика с охраной природы.

В соотношении этом видится мне много странного и грустного.

В СССР много всего – и газа природного, и нефти, и углей всех видов. Страна могла бы процветать, сочетая нефтяные и угольные ТЭС с рациональным использованием газа, с получением необходимого количества электроэнергии на гидро- или атомных станциях. Между тем страна испытывает недостаток и в электроэнергии, и в продуктах нефти, в частности – в бензине. Вспоминается, как в конце 1975 года мне в Москве позвонил мой приятель, директор одного ташкентского завода. Он позвонил нам поздно вечером. Примерно за неделю до Нового года:

– Я в Москве, в аэропорту Домодедово. Можно у вас переночевать?

– Можно. Приезжай.

Причину своего неожиданного приезда в столицу приятель объяснил кратко: «На заводе кончился лимит на бензин. Грузовики стали. Не на чем вывозить готовую продукцию. План горит. Накуплю талонов рублей на триста и завтра к вечеру обратно в Ташкент». Так бывало уже не раз: заводу постоянно не хватает горючего. И не только этому заводу. Вот почему руководители ташкентских предприятий мчатся в столицу, чтобы за наличные добыть горючее. Догадываюсь, что в предновогодние дни в столицу и поныне с той же целью катят директора предприятий не только одного Ташкента.

Да, бензина в стране не хватает, нефти для перегонки – тоже. Но бурно развивается при этом вовсе не нефтяная, а газовая промышленность. Я полагаю, что уже в конце 70-х правителям СССР из секретных отчетов и прогнозов стало ясно: нефтяная бочка – недра страны – еще достаточно полна, но опустела бочка денежная. Разработка каждого нового нефтяного месторождения в Западной Сибири обходится чуть ли не вдвое дороже предыдущего. В последние годы нефтяная индустрия оказалась на редкость нечувствительной к новым и новым капиталовложениям.

Капиталовложения в 70-е годы в эту область росли примерно на 15 процентов в год, а добыча нефти возрас-

тала на один, а то и на полпроцента. В 1984 году прирост и вовсе прекратился. Происходит потеря отдачи не только в нефтяной промышленности. На угольную индустрию ежегодно страна тратит на 8-12 процентов средств больше, чем в предыдущий год, а прирост продукта, то есть угля, в 1980 – 1983 годах отсутствовал полностью, а в 1984 году даже снизился на 0,7 процента. С производством электроэнергии на угольных и мазутных теплоэлектростанциях – такая же картина: вложения растут на 10 проц. каждый год, а прирост – один-два процента. И только газ – не чудо ли? – при росте капиталовложений на 20-23 процента в год дает прирост продукции на 20-27 процентов!

Теперь понятно, почему работа на газовых месторождениях идет 24 часа в сутки, почему строителям газопроводов предлагают огромные по советским масштабам заработки. Сибирский газ, газ ямальской и таймырской тундры, явился настоящим подарком для советской экономики. Газ легче добывать, чем нефть, его проще транспортировать. Правда, на фоне всеобщих восторгов по поводу новых газопроводов и успехов газовой промышленности в печать уже несколько раз проникали научные статьи о неблагополучии в этой области. Ученые пишут о колоссальном ущербе, который нефтегазовая индустрия наносит тундре и лесотундре. Мне довелось уже в свободной прессе обсуждать этот вопрос*. Здесь я остановлюсь лишь на одном аспекте – на представлении о ценности Западной Сибири.

Многим людям на Западе, да и в СССР, территория Западной Сибири видится как одно сплошное болото или тундра с комарами. При таком взгляде кажется, что не так уж и важно, если это болото будет загрязнено нефтяными остатками или даже несколько увеличится в размере. В конце концов, портят его не просто так, а для блага общества, добывая нефть и газ. Всякий знает ныне: без нефти и газа не может существовать ни одно современное государство. В этом суждении все неверно, но советские ученые из-за строгостей цензуры не могут объяснить

* См. статью «Сделка „трубы – газ“, экология и порядочность». – «Посев» № 12, 1982.

своим соотечественникам один из основных законов экологии. Когда природа резко и в короткий срок меняется на значительной территории, то сдвиг этот неминуемо влечет за собой сдвиги в характере природы и климата в соседних районах, на площади более или менее сопоставимой с площадью изменившегося района. В результате добычи нефти и газа в северной части Западной Сибири окружающая среда необратимо будет загрязнена и нарушена в южной части Сибири. При этом пострадает примерно один миллион квадратных километров, что равно площади двух Франций. Речь идет об огромной территории южнее Тюмени, на Южном и Среднем Урале, в Омской и Новосибирской областях, где в ближайшем будущем жизнь может стать крайне затруднительной и даже невозможной из-за заболачивания и ухудшения климата.

Разумеется, государство не прекратит добычу газа и нефти в Западной Сибири, равно как и не прекратит ввоз хлеба в страну, хлеба, оплаченного экспортом этого самого природного газа. Задумаемся, однако, почему самое богатое в мире энергоресурсами государство оказалось перед дилеммой: либо газ и экспорт хлеба насущно, либо потеря доброй трети Сибири? Похоже, что возможность с помощью торговли газом как-то залатать дыры своей экономики так вскружила голову советским вождям, что они махнули рукой на разорение сибирской природы и ничего не хотят предпринимать для спасения этого края.

Между тем, при желании, можно было бы сделать для спасения природы многое. К примеру, Канада – страна, далеко не богатая энергетическими ресурсами, – использует для освоения месторождений нефти специальные вездеходы, которые наносят тундровой почве самый минимальный вред. Канадцы ждут, когда в тундре выпадет снег, и только после этого начинают основные перевозки. В Советском же Союзе большую часть грузов перевозят именно летом, когда колеса грузовиков сдирают моховой слой тундры и образуют наполненные грязной водой ямы, которые, сливаясь, образуют настоящее болото. В той же Канаде дирижабли – наиболее

реальная альтернатива наземному транспорту. Они давно доставляют основную часть грузов в районы нефтяных разработок. В Советском Союзе – использование дирижаблей в тундре запрещено, потому что военные считают, что дирижабли создают помехи радиолокации. И таких примеров – не счесть. Равнодушие к природе, к будущему России, сквозит почти в каждом крупном энергетическом проекте СССР. И в том числе – в проектах, связанных с использованием углей.

О том, что запасы угля в СССР огромны, знает каждый школьник. Но не только школьники, несколько поколений советских экономистов и энергетиков были воспитаны в убеждении, что уголь может обеспечить страну энергией, и в том числе электрической, на века. Конечно, специалисты знают, что антрацит, добываемый в Донбассе и Кузбассе, дорог, а в Донбассе он к тому же и на исходе. Но им еще в университете вбили в голову, что это не страшно, потому что залежи углей в Экибастузе (Северный Казахстан) и в районах Канска и Ачинска (Красноярский край) почти безграничны. Уголь там залегают буквально на поверхности, себестоимость добычи его – самая низкая в мире, запасов хватит на сотни лет... Если построить в этих районах электростанции, можно получить самую дешевую в мире электроэнергию. Построив линию электропередач (самую мощную в мире, разумеется), можно перебросить энергию в Европейскую часть Союза. Так что беспокоиться незачем.

Но когда действительно пришла пора использовать угли Экибастуза и Канско-Ачинского месторождения, то оказалось, что вопрос этот не так-то прост. До середины 50-х годов в СССР было немало угольных электростанций. Они сжигали добротный донбасский антрацит и в общем-то не слишком загрязняли воздух. Затем в больших городах электростанции были переведены на газ и проблема загрязнения воздуха была решена окончательно. С началом разработки экибастузского и канско-ачинского угольных бассейнов проблема загрязнения воздуха угольными электростанциями приобрела характер прямо-таки зловещий. В новых районах разрабатывать стали так называемый бурый уголь и лигнит. Эти про-

дукты дают при сгорании значительно меньше калорий, зато много золы и других примесей. Низкое качество бурых углей делает нерентабельной их перевозку на дальние расстояния. Их выгодно сжигать лишь на месте добычи. Причем сжигать в крупных установках, ибо дешевое электричество можно получить только в котлах мощностью 500 мегаватт и выше. Если такие котлы объединить в комплекс, состоящий из 3-4 установок, то энергия еще подешевеет. Но строительство таких сверхмощных угольных станций означает, что там, где прежде работало 8-10 небольших электростанций, разбросанных на больших площадях, теперь будет возведен комплекс, из единственной трубы которого будет вылетать громадное количество дыма и пыли, и все это станет рассеиваться на сравнительно небольшом пространстве.

Не слишком задумываясь о последствиях такого рода задымления окрестностей, конструкторы, получившие соответствующие распоряжения сверху, спроектировали Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК), который представлял собой шесть станций мощностью в 6400 мегаватт каждая. Для Экибастуза спроектировано пять таких станций по 4000 мегаватт. Надо пояснить, что самые крупные станции в США и Японии до сих пор не превышали 2000 мегаватт. Таким образом, советская ТЭЦ должна была стать новым словом в мировой энергетике. Экологи, однако, не ожидали от этого «нового слова» ничего хорошего.

Нельзя сказать, чтобы власти совсем не интересовались мнением людей, защищающих природу, когда замышлялся этот гигантский проект. Во главе группы ученых, призванных исследовать, как КАТЭК станет воздействовать на окружающую природу, был поставлен Юлий Израэль, председатель Госкомитета по метеорологии, гидрологии и контролю за окружающей средой. Были приглашены и другие видные эксперты. Ученые ставили своей задачей создать математическую модель рассеивания дыма и газов из труб будущих электростанций. Видимый простым глазом шлейф дыма и невидимые границы рассеивания газов определяют ущерб, наносимый всему живому в районе станции. Каждая из будущих

станций КАТЭК (первая из них уже возводится) будет сжигать примерно 60 шестидесятитонных вагонов угля в час! 24 полновесных эшелона угля в сутки! Построенная учеными модель показала, что на расстоянии ста и даже более километров от трубы концентрация сернистых и азотистых соединений будет значительно превышать предельно допустимые величины. Такие концентрации пагубно скажутся на росте деревьев в тайге, на урожайности сельскохозяйственных культур и, разумеется, на здоровье населения.

Сернистые и особенно азотистые соединения способны также вызывать так называемые «кислые дожди» – причину смерти лесов на огромных пространствах. «Кислые дожди» КАТЭКА могут выпадать на территории в полмиллиона квадратных километров, захватывая Южную Сибирь и Монголию. Они могут быть занесены и на территорию Китая. И хотя шансы такого заноса сравнительно невелики, но нетрудно себе представить, какой скандал в международном масштабе закатил бы Китай Советскому Союзу, если бы такие дожди пролились и нанесли ему хотя бы небольшой ущерб.

Между тем, бороться с возникновением соединений азота при сгорании низкосортных углей – в СССР не умеют. Для изучения этой проблемы в АН СССР была создана специальная группа, однако на первом же заседании группы академик Я. Зельдович, один из виднейших физико-химиков мира, заявил, что советская наука серьезно отстала в изучении теории горения твердых топлив. В частности, в СССР не умеют создавать каталитические системы, способные «дожигать» окислы азота и таким образом очищать выбросы из труб. Академик Зельдович предупредил, что быстрого решения в этой области не предвидится («Вестник АН СССР», № 2, 1984, стр. 28).

Кроме того, гигантские трубы катэковских станций, как выяснили ученые, станут выбрасывать также большое количество частиц тяжелых металлов, таких, как ртуть, кобальт, свинец и стронций. Рассчитано, что накопление таких металлов в почве и в воде уже через 5-7 лет сделают питьевую воду этого района совершенно не пригодной для употребления. Кстати, ученым известно, что в

районе шахт и тяжелой индустрии уровень смертности и заболеваемости населения чуть ли не вдвое превышает подобные же показатели, например, для Москвы. Можно не сомневаться, что одной из главных причин такой высокой заболеваемости является загрязнение окружающей среды. До сих пор наиболее загрязненным был район Кузбасса. Сведения о заболеваемости и смертности в этом угольном бассейне считаются настолько секретными, что Министерство здравоохранения отказалось дать специалистам, изучавшим вопросы, связанные с будущим КАТЭК, какие бы то ни было цифры по состоянию здравоохранения в Кузбассе.

Тем не менее, ученые представили чиновникам Госплана и соответствующего отдела ЦК партии данные, из которых было видно, что в КАТЭКе готовится новый Кузбасс с огромным числом потерь рабочих дней по болезни и другими серьезными проблемами здравоохранения. Перед чиновниками встал вопрос, как снизить загрязнение воздуха в районе гигантских угольных электростанций и сколько это будет стоить. В Соединенных Штатах для того, чтобы загрязняющие выбросы не превышали разрешенных стандартов, компании вынуждены затрачивать на очистные системы от 30 до 35 процентов всей суммы, предназначенной на строительство электростанции. Расчеты, сделанные в СССР, показали, что фильтры и другие очистные сооружения на станциях КАТЭКа обойдутся еще дороже, ибо американские станции работают на углях более высокого качества, чем катэковские.

Когда цековские и госплановские чиновники получили данные такого рода, они всерьез задумались. Но вовсе не о судьбе людей, которые будут страдать в зоне катэковских электростанций, а о финансовой стороне проекта. Стоимость каждой из запланированных гигантских станций, даже без очистных сооружений, определялась в 3-4 миллиарда рублей. Весь комплекс из 5-6 станций, плюс угольные карьеры, плюс дороги, плюс поселки, линии высоковольтных электропередач и т. п. потребуют не менее 30 миллиардов. Таких денег в бюджете страны не было в предыдущей пятилетке и, судя по

всему, они не появятся и в будущей. Так что шумную политическую кампанию вокруг КАТЭК пришлось быстро свернуть. Самое слово КАТЭК с начала 80-х годов исчезло из газетных передовиц. Сегодня в кратких заметках газеты сообщают лишь о том, что идет строительство одной из намеченных к возведению ТЭС – Березовской. Газеты при этом не сообщают, что, кроме этой ТЭС, во всем районе КАТЭК вообще больше ничего не строится. Даже дороги там не проводят, так что уже добытый уголь лежит горами, самовозгорается и нет возможности его вывезти.

И хотя «Литературная газета» сообщила своим читателям, что строительство электростанций на КАТЭКе «осложняется по чисто экологическим причинам», и поэтому-де «советские ученые разрабатывают технологию переработки углей на жидкое топливо» («Л. Г.» 9 мая 1984 г., стр. 11 – «Энергетика: что век грядущий нам готовит?»), на самом деле причина остановки строительства лежит в финансовых трудностях. Впрочем, замечено: когда денег нет, власти более благосклонно выслушивают предупреждения специалистов – экологов, медиков и тех, кто беспокоится за будущее сельского хозяйства. Тем более, что ссылка на экологические трудности позволяет хозяевам страны сделать вид, что они действительно заботятся о сохранении природы и здоровья народа.

С точки зрения чистоты окружающей среды, перегонка бурых углей на жидкое топливо была бы лучшим из возможных методов использования огромных ресурсов КАТЭК. Проблема лишь в том, что советским химикам до сих пор не удалось разработать технологию, подходящую для углей этого района. По сообщениям западной прессы, Советский Союз ведет переговоры с западногерманскими компаниями о закупке заводов по перегонке угля. При этом, СССР обещает расплачиваться с немцами произведенным синтетическим бензином. Я не уверен, что новый путь освоения углей Экибастуза будет оптимальным, даже если сделка с германскими фирмами состоится. Но уже то хорошо, что нашлись в СССР ученые, которые, исследовав серьезно ситуацию в районе

КАТЭК, постарались сделать все возможное, чтобы отговорить высокопоставленных чиновников от проекта, который бы привел к гибели многих тысяч квадратных километров территории страны. Сегодня за открытое высказывание своего мнения ученому уже не грозит тюрьма, но карьерой своей эти люди несомненно рисковали. И уже поэтому заслужили нашу благодарность. Увы, я все еще не имею права назвать по имени этих скромных героев, с помощью математических выкладок и физических экспериментов спасших немалый кусок родной земли.

Но почему же тогда не имели успеха те ученые, которые предсказали разорение Западной Сибири в результате развертывания массового строительства объектов нефтегазовой промышленности? Ведь они буквально засыпали Госплан СССР и ЦК КПСС своими письмами, предупреждая об уроне, который будет нанесен природе Западной Сибири в результате традиционно нерациональных методов освоения края. В частности, проведенные в Сибири исследования показали э к о н о м и ч е с к у ю нерациональность применения вездеходов в тундре, ущерб, который понесет от разлива нефти рыбное хозяйство края, а также леса и т. п. Как и отчеты по КАТЭКу, выводы ученых обсуждались в Госплане, в промышленном отделе ЦК партии и... были положены под сукно. Почему?

Насколько мне известно, перед началом исследований ученых из Института географии АН СССР и других институтов приглашали в Госплан, с ними беседовали по душам. В ту пору либерализм доходил до того, что ученым намекали на то, что да, действительно, есть в среде бюрократов люди, которые-де видят государственный интерес слишком узко, сиюминутно, забывая «о патриотической ответственности перед будущими поколениями строителей коммунизма» (в кавычках – дословный пример лексики аппаратчиков). Однако через год-полтора, при обсуждении результатов исследования, те же госплановские деятели и их цековские кураторы разговаривали уже совсем по-другому. Все их вопросы сводились к одному:

– Угрожают ли экологические последствия непосредственно разработке нефти и газа?

Ученые начинали говорить о разорении огромной территории, о последствиях, которые трудно предсказать, поскольку подобных воздействий на природу до сих пор не бывало за всю историю человечества... Хозяев, однако, интересовала лишь угроза самой разработке ресурсов и на сколько эта угроза увеличит стоимость строительных и прочих работ. По сути чиновники ничего не хотели слышать об уничтожении природы, поскольку уже получен был приказ из ЦК КПСС во что бы то ни стало дать газ для международной торговли.

В случае с КАТЭК в клубке обсуждаемых вопросов главный был – недостаток денег. Поэтому проект заморозили. Не будь этой финансовой проблемы, еще не известно, стали бы чиновники слушать ученых или нет. Скорее всего не стали бы. В случае же с газовыми месторождениями в Западной Сибири партийный чиновник повел себя так, как он обычно и ведет себя: его интересовал лишь сиюминутный выигрыш. Эти временщики слушали доклады о заболачивании почвы, о сведении лесов, об уничтожении оленьих пастбищ и рыбного стада, но интересовало их одно: на сколько процентов все эти ущербы удорожат уже запланированную сумму. Получалось, что разорение природы обойдется в 3-5 процентов сверх уже запланированного бюджета развития данного района. Ну, допустим, даже 10 процентов, ну и что?

– Да, но речь идет не только об ущербе сего дня, – настаивали ученые. – Если начнется заболачивание соседних с Западной Сибирью районов, если там наступит похолодание климата даже на один градус, это приведет к миллиардным убыткам в сельском хозяйстве, в промышленности. И это только тот ущерб, который можно выразить в рублях...

– На какое время вы прогнозируете быстрое разрастание болот и похолодание климата? – следовал вопрос.

Ни один из сделанных специалистами прогнозов не указывал на то, что катастрофа разразится в ближайшие 15-20 лет. Именно это и нужно было аппаратчикам. Разумеется, никто из них не произнес классической формулы:

«После меня – хоть потоп», зато они использовали выводы ученых для обоснования своей сиюминутной экономической политики. «Потоп – пожалуйста, но уже после того, как мы выкачаем из Западной Сибири нефть и газ».

Таков главный урок, который можно извлечь, изучая энергетическую политику СССР последних десятилетий. В выборе целей и средств чиновники партаппарата достаточно осмотрительны. И в том числе по отношению к экологическим последствиям их действий. Чиновник знает: степень риска (для его карьеры) должна быть проверена учеными и признана допустимой. Поэтому теперь на проверку денег не жалеют. Потоп? Ну что ж, и на это можно согласиться. Но потоп должен залить ту часть суши, которая им сегодня для их целей не важна или уже не нужна. Главное же – достижение сегодняшних целей. Урок страшноватый. Ибо не станем забывать, что в руках цековских деятелей находится не только нефтегазовая промышленность. Трудно ожидать, что логика их поведения будет иной, если речь пойдет не о Западной Сибири, а, скажем, о Западной Европе...



БАМ – дорога без конца

Эту стройку почему-то сразу же окрестили «Стройкой века». Возможно, потому, что в СССР любят все масштабное. Думающие люди в России порой невесело шутят: «Наши лидеры хотят оставить о себе память». Вероятно, и Брежнев мечтал о чем-то грандиозном, что могло бы всколыхнуть страну, оторвать людей от насиженных мест, заставить их забыть хоть на время о житейских проблемах – благо, русский человек легок на подъем, не привык к комфорту, живет надеждой: даст Бог, на новом месте сложится лучше, удачливей. Словом, в марте 1974-го года в Алма-Ате, где проходило торжественное заседание, посвященное 20-летию начала освоения целинных и залежных земель, Леонид Ильич и воскликнул: «Страна закончила одну стройку и начинает новую, подобной которой не знал мир!»

Тогда-то и прозвучало это набатное слово – БАМ. И одни засобирались в дорогу – одиночки и целые семьи, другие, кто поосмотрительней, решили выждать, а третьи... третьи схватились за голову. Это были изыскатели, проектировщики. Почему? Об этом немного позже. А пока маленький экскурс в историю.

О БАМе, верней, о железной дороге от Урала к Тихому океану говорили еще в прошлом веке. И, с точки зрения хозяйственной, она была нужна – Сибирь называли и тогда «подземной кладовой», и дорога стала бы к ней ключом, но нужна была России дорога и стратегически: рядом граница. Схлестнулись интересы военных – Генштаба армии и путейцев: первые ратовали за вариант

Транссиба, вторые предлагали «подняться» северней, обойти дорогой северную оконечность Байкала. Любопытно, что почти через сто лет вновь возникли противоречия между военными и хозяйственниками: на сей раз камнем преткновения стал вопрос о сроках начала стройки.

Так вот, спор в прошлом веке завершился просто: в 1889-м году снарядили экспедицию во главе с картографом Николаем Волошиновым, с задачей составить заключение – можно ли обогнуть Байкал железной дорогой с севера, примерно, около Нижнеангарска. Три месяца работала экспедиция и дала отрицательный ответ. Вариант Транссиба победил. Спустя почти век опять военные – в частности, покойный маршал Захаров, в те годы начальник Генштаба, – вспомнили о БАМе, ссылаясь на интересы безопасности. Им робко возразили хозяйственники – мол, рано начинать, нужны проекты, нужны рабочие руки, нужны средства, наконец.

Военные тянули в свою сторону, хозяйственники – в свою. И вновь его величество Случай решил спор: в 1965 году на коллегии Совмина СССР слушался вопрос о том, каким образом доставлять нефть и газ из Сибири в страны Тихоокеанского бассейна. Предполагалось построить нефтепровод и газопровод. Тут кто-то вспомнил о БАМе, и А. Косыгин спросил министра транспортного строительства СССР: «В какую сумму обойдется строительство железной дороги?» О чем думал 75-летний министр, до того мирно дремавший на заседании, когда назвал цифру – 4-5 миллиардов рублей, сказать не могу. Однако старичка выслушали, повесили на грудь Звезду Героя Соцтруда и отправили на покой, на пенсию. Но цифра осталась, за нее ухватились – это же недорого! И уже в 1967 году проектно-изыскательные институты «Томгипротранс», «Сиб-», «Лен-», «Мос-», и «Дальгипротранс» получили задания на отработку отдельных участков будущей трассы.

Получить-то задание получили, а вот финансирование работ было мизерно, о конкретных сроках никто и не заикался, привязки к местам, где к тому времени нашли залежи полезных ископаемых, – к примеру, Удоканское

месторождение меди, – изыскателям и проектировщикам не дали: государственная тайна. Вот и трудились они ни шатко, ни валко, понятия не имея – понадобятся ли их планы, а если понадобятся, то когда. И вдруг заявление Брежнева о начале новой стройки. И схватились изыскатели и проектировщики за голову. Но уже зашлись в крике журналисты радио и телевидения, запестрели лозунгами и призывами страницы газет, уже первые лекторы, успевшие покопаться в архивах, выступали перед аудиторией, уже где-то наверху кто-то делил на карте трассу будущей железной дороги на участки: каждый из них должен был получить шефа в лице той или иной республики.

А в республиках уже создавались отряды из добровольцев. С песнями, речами, с музыкой и слезами провозжали на БАМ тех, кто горел жадной подвига и романтики. Охотно ехали азербайджанцы и белорусы, не очень-то спешили молдаване и казахи, и уж вовсе не торопились латыши, литовцы, эстонцы: им в своей стороне спокойней. Но кампания набирала силу, призывы звучали все громче, напоминая команды, окрики. И собирались в дорогу прибалтийцы, большинство рассчитывая через год-другой вернуться обратно.

Первые лекции, они вбирали все – и экспедицию Волошинова, и проекты француза Лоика де Лобеля, жившего в начале века в России и предлагавшего пройти железной дорогой от Красноярска до Магадана, – это один проект, а другой предусматривал продолжение трассы от Магадана до Аляски, а Берингов пролив француз предложил одолеть тоннелем. В первых лекциях рассказывалось о шуме, поднятом газетами в конце 20-х годов, когда вновь вспомнили о варианте БАМа, и довольно скупое о том, что первые рельсы были уложены еще в 1934 году, что от разъезда Бам на Транссибе в сторону поселка Тында протянули узкоколейку и к 1941-му году почти 170 километров трассы были готовы.

Скупое, потому что строили эту дорогу люди разных специальностей: преподаватели, ученые, инженеры и т. д., но все – бывшие, то есть заключенные, приписанные к Управлению строительства «БАМЛАГ». И уже вовсе ни

слова в лекциях, что техно-рабочий проект БАМа был подписан еще в 1946 году и никем иным, как Л. П. Берия. Ни слова не только потому, что об этих вещах в Союзе вспоминать не принято, еще и потому, что проект 46-го был тайной за семью печатями. О нем не то что лекторы, копавшиеся в архивах, но изыскатели и проектировщики, получившие в 1967-м году задания на отработку трассы, не знали.

Мне довелось встречать в Тынде и Сковородино людей, в 30-е годы работавших на строительстве узкоколейки – никто из них не знал за собой никакой вины. Они охотно вспоминали о тех днях – с мудрой печалью старости. Вначале я не мог понять – исковерканная жизнь, но ни слова обиды, потом вдруг осенило – да ведь это их молодость, горькая, израненная, но только их. Боль ушла, осталась печаль. Время зализало раны, смирило и покорило этих людей. Научившись довольствоваться малым, они уже не мечтают, они лишь хранят воспоминания.

Однажды ночью, зимой 1975 года, в поселке механизаторов, что расположился на берегу якутской речки с поэтическим названием Золотинка, я услышал песню. Ночь была удивительно хороша: мороз тянул за тридцать, черное высокое небо – сплошь в звездах, ни ветерка, и тишина такая, что слышно, как похрустывает снег от мороза. И вдруг песня – чистая, щемяще-грустная, она, как ночь, плыла куда-то к гольцам и там терялась... Я застыл, очарованный.

– Тесля поет, – сказал начальник мехколонны треста «Бамстроймеханизация» Лукьянчиков. Сказал и тоже заслушался, и лишь когда последняя нота отзвучала, предложил: – Пойдем, поговоришь с человеком. Судьбе его не позавидуешь, а он – поет.

Так я познакомился с Иваном Теслей, молдаванином, прошедшим всю войну, закончившим ее двадцати четырьмя годами от роду в звании капитана, с орденами и медалями в три ряда на груди, и в один день потерявшим всё, получившим взамен двадцать лет ссылки в Якутию.

– Да, было то в Бухаресте. И девушка была хорошая...
– Рассказывал он и замолкал, смущенный вниманием, а

еще, вероятно, вновь подавленный бедой, свалившейся неожиданно-негаданно, когда, спасая девушку от пьяного офицера-румына, оттолкнул его руку с пистолетом. – И румын стрелил в себя...

Остальное рассказал уже Лукьянчиков. Как был суд трибунала, как вынесли приговор – румыны-то в конце войны стали союзниками. Рассказал, как однажды в контору мехколонны – она еще только начинала обустроиваться – вошел этот человек, сел перед ним, начальником, и выложил все. Сказал, что нет сил уехать из Якутии, да и куда ехать: столько лет прошло. Просил лишь об одном – взять его на работу. А у Лукьянчикова приказ: никого из тех, кто сидел, отбывал ссылку, не брать. Лукьянчиков взял Теслю, потом несколько раз ему за это «вправляли мозги», но он не уступил, и Тесля работает.

Но я забежал несколько вперед. А тогда, весной 1974-го, клич подхватил комсомол: стройку объявили ударной, комсомольско-молодежной, туда стали звать всех, обещая различные блага. Казалось бы, доброе дело – молодым специалистам есть где применить полученные знания, расти не только профессионально, но и по служебной лестнице, у тех, кто еще не определился в жизни, есть возможность наконец-то обрести устойчивость; тем, кто еще ничего не умеет, помогут выбрать профессию: огромная стройка – масса специальностей.

Но когда от слов переходят к практике, тут-то и не стыкуются, не сходятся концы с концами. Думаю, привычка кричать о великом, масштабном расходится с заботой о человеке: он становится неразличим в огромной массе. Ну, не получится у одного, десяти, тысячи – и что из этого, дело-то огромное, потери неизбежны. Все то же старое: «Лес рубят – щепки летят». И летят – судьбы человеческие.

Нас с детства приучали к «масштабности наших планов и свершений». Кто это усвоил – и добавил еще необходимые компоненты, – тот наверху, а кто задумался, попытался осмыслить – тот отстал, и судьба его не вписалась в масштабность дел и задач.

Когда я говорю о других компонентах, то имею в виду способность улавливать момент и приспособливаться к

нему. И тут уже не до таких понятий, как честность, доброта, порядочность. Тут уже, как говорится, или в гору, или под гору.

Володя Мучицын жил и работал в Дзержинске под Горьким. Было ему в 1974 году около тридцати, член партии, бригадир строителей-монтажников. Сам вызвался возглавить коллектив, почти сплошь из вчерашних выпускников профессиональных училищ. Вроде бы, не самый удачный выбор: ребята молодые, неопытные. Но когда я познакомился на трассе с Мучицыным, когда немного его узнал, то понял – в том, что он взял бригаду из неумельцев, был расчет. Научит – ему честь и хвала, а нет – значит, сами не захотели стать мастерами. С него – и спрос невелик, и план большой не накидывают.

Когда заговорили про БАМ, Мучицын, как опытная гончая, учуял след. Пробил его час. На сомнения и размышления времени не тратил. Собрал молодых, в двух словах о железной дороге сказал, о льготах, о романтике. Краем уха он слышал, что тем, кто завербует по комсомольской путевке на БАМ, дают отсрочку от службы в армии. И подопечные Мучицына не раздумывали: письмо в обком комсомола – всей бригадой едем на стройку века.

И закрутилось колесо. «Почин бригады Мучицына!» «Молодые строители ищут подвига!» Мучицын дает интервью, выступает, заверяет. Короче, когда на XVII съезде комсомола формировали отряд добровольцев на стройку, то вполне закономерно: Владимир Мучицын – бригадир, призвавший на магистраль своих молодых друзей, коммунист, – стал комиссаром этого отряда. Шестьсот человек прямо со съезда отправились на вокзал, и поезда повезли их за романтикой и наградами, а кого и за смертью – такова жизнь.

Ехали долго. На станциях митинговали, пели, плясали, звали следовать своему примеру – ждем вас на БАМе. В дороге, запершись в купе, пили «бормотуху», тискали в тамбурах девочек, при случае – лезли к ним в постели. Девочки не очень-то манерничали – понимали: и это тоже входит в программу, имя которой – Романтика. В мае добрались до Тынды, и половина отряда, во главе с Мучицыным, осталась строить будущую столицу БАМа, другая

половина во главе с Виктором Лаковым отправилась дальше – на Западный участок – строить поселок на берегу говорливой Таюры...

Я еще вернусь к рассказу о Мучицыне, поведаю и о новом поселке на берегу Таюры, пока же хочу рассказать, как сам познакомился с трассой. В 1972 году я работал в газете в Новосибирске. В числе моих авторов был и некий Евтушенко, в то время заместитель управляющего трестом «Сибтрансстрой». Он-то мне и сказал однажды:

– Послушайте, а почему бы вам не поехать на БАМ, не написать о наших людях, которые там работают?

Евтушенко же обещал устроить командировку за счет треста, дабы газета не тратила деньги. Механика здесь простая: меня оформляют рабочим одной из мехколлн.

С этой заманчивой идеей я и пришел к шефу. Тот долго не мог вникнуть, о такой железнодорожной трассе он не слыхал. Я притащил карту и тыкал карандашом в то место, где должен был вырасти поселок Тында. Карандаш подминал почти всю Амурскую область. Наконец, шеф уразумел, куда я собираюсь, и порекомендовал мне зайти в Обллит, так в Союзе называют цензуру.

– Чёрт ее знает, что за стройка, – сказал он, – возможно, и закрытая.

В Обллите искали-искали в своих талмудах, куда-то звонили, но ответа не дали: среди объектов, разрешенных к упоминанию в открытой печати, БАМ в 1972 году не значился.

– Но мы выясним, – пообещали мне, – и непременно сообщим.

И действительно сообщили: ни слова об этой стройке. Почему? Ну, в Союзе немало объектов, о которых газеты молчат. Но при чем здесь БАМ? Как потом узнал, дорога должна была выйти к Нерюнгри – поселку в Якутии, где нашли крупнейшее месторождение коксующегося угля. Южноякутским углем очень заинтересовались японцы и предложили Союзу вариант: технику на строительство дороги, на разработку месторождения даем мы, взамен – уголь. Так называемая концессионная стройка,

а потому – закрытая. Чтобы не было у советских людей лишнего повода говорить: опять добро разбазариваем.

Таким образом, только через два года, в июне 1974-го, я впервые попал на БАМ, на его Центральный участок.

Одно географическое отступление: БАМ – это трасса от Усть-Кута, города в Иркутской области, порта на реке Лене, длина этой трассы – 3145 километров. Но есть еще так называемый Малый Бам. Он начинается от разъезда БАМ на Трассибе, идет на Тынду и далее на север к Чульману, к Нерюнгринскому месторождению угля. Это еще около четырехсот километров. Вот и поделили трассу: на Западный участок – от Усть-Кута до поселка Чары; от Чары до Тынды, включая Малый БАМ, – Центральный участок; и от Тынды до Комсомольска-на-Амуре – Восточное крыло магистрали.

Говоря откровенно, БАМ – это действительно грандиозная стройка. Одних мостов, мостовых переходов должно было быть возведено около тысячи, а общая их стоимость оценивалась более чем в миллиард рублей. БАМ должен был стать ключом к Нерюнгринским запасам угля, к Удоканскому месторождению меди, а еще золото, асбест, лес, тысячи гектаров пахотных земель... Уже в 1985 году Союз должен был по концессии довести поставку угля из Нерюнгри в Японию до пяти миллионов тонн.

У якутов есть легенда. Когда танара (бог) создал землю, вздумалось ему собрать в мешок драгоценности, полезные ископаемые, и полететь над своим детищем, посмотреть, каким оно получилось, а заодно и богатства раскидать. Долетел он до Якутии и так замерз, что мешок выронил. И собрана в земле Якутии – вся «таблица Менделеева». Щедра, однако, не только якутская земля, но и бурятская, и Чукотка...

Итак, был июнь 1974 года, стояло знойное сибирское лето – температура днем до 30-35 градусов. Было утро, когда я сошел с поезда на станции Большой Невер, он же в просторечье – Пьяный Невер, – вероятно, потому, что здесь редко можно встретить трезвого. Впрочем, в тот день их было полным-полно. Маленький вокзалишка,

все площадки вокруг – все было завалено вещами, чемоданами, рюкзаками, возле них сидели и лежали люди, многие с детьми.

Страна позвала их строить новую дорогу – и они поехали. Но оказалось, что стройка не готова их принять: нет фронта работ – сверху не спущены фонды, нет жилья – для кого оно, если нет фондов на рабочую силу, нет техники. И люди обживали вокзал – не ехать же за тысячи километров обратно. Это было лишь начало той платы, в которую оценивается в Союзе желание генсека оставить по себе память. Подобное тому, что я увидел в Большом Невере, происходило и в Усть-Куте, и на станции Сковоородино, и в Тынде: тысячи людей тыкались повсюду в поисках крова и работы...

Владимир Мучицын напомнил о себе сразу же и громко. На одном из деревянных зданий Тынды, а именно – управления «БАМСтройпуть», висела «молния»: «Бригаде Мучицына недодали сегодня 1000 штук кирпича». Рядом – еще одна: «Бригада Мучицына сорвала выполнение обязательств. Причина: простои, потому что нет кирпича». Других «молний» не было, будто в Тынде работала лишь бригада Мучицына.

При упоминании этой фамилии управляющий «БАМСтройпути» А. Мокровицкий вначале усмехнулся, потом подошел к двери, выглянул в коридор, будто удостоверился, что нас не подслушивают, и вздохнул:

– Что я могу сделать. Ведь Мучицын – комиссар отряда имени XVII-го съезда комсомола. За ним – штаб, комсомольский штаб стройки.

И мне было понятно бессилие управляющего головной организации – генерального подрядчика, по существу, хозяина стройки: где начинается политика, кончается экономика. И никого уже не волнует, что бригад, подобных мучицынской, под началом Мокровицкого сотни, что они тоже недополучили кирпич и сорвали выполнение обязательств. Я отлично знаю, что политика и есть концентрированное выражение экономики, но здесь речь о другом: о том, как делают в Союзе «маяков», которые должны стать примером для других. Выбор пал на Мучицына, и управляющий был бессилен что-либо изменить.

Хотя знал многое. Ну, скажем, то, что обманул комиссар своих подопечных еще в Дзержинске: ни обещанных заработков, ни освобождения от армии. Но не это главное. В Дзержинске бригада Мучицына называлась – монтажники; монтировали пролеты цехов, зданий и т. п. Никто из подопечных, – впрочем, как и сам бригадир, – не владел профессией каменщика, кладку никогда не вели. Переучивать ребят? На это нужно время.

И Мучицын нашел выход. Народу в Тынду понаехало много, специалисты есть, в том числе и классные каменщики. И Мучицын стал одного за другим выпихивать из бригады тех, кого привез из Дзержинска. Вскоре почти всех выпихнул – какая уж тут комсомольско-молодежная бригада, если новичкам за тридцать, а то и за сорок. Об этом знали все, в том числе и представитель штаба ЦК ВЛКСМ на стройке, но делали вид, что не ведают. А Мучицын не стеснялся: он-то знал – зачем приехал. За деньгами, за славой. В конце концов он получил свое: и деньги, и орден.

Ну, а те двенадцать молодых ребят, обманутых им, обманутых комсомолом, разочаровавшихся и вновь отправившихся искать свою дорогу? Как же они? Кто-нибудь ответил за такое начало их жизни? Никто. Впрочем, их всего лишь двенадцать...

А лес рубили с лихой удалей, с азартнейшей бесшабашностью. Комсомол на местах набирал добровольцев: анкеты – любо-дорого, специальностей – две или три. Путевки подписывали быстро, спущенный план выполнялся. Да только приезжали путевочники и оказывалось: шоферские права они получили на курсах ДОСААФ – опыта никакого; слесарями трудились по 2-3 месяца; деталь в патроне на станке зажать – учились, со стороны гляючи. И хватались за голову начальники: дашь такому машину – он ворота, выезжая, своротит; в мастерские пошлешь – гляди, себе палец, а то и руку отхватит. И выгнать нельзя – по путевке прибыл.

Придумывали им профессии – столяр-автослесарь – и посылали копать траншеи под коммуникации или фундаменты в мерзлом грунте, платили аккордно – по сто рублей, надеялись: не выдержать путевочник, через месяц-

другой сбежит. И те бежали, а начальство радешенько – специалистов в изобилии на вокзалах. В мае в Тынде было триста бойцов отряда имени XVII съезда ВЛКСМ, я приехал в конце июня – их насчитывалось чуть больше ста. И это тоже плата...

А что же другая половина отряда, те бойцы, которые поехали на Таюру? Они тоже доехали. Началась благодатнейшая пора – сибирское лето: щедрое на тепло, на таежные ягоды, на рыбу в холоднейших речушках, на зверя. Бойцы обалдели – красота, изобилие. Настоящая романтика. А тут еще палатки дали – пока в них жить можно. Ну, чисто – турпоход где-нибудь в Подмосковье. И веселые, полупьяные от густого, чистого воздуха, шатались бойцы от сопки к сопке, но особенно к одной привязались – ее назвали сопкой Любви. Тут, в густых зарослях, вершили молодые святое таинство, – как древнегреческий герой, черпая силы для сладостных утех у мягкой земли.

Пошла пора свадеб – так похожих на игру. На поляне накрывают стол. Привозят невесту в окружении подруг. Жених со товарищи – плот вяжут, приплывают на нем по Таюре к месту торжества – гуляют свадьбу, комсомольско-молодежную. Пройдет время, не уживутся молодые – разойдутся в разные стороны, свадебный обряд – все та же дань Романтике.

Тем временем начальство на Западном участке думало-гадало – какое дело найти бойцам-путевочникам. Решили – одни будут просеку рубить, другие займутся строительством жилья. Начальство хоть и не очень четко, но все же представляло – лето в здешних краях уложится в три-четыре месяца, и сразу грянет зима.

Понимать-то оно понимало, да сделать ничего не могло. Поезда со щитами, из которых домики собирают, еще то ли грузятся, то ли в пути; ни моста, ни надежной переправы через Таюру к поселку у сопки Любви нет – грузы можно доставлять только вертолетами. А грузов нужно много: и почта – путевочники писали по 20-30 страниц и почти ежедневно, – и пища, и техника, и движки-генераторы, и палатки. Словом, многое нужно успеть...

Успели только название дать поселку: на одном из многочисленных собраний единогласно решили – пусть будет Звездный. К осени все же забросили в поселок несколько сот щитов, сколотили общежитие да десятка два домов для тех, у кого дети, но в первую очередь – клуб. Вот и все, пожалуй. А тут и красавица-зима подошла, на улице под сорок закручивает, а в палатках и деревянных домиках вода в бачках за час превращается в лед.

Правда, через Таюру наладили зимнюю переправу, по ней срочно повезли теплую одежду, энергоблоки, балки, щиты для домиков – хоть деревянные, но все же не палатки, где спят в одежде, в шапках, потому что как не наденешь шапку – утром волосы или к подушке или к стенке палатки примерзнут. Холод гнал на работу: быстрее-быстрее-еще быстрее. Поставили столовую, у подножья сопки Любви протянули улицу деревянных домиков, приспособили один под магазин, в нескольких вагончиках оборудовали учебные пункты – все наспех, тяп-ляп, абы сегодня обошлось.

Во время перекуров или отдыха ругали начальство за головотяпство, грозились уехать – хоть и понимали, что никак отсюда до лета не выбраться, проклинали тот день и час, когда соблазнились призывом ехать на стройку века. Днем согревались работой, по ночам мерзли и посылали куда подальше бригадиров и начальников. Ждали приезда Тяжельникова – слух прошел, что посетит он Звездный, хочет познакомиться с житьем-бытьем путевочников.

Слух стал подтверждаться, когда по зимнику поползли бульдозеры, ровняя дорогу, когда прогрели несколько раз клуб. И однажды прикатили в Звездный черные «Волги» и «УАЗики», подкатили к клубу и посыпалось из машин начальство: и усть-кутовское, и иркутское, и московское. Радостно-удивленно оглядывалось оно, дивясь на сопки, на тайгу, на поселок – белый под ослепительно-чистым снегом, одобрительно гудело, показывая на клуб, захлебывалось и пьянело начальство и от воздуха, и от принятого коньячка.

А к клубу спешили поселковые – в одиночку и с детьми. Многое накипело, есть что сказать начальству, есть

о чем спросить – когда же на этом курорте смогут жить, как люди, ведь не тридцатые же годы.

В клубе накрыли стол скатертью, усадили начальство. Раскраснелось оно, разговелось начальство – шубы и шапки снимали, жарко в клубе, хорошо топят. Поселковые, втискиваясь в зал, тоже млели от тепла, оттаивали, плохо слушая, что там толкуют со сцены, да и так знали – о планах, о задачах.

Когда же опомнились поселковые, потянулись со своими вопросами, жалобами, просьбами, уже и поздно было: начальство поднялось – впереди первый секретарь ЦК ВЛКСМ, – и улыбаясь, направилось к машинам. Пока толпа из зала выдавливалась, машины взревели и покапали по укатанному, посыпанному гравием, зимнику.

Человек ко всему привыкает. Постепенно обживались в поселке Звездный. Дни считали – скоро весна. Втягивались в работу – все дальше в тайгу уходила просека, все больше деревянных домиков у подножия сопки Любви выросло. В иной вечер в клубе даже кино показывали, а тут еще библиотеку оборудовали – там, по вечерам, зачастую свет был.

Я прилетел на Западный участок в конце апреля 1975 года. И вот удача – мой старый знакомый по Новосибирску, Евтушенко, теперь – управляющий трестом «Зап-БАМстроймеханизация». Предложил лететь на вертолете в Звездный. Положение там аховое, Таюра разлилась и вот-вот затопит единственную посадочную площадку. Зимник уже не работает, моста нет. А в поселке более пятисот человек. Как их снабжать?

Летели недолго, зато долго кружили над Звездным, пилот не решался сесть: площадку вот-вот смоем, – но все же посадил вертолет. Картина, которую мы увидели, была безрадостной: поселок тонул в грязи. С сопки Любви грохотали, стекая, мутные потоки – забыли сделать отводные канавы, и дома, клуб, столовая, библиотека – все чуть не до окон плавало в красноватой жиже. Машины месили ее, натужно рыча, вязли в ней и стихали, дожидались трактора. Вокруг домиков плавали мусор, бутылки из-под вина и «бормотухи» – выходить не хочется, и все это выбрасывается в окно.

Из домика вышел парень, тоскливо огляделся вокруг, равнодушно глянул на нас, прыгавших с одного сухого места на другое, и, отвернувшись, прямо с крылечка начал мочиться. Оно и понятно, дощатые туалеты едва не под потолок заполнены дерьмом – проделки вечной мерзлоты.

В Союзе любят говорить, мол, трудности закаляют человека. Не подменяем ли тут понятия? Ведь есть культура – и человеческого общения, и труда. Парень, выбрасывающий мусор в окно, живущий в грязи, постепенно привыкает к ней, он и не заметит, как из сферы бытовой эта грязь проникнет в сферу общения. И будет нормальным выругаться матом при детях, напиться до потери пульса и валяться под забором, зайти по малой нужде в подъезд любого дома... И это тоже плата – за желание одного стать вехой в истории.

Год прошел, первый год большой стройки. Бравурные аккорды в речах, в материалах радио, газет, телевидения поутихли – и зазвучали тревожные нотки: забеспокоились экономисты, ученые. Первые спросили: откуда взялась цифра 4-5 миллиардов рублей, которых будто бы хватит на строительство БАМа? Им ответили, что исходили из расчета – 800 000 – 1 200 000 рублей на обустройство и возведение одного километра трассы. Экономисты показали другие цифры: за первый год расчетная стоимость занижена вдвое.

Ученые спросили: кто-нибудь пытался предсказать, как поведет себя вечная мерзлота в условиях интенсивного строительства, когда вырубаются сотни гектаров леса, когда создаются водохранилища, ГЭС, заводы? Не изменится ли температурный режим погоды в этих местах и не станет ли вечная мерзлота врагом? В ответ лишь разводили руками – никто об этом не думал, никто еще год назад и слышать не слышал о БАМе.

Тут, вероятно, требуются пояснения. По поводу вопроса экономистов. БАМ собирались строить – по-новому. Никаких притрассовых дорог – это дорого. В тайге создадим вдоль магистрали поселки, все необходимое будем забрасывать туда вертолетами. Это дешевле? А кто знает – времени не было считать варианты. Его не хватило даже

на то, чтобы разработать проекты насыпей, мостов, поселков. И последовало волевое указание: строить без утвержденных техно-рабочих проектов. К чему это привело? К неразберихе, к удорожанию, к переделкам.

В мае 1975-го управляющий трестом Мостострой-9 Иван Рассказов обрывал телефоны, пытаясь дозвониться то в Томск, то в Тынду, то в Москву. В Томск, потому что проектировщики «Томгипротранса» еще в апреле должны были выдать чертежи моста через реку Киренга. Мост большой – свыше четырехсот метров, и по плану Мостострой-9 должен был приступить к работе по возведению его в начале 1976 года. Но сначала необходимо заказать конструкции, это требовалось сделать в первой половине 1975-го. А как закажешь, если проектировщики прислали телеграмму: «Проект пока не утвержден»?

Звонит Рассказов в Тынду – там сидит генеральный заказчик, дирекция БАМа, орган МПС, он платит деньги, он и должен требовать проект. Рассказов спрашивает, как быть, под какой мост заказывать конструкции – под четырех- или пятипролетный? Отвечают – «понятия не имеем» и напоминают о сроках, об ответственности за их срыв. Звонит Рассказов в Москву – там и его начальство, и «ГлавБАМстрой», но и оттуда лишь указания. И решает Рассказов на свой страх и риск – заказывает конструкции под четырехпролетный мост. Проект будет на пять пролетов? Что ж, придется выкручиваться.

Петух прокукарекал – и уж неважно, взойдет ли солнышко. О стройке века сначала объявили, а потом задались вопросом – где взять технику? Бульдозеры для вечномерзлого грунта, машины большой грузоподъемности, экскаваторы, способные трудиться при минус пятидесяти, бурильные установки для разработки скважин под опоры мостов и для проходки тоннеля? Кроме того, где хранить технику – не под открытым же небом? Где ее ремонтировать? Во всю полноту вставала картина абсолютной неподготовленности к строительству.

Отечественные машины – самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, буровые установки – в условиях зимы тут же выходили из строя. Спасало лишь то, что на трассу вышли «Магирусы» производства ФРГ, японские бульдо-

зеры и экскаваторы фирмы «Комацу», американские бульдозеры «Катарпиллары». Но и они изнашивались быстро – ухода никакого, а стремления выжать все, да заработать побольше – хоть отбавляй, и эксплуатировали технику нещадно.

Порой неразбериха оборачивалась полнейшим идиотизмом. Мехколонны, мостовики строили свои поселки, и каждый старался «утереть нос» другому – мой клуб лучше, мой магазин лучше, моя столовая лучше. И вот уже объявляется конкурс на самый лучший детский сад на трассе, на школу, на клуб. А лес распиливали на пиломатериале в Усть-Куте и вертолетами везли сюда, воистину глупость не имеет границ: в тайгу тайгу везли. Фотографии одного такого «конкурсного» поселка напечатали в газетах, о нем вздох рассказывали по радио, его показывали по телевидению. А потом шум разом стих. Оказалось, поселок, на который ухлопали более миллиона рублей, построен не ко времени: дорога туда придет лишь года через два. Людей из поселка вывезли, а все, что построено? Так улетали, превращаясь в прах, миллионы. Это уже конкретная плата.

Щедрости русского человека можно удивляться, ею можно восторгаться, но понять, как можно выбрасывать на ветер миллионы и жить в нищете, – этого понять невозможно. Судьбе угодно было забросить меня на Байкал в городок Нижнеангарск. История его давняя, здесь учили население грамоте еще ссыльные декабристы, поляки – участники восстания Тадеуша Костюшко. Но не о том речь. Приехал я туда, чтобы повидаться с посланцами Ленинграда, организовавшими отряд «Комсомолец Ленинграда». Гостеприимные хозяева повели меня знакомиться с поселком, который они строят рядом с Байкалом. Места, нужно сказать, дивные. И вот подошли мы к длинному, барачного типа, деревянному зданию – общежитие на пятьдесят квартир для семейных. Скоро заселяем, объяснили мне. Рядом – еще одно такое же, уже готовое, еще два возводятся.

Зашли в квартиру – и я рот разинул от изумления: маленький туалет, а в нем дефицитнейший финский унитаз и сливной бачок – таких в Ленинграде днем с огнем не

сыщешь, достать можно лишь по великому благу. Рядом с туалетом ванная и там ванна. Ну, дела!

– Вы что, канализацию подвели? – обалдело спрашиваю у хозяев, ведь такого и в столице БАМа, Тынде, не видел в квартирах большого начальства.

– Какую канализацию? – удивились, в свой черед, хозяева. – Ее разве проложишь в проклятой мерзлоте? У нас туалеты, как везде, – на улице и деревянные.

– А это зачем? – показываю на унитаз и ванну.

– Это? – усмеваются хозяева. – Так в ванне огурцы или капусту солить можно, а в унитаз банки поставить, бутылки.

И объяснили:

– Проект такой разработали – квартирка с ванной и с туалетом. Потому дефицит и прислали. Мы хотели было проект изменить: уберечь ненужные ванны, туалеты – еще десяток квартир в доме будет. А с жильем, сам знаешь, проблема. Но нам запретили менять. Тут как раз прибыли бачки сливные, ванны, унитазы – что с ними было делать? Поставили.

За разбазаривание государственного имущества судят. На БАМе разбазаривались миллионы – и нет виновных. Не судить же тех, кто первые прокукарекали, – они у власти. И завопили экономисты – дорого БАМ достается. Их поправили – масштабность задач, свершений. Но говорить, во сколько миллиардов обойдется магистраль, запретили. В огласке не подлежащих документах для служебного пользования мелькнула цифра: до 2000-го года потребуется для освоения зоны Байкало-Амурской магистрали около 50-ти миллиардов рублей. На том и успокоились.

Ну, а с учеными, которых волновали проблема Байкала, или как поведет себя вечная мерзлота, было и совсем просто: несколько статей проблемного характера в «Литературке», в других газетах, несколько противоречивых официальных ответов, комментарии к ним, словом, небольшая дискуссия – и пар выпущен. Кроме того, несколько институтов занялись вопросами развития и освоения зоны БАМа – к примеру, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР заинтересо-

вался вопросом: как скрестить яка с коровой и получить гибрид, способный весь год в условиях Сибири жить на подножном корму и давать молоко. Или, скажем, дикую свинью одомашнить до такой степени, чтобы жила в простейших помещениях и набирала вес.

Экологи судачили о том, как скажется на климате Якутии, Бурятии создание каскада гидроэлектростанций на Зее, Бурее, Витиме, Вилюе и образование искусственных водохранилищ. Какие изменения последуют, когда заработают вдоль трассы леспромхозы, заводы по переработке железной руды, металлургические комбинаты.

Дело в том, что трасса проходит по местам, где среднегодовая температура ниже нуля. И это способствовало сохранению вечной мерзлоты. То есть, сверху сколько-то почвенного покрова, а дальше слой льда. И летом стоит трактору развернуться резко, сорвать дерн, как через день-другой земля в этом месте начинает проваливаться – подтаяла вечная мерзлота, поскольку нарушился тепловой режим. А ведь полотно БАМа отсыпали таким образом, чтобы вечная мерзлота стала своеобразной «перинной», т. е. работала.

Нужны были точные расчеты, различные модели, нужны были длительные исследования. А времени – не было. И пока строили наощупь, по старому принципу – авось, обойдется. Но все же спешку прекратили – сроки ввода в строй магистрали отодвинули. Если поначалу планировали в 1983 году открыть рабочее движение по всей трассе, а на следующий год полностью сдать дорогу в эксплуатацию, то затем, незаметно, эти даты ушли в небытие и появились новые – 1985-й и 1986-й. Лишь на Малом БАМе осталось по-прежнему – тут были концессионные обязательства перед Японией.

Ох, уж эти дороги Бурятии и Якутии! Их не так и много, а содержать их в более или менее нормальном состоянии все одно некому. Тянутся они на сотни верст по безлюдным местам, то взбираются на перевалы высотой до 1800 метров, то срываются вниз – и тут гляди в оба: крутой поворот или выбоины – закувыркается машина под откос. В декабре 1975-го карабкался на перевал вахтовый «КрАЗ-214», вез в кузове восемнадцать человек, да в ка-

бине, кроме шофера, сидели еще женщина и мужчина. До Тынды оставалось километров пятнадцать, мороз был – градусов 30-35, и шофер торопился – потому как темно. Вдруг почувствовал, что машину сносит в сторону обрыва и рулевое управление отказывает. Он еще пытался что-то сделать, удержать машину на дороге, но она скользила и скользила и наконец закувыркалась по откосу.

Потом подсчитали – «КрАЗ» сделал шестнадцать оборотов, пока не остановился. На каком-то обороте дверца, где сидела женщина, открылась, и женщину выбросило. Что испытали остальные – сказать не могу. Но все остались живы, отделавшись переломами и ушибами. Счастливый случай – снег был глубокий, а тех, кто сидел в кузове, защитили еще и металлические дуги, на которые натягивается брезент.

Срочно создали комиссию, тем более, что уже до этого на трассе столкнулись «ЗИЛ-130» и бензовоз, оба загорелись, и в этот костер третьим влетел «МАЗ»; было еще несколько трагедий на дорогах. Комиссия и занялась выяснением причин – кто виноват в происшествии с «КрАЗом». Поначалу грешили на шофера, затем пришли к выводу, что лопнули от мороза рулевые тяги. На мороз и списали несчастный случай; благо, никто не погиб.

Списали, хотя установили, что тяги перед выездом «КрАЗа» на трассу сваривали – и сварили из рук вон плохо – в месте сварки они и лопнули, – что машина вторую зиму стоит под открытым небом, и отказать могла любая деталь в любой момент. Но если начать настоящее расследование, то можно зайти слишком далеко.

Ну, скажем, такой вопрос: почему машина вторую зиму стоит не в гараже? В общем-то ответ прост: нет гаража. Тогда возникает другой – почему нет? Семь-восемь месяцев в году места, где парковали технику – грузовые машины, трактора, бульдозеры, – по утрам напоминали стоянки древних скифов или татар – костры, костры. Разогревали промерзшие двигатели, мосты, а когда не было костра, в ход шли паяльные лампы. Чтобы таким образом подготовить машину к поездке, уходил час, а то и больше. Я уж не говорю о том, насколько сокращается срок службы техники, когда ее содержат в подобных

условиях. Где уж тут говорить о качестве ремонта, хотя бы – о качестве сварки.

Проведя совещания на различных уровнях, издав грозные приказы, рекомендации, наставления, раскидав направо и налево выговоры, строгие выговоры, дав ценные указания и отметив все это банкетом закрытого типа, комиссия отбыла восвояси. Пострадавших поместили в больницу, где они постепенно приходили в себя. Все во имя человека, все – на благо человека. Забота проявлена, выплата по больничным листам будет произведена, а что касается условий труда и жизни, то стройка только начинается, пройдет время – все наладится.

Была и еще одна причина аварий на дорогах БАМа – не готовы оказались они принять то количество техники, которое затребовала стройка. Мощные «Магирусы», «КрАЗы», бульдозеры разбивали полотно, а восстанавливать его было практически некому: слабосильные, не имеющие штатов, дорожно-восстановительные участки едва успевали освобождать дорогу от снежных заносов да слегка зализывать раны, нанесенные бульдозерами, экскаваторами.

А дороги – как кровеносные артерии: функционируют хорошо – все в порядке, нет – начинается болезнь. И стройка болела – это понимали, но уповали на одно: на увеличение перевозок по железнодорожной ветке от разъезда БАМ на Транссибирской магистрали до Тынды, которую с оркестром, речами, поздравлениями и наградами сдали в мае 1975 года. Восторг был полный: железнодорожный состав прибыл в столицу БАМа на пять месяцев раньше срока, строители сдержали слово, данное Родине, – в День Победы возвестить паровозным гудком: рабочее движение на первом участке Малого БАМа – открыто.

Да-да, на том самом участке, что в начале тридцатых годов строили заключенные «БАМЛага». И хотя те, кто вел трассу в 1975-м, почти ничего не знали о временах тридцатилетней давности, они воспользовались плодами труда своих предшественников. Каким образом?

Дело в том, что новая трасса шла параллельно со старой – заброшенной узкоколейкой. И когда стало ясно – к

9 мая 1975-года невозможно физически отсыпать насыпь и уложить рельсы до Тынды, тогда и решено было использовать эту старую узкоколейку – километров 15-17; их и не хватало, чтобы писать победные реляции. И использовали: кое-как уложили рельсы – лишь бы первый состав прошел. С великими предосторожностями состав провели, отрапортовали, а когда стих гром речей и аплодисментов, стали устранять недоделки – их оказалось ни много, ни мало, а на тринадцать миллионов рублей.

Веселенькая картинка: на бумаге построили километры трассы, по ним ходят поезда, а на самом деле их нет. За них выплачены деньги, розданы награды, но их еще только предстоит проложить. Впрочем, в Союзе такое случалось, что сдавали завод, подписывали акты приемки, намечали сроки выпуска продукции, а завода, по существу, не было. Я рассказал о подобном случае. И это тоже плата за желание одного оставить о себе память.

Подобная практика развращает людей, приучает к мысли, что можно получить и деньги, и награды за несделанное, рождает инерцию застоя, опустошенности, нежелания трудиться. Это внизу. А наверху – уже планируют рост перевозок, ведь участок дороги сдан в эксплуатацию. И направляются туда новые и новые составы с грузами, забивают дороги, неделями ждут разгрузки. И летят-летят сотни тысяч рублей, попросту пущенных на ветер.

Но вернемся к якутским дорогам. Впрочем, я знаю лишь одну – АЯМ, амуро-якутскую магистраль. Ее еще поддерживали в сносном состоянии, на отдельных участках даже уложили асфальт. Его, правда, тут же вспучило – вечная мерзлота не любит тепла, а кое-где он просел. Но все же о дороге заботились: как-никак, единственная транспортная артерия, функционировавшая круглый год. И текли по ней грузы самые различные и на Север – к Якутску, и на юг – к Большому Неверу. По такой трассе летом еще можно ездить в одиночку, зимой же редкий шофер рискнет пуститься в дорогу без напарника.

На аямском тракте, километрах в тридцати от Тынды, стоит у дороги скромный памятник шоферу. Ни имени его, ни фамилии не сохранилось. А рассказывают

вот какую историю. Ехал шофер зимой – один. И вдруг забарахлил движок. Остановился шофер, поднял кабину, и стал копать в двигателе. Вечерело, мороз явно за сорок хватил. И не выдержал крепежный болт, что удерживал кабину – его срезало. И кабиной зажало руку. Когда утром проезжавшие мимо шоферы нашли своего коллегу, тот был мертв. До последнего дыхания он, как волк, попавший в капкан, грыз руку – сломанную, зажатую кабиной. Вот этому шоферу и поставили памятник – так рассказывают. А символически – памятник всем шоферам, погибшим на аямском тракте.

По этой дороге спешил я на свидание с большим начальством – самим заместителем министра транспортного строительства СССР, начальником «ГлавБАМ-строя» Константином Мохортовым. Я трясся в кабине самосвала, замасленной, пропахшей соляром и гарью, порой засыпая, и тогда валился на шофера, такого же промасленного: видно, в дороге не раз доводилось ему заниматься ремонтом своего «КрАЗа».

Были последние дни уходящего 1975 года. Погода стояла, как на заказ: безветренная, с небольшим – всего-то градусов под тридцать – морозцем, звонкая и солнечная. Уже больше месяца мотался я по мехколоннам, строительно-монтажным поездам, побывал у мостовиков, взрывников, командировка кончалась, осталась лишь аудиенция у Мохортова. Откровенно говоря, я не очень надеялся услышать что-либо интересное, разве что прояснит начальник «ГлавБАМстроя» некоторые проблемы да поведаст о перспективах и задачах на будущий год.

Въехали в Тынду. Поселок, за неполных два года с начала строительства, разросся, стал настоящей деревянной столицей БАМа. Кстати, и этот вопрос я тоже хотел задать Мохортову: ведь известно, что нет ничего долговечнее временных сооружений, то есть вот этих дощатых домов и бараков. Известно и другое: строить из дерева дороже, чем из панелей, блоков, кирпича. Таким образом, БАМ будет отстраиваться дважды – есть ли в этом элементарный смысл? Как-то воспримет мои вопросы

начальник стройки? Его заместитель, В. Сакун, от ответа уклонился:

– Я думаю, – сказал он, – есть смысл дождаться вам приезда Мохортова. Он прямо из Москвы, так что в курсе дел и здешних, и тамошних.

На окраине Тынды, в тиши негустого леса стояло несколько домиков-коттеджей. Еще две недели назад их не было, в этом я готов был поклясться. В один из них меня и ввели – промерзшего, голодного, пропахшего мазутом и другими прелестями, которыми богата стройка.

Едва вошел, обдало теплом, ударило в нос терпкими запахами хорошей кухни и дорогого одеколона, ноги утонули в пушистых ковровых дорожках. В уютной комнате, за большим столом, в мягких креслах сидело несколько человек. Некоторых я знал – Сакуна, Мокровицкого, управляющего трестом «БАМстроймеханизация» Ходаковского.

Начальник «ГлавБАМСтроя» Константин Владимирович Мохортов, он же и замминистра, оказался худощавым, среднего роста человеком, весьма подвижным и, в отличие от своего главного инженера Розанова, терпимым к моему виду, и к запахам, которыми я был буквально пропитан. Однако ж, против сибирского обычая, ни принять душ с дороги, ни чашки кофе или чая журналисту не предложили. Сакун, отводя глаза в сторону, предупредил, что Константин Владимирович может мне уделить минут сорок-пятьдесят, у всех у них неотложные дела. Разговаривать предстояло здесь же, при всех.

Я начал с вопроса о планах на будущее. Начальник «ГлавБАМСтроя» охотно, пусть и коротко, поведал о задачах. Тогда я попросил его коснуться некоторых проблем, пояснив, что я не впервые на трассе, повидал многое, и многое мне непонятно. Мохортов втягивался в разговор постепенно и вдруг заговорил сам, не дожидаясь вопросов, – стал рассказывать о недавней своей поездке в Канаду и США, где ему довелось повидать, как строят там. Правда, тут же оговорился, что БАМ – стройка особая, подобной еще не знал мир. И это была последняя звонкая фраза – дань времени, а возможно, и окружению.

Далее последовал рассказ человека, по-видимому, любящего свое дело и желающего делать его лучше, но бес- сильного порвать какие-то невидимые путы, связывающие и его возможности, и желания.

Рассказывал о западных конкурсах на лучший проект, об ответственности фирмы-генподрядчика за конечный срок и об ответственности субподрядчиков и поставщиков, о том, какую заботу проявляют о строителях – о передвижных домиках с газовыми плитами, со светом и теплом, – и как трижды подумают, прежде чем вырубят дерево, не говоря уже о гектарах посадок и леса...

Встревожились Розанов, Ходаковский, грустно усмехнулся Сакун. И мне были понятны и тревоги главного инженера и управляющего трестом – о чем это запел старик, как это может быть, чтобы на Западе строили проще, быстрее, дешевле, с большей заботой о людях, о природе, нежели у нас? – и горькая усмешка заместителя начальника «ГлавБАМСтроя» – что же или кто же нам не позволяет строить так же?

Именно этот вопрос – один-единственный, остальные были уже ненужными – я и задал Мохортову. Старик взглянул на часы и нахмурился, вспомнил об обещанных сорока-пятидесяти минутах и о неотложных делах.

– Более двух часов беседуем, – цокнул языком, хитро прищурился в мою сторону. – Думал, вы понятливей. – И попрощался кивком головы.

И на том спасибо, Константин Владимирович. Спасибо за урок, за невысказанный ответ: и хотел бы в рай да... друзья наверху не пускают. Любое дело – целину или БАМ – они ставят прежде всего на службу политике, не думая, готова ли страна к подобного рода свершениям, в твердой уверенности: худа не будет, потому что хуже уже и некуда.

Начальник «ГлавБАМСтроя» рассказывал о передвижных домиках со светом, теплом, газом и душем. А я вспоминаю общежитие мостоотряда на окраине Усть-Кута – в нем я жил весной 1975-го. Привели меня туда уже под вечер, долго искали коменданта – определить меня на

ночлег в какую-нибудь комнату, выдать постельные принадлежности.

Я ждал на крылечке. С работы возвращались парни и девчата, торопливо мыли в большой луже заляпанные грязью, глиной сапоги, взбегали на крыльцо, топали в свои комнаты. Там что-то ухало, хлопало, гудели голоса – вероятно, ужинали.

На крыльцо вышли три девушки, одна с гитарой. Увидели меня – осмотрели незнакомца с ног до головы. Девушки были не красавицы, но и отнюдь не уродины. Раскрасневшиеся, с чуть замутненными почему-то глазками, они кокетливо поворковали и спустились с крылечка. Та, что с гитарой, тронула струны и пропела-прокричала частушку:

Приезжай ко мне на БАМ,
Я тебе на рельсах дам.

И далее еще пикантнее. Оглянувшись, – будто удостовериться, какое произвели на меня впечатление, захотали. Понять было трудно, предлагают ли поспешить за ними утешаться на рельсах или это такая игра.

Тем временем нашли коменданта общежития – тучную, хмурую женщину, через каждую фразу вставлявшую одно и то же: «А на х...»

– У меня уже есть тут корреспонденты, а на х... Куда же я этого-то дену, а на х...?

Я робко заметил, что меня девать никуда не надо, я смогу прекрасно ужиться с теми корреспондентами, которые уже живут в общежитии, что...

– Шагай за мной, а на х..., – отрубила она. – Дам я тебе постель и одеяло, а на х.. Смотри не замотай!

Комнатка, куда меня поселили, была маленькая, и в ней стояли четыре койки, две тумбочки и шкаф. Всё отсыревшее: как видно, общежитие давно не протапливали. Оказалось, что и света сегодня не будет – авария на подстанции.

Утром меня разбудили топот и шумные голоса: строители собирались на работу. Прихватив полотенце, мыло, зубную щетку, я двинулся на поиски помещения, где можно было бы умыться.

– Эй, чего ищешь? – закричал мне какой-то веселый парень.

– Да вот, умыться бы...

– Ха-ха-ха, – раскатился он басом. – Так то всё на улице.

И действительно, все было на улице: в той самой луже, где накануне вечером мыли сапоги, сегодня мыли руки, плескали красноватой жижей на лицо и наспех обтирались полотенцем.

– Да что застыл – ныряй, – с крыльца заходил все тот же парень. – Не бойсь, здоровей будешь. Ну, ежели не торопишься, да и брезгаешь, то жди: часам к десяти бочку с водой привезут. А может, и не привезут...

Бытие, слышал я, определяет сознание. Но вот вопрос – что же держало этих людей на стройке века? Жажда романтики, подвига, награды или было нечто третье, что и привязывало к БАМу?

Ну, начнем с проблем чисто житейских: немало молодых и немолодых женщин, смущаясь, говорили мне, что непрочь найти здесь друга и спутника жизни; хватало таких, кто приехал сделать служебную карьеру – ради этого готовы были терпеть временные трудности, большинство же поехало за хорошими заработками. И когда ввели коэффициент по всей трассе 1,7, когда стали начислять «северные» и «колесные», зарплата у специалистов оказалась до 350-400 рублей в месяц, зачастую и побольше.

Но только деньгами людей удержать не очень-то легко: пробудут года три-четыре, скопят определенную сумму, нередко отказывая себе в самом необходимом, и до свидания! Выход нашли простой и безотказный: кто отработал на трассе год, получал право на покупку вне очереди автомобиля «Жигули». Конечно, не сразу, а в течение трех лет внося взносы.

Арифметика несложная. «Жигули» стоят 7300 рублей. Чтобы их накопить за три года, ежемесячный взнос – 204 рубля. По истечении срока получаете талон и по нему выкупаете машину.

Можно, казалось бы, и уезжать. Но деньги-то все ушли. А тут новые льготы для строителей магистрали: можно вступить в кооператив в каком-либо из городов Сибири. Нужны еще 6-7 тысяч рублей.

И как в кабалу попадает человек. Нет, он волен расторгнуть все договоры, получить свои накопления и уехать. Но кто же это сделает – если и машина будет, и квартира? И проходят годы – 7-8 лет. А по статистике, кто проработает столько в условиях, подобных бамовским, уже не сможет жить в городе: ему будет многого не хватать...

Майбороду в мехколонне № 94 называли «Композитор» – по ассоциации с однофамильцем его, автором «Рушничка». Приехал он в Сибирь с Украины, отслужив в армии. Начинал слесарем, потом стал шофером. С тех пор прошло семнадцать лет (я повстречал Майбороду на трассе в 1974 году), здесь он женился, обзавелся двумя детьми. Деньги у него водились – купил родителям домик в Майкопе (как сказал, за семнадцать тысяч рублей); себе построил кооперативную квартиру в Киеве – двухкомнатную; машину купил – «Москвича»; кое-что на старость отложил.

– Почему здесь живешь, почему не уедешь? – допытывался я, зная, что детишкам «композитора» нужно тепло, часто болеют они, что сам он не рвач и человек думающий. Я надеялся получить хоть зацепку – что же держит людей, проживших в тайге, в поселках без элементарных удобств, семь-восемь лет. «Композитор» лишь улыбался да пожимал плечами: он никогда об этом не задумывался.

– Мне здесь хорошо, – объяснил.

Прошел год – я узнал, что уехал «композитор» в Киев. Прощаясь, сказал:

– Пора квартиру обживать да на машине поездить, а то сгниет в гараже. – И еще добавил: – Хочу посмотреть, как люди живут, да сам немножко пожить.

Слышал я, что устроился он шофером – возит какого-то начальника, жена тоже работает, дети в школе. Выходит, может человек даже после семнадцати лет таежной жизни нормально себя чувствовать в городе.

Но прошло года полтора и Майборода вернулся на трассу. Бросил работу, квартиру, машину в гараже, большой город – и вернулся.

– Да здесь же я человек, – так он мне объяснил. – Понимаешь, человек.

А я-то все искал сложности: почему живут на Чукотке, Камчатке, в Магадане, Тикси, Хатанге? Почему, уезжая туда на 3-5 лет, остаются еще на один срок, потом еще на один – и живут по 15-20 лет, на «материк», как они говорят, выбираются на полгода и спешат обратно. Оказывается, только здесь чувствуют себя людьми!

– Возишь то начальника, то его жену, то его дочь, – рассказывал Майборода о жите-бытье в Киеве. – То он – на совещание, и ждешь час-другой, то к бабе – и тоже ждешь, или у них, у чиновников, вечером банька намечается. И ты им венички купи, коньячка, закуски. С женой и дочерью то на дачу, то еще куда. Не шофер – извозчик. Времени свободного масса – ну, пока ждешь. А к вечеру так измотаешься – в кино не сходить. И ничего не делаешь – и устаешь. Как тебе это нравится? Домой прибежишь, телевизор посмотришь – хоккеей там или футбол, и спать. А утром вновь впрягаешься. Веришь-нет, я за год на своей «тачке» никуда и выбраться не мог. Кажется, намечается свободный вечер. Так на тебе: то профсоюзное собрание, то партийное, то экономическая учеба, то курсы усовершенствования. Обкладывают, как волка. Я и детей-то почти не видел: прихожу – уже спят, ухожу – еще спят.

– По музеям походил? – спрашиваю. – В театры, на концерты?

«Композитор» весело смеется:

– А как же, несколько раз собирались всей семьей. Да почему-то не выбрались. Вот только в зоопарке были – очень ребятам хотелось.

И он заговорил о том, каково здесь: все под боком – магазин, школа, клуб. Пошел на речку – рыбалка, в тайгу – охота. А главное – работа, пусть тяжелая, изматывающая, но за нее неплохо платят. И, кроме того, это все же настоящее дело. Пусть не устроен быт, но и в городах он

не намного лучше устроен. А получают там – копейки, и даже за вредность не доплачивают.

Не знаю, возможно, я не прав, но думаю: на стройках, подобных БАМу, на Чукотке – словом, там, куда еще не дошла в полном объеме советская цивилизация, – человек свободен, и именно это притягивает людей, и потому не торопятся они на «материк», и долго там не выдерживают. Накушаются цивилизации – и домой, отплевываться.

Я рассказываю лишь о первых годах стройки, но тем-то и интересны начальные месяцы, что в этот период проверяется цельность и смысл не только конкретной задачи, но и всей конструкции, модели.

Люди думающие, понимающие, что не одним днем живет человек, находили силы, средства, мужество, – да, именно мужество, – строить дело так, чтобы сегодня иметь перспективы на завтра. Всеми правдами и неправдами, влезая в аферы и обкрадывая соседей, они создавали – базу.

Две мехколонны стояли рядом, в одном поселке. И людей, и техники у них было примерно поровну, и планы, естественно, почти одинаковые. Мехколонна – это организация, которая занимается возведением насыпи железнодорожного полотна, строит притрассовые дороги; словом, ведет земляные работы. Одна, так повелел начальник, сразу стала записывать на свой счет кубометры. Другая – почти все силы бросила на обустройство, прежде всего – на жилье. С кубами тут обстояло хуже. На совещаниях в тресте, у заказчика, первого начальника ставили в пример, второго – крыли на все лады, грозились снять с работы, лишит партбилета. Не знаю, как все это выдерживал второй, но выдержал. Возвел несколько общежитий, две улицы домов для семейных, сделал навесы для техники, «протащил» воздухообогрев для запуска двигателей, построил клуб. Едва он заканчивал объект так называемого соцкультбыта, получал очередной выговор, хотя постепенно и наращивал объем земляных работ.

Через год мехколонна имела чуть ли не самые лучшие на Малом БАМе условия жилья для рабочих, клуб, гараж полузакрытого типа, столовую, магазин, баню,

начала строить спортивный зал и каток. По объемам – и общим, и на единицу техники, – она намного опередила ту, другую, из которой люди начали убежать.

Это был пример, достойный учебников, пример того, как должно хозяйствовать, и за что нужно наказывать. И наверху сделали выводы: начальника, которого постоянно дергали – за удорожание строительства, за перерасход средств, за неповиновение, – скрепя сердце, оставили в покое; второго, провалившего дело, развалившего мехколонну, – выдвинули на повышение. Было б в пору смеяться, кабы не было грустно.

Когда я вспоминаю об этих двух начальниках, чьи колонны стояли в 1975-м в поселке Золотинка, в Южной Якутии, то невольно думаю вот о чем: каждый из них обкрадывал другого. Начнем с первого, развалившего мехколонну. Ну, здесь просто: он «воровал» у другого элементарное право работать самостоятельно. Со вторым сложнее: тот воровал без кавычек, за его дела вполне можно было под несколько статей Уголовного Кодекса угодить – ведь он, действительно, занимался махинациями. Не для себя старался – для дела, но ведь это как следователи да партийные деятели посмотрят.

Вот пример. На разгрузочную площадку в Тынду прибывали составы с техникой для различных организаций, со щитами домиков, одеждой и т. д. И этот начальник держал на площадке специальную бригаду, задача ее – вовремя оповестить о прибытии поезда и хватать все, что можно, что хоть на время окажется без надзора. Пока первый начальник получал телефонограммы о прибытии грузов, пока снаряжал в Тынду своих людей, пока они прибывали на разгрузочную площадку, из того, что принадлежало его мехколонне, мало что оставалось: молодцы другого начальника «мели» все подчистую. Пока первый обзванивал начальство, пока оно принимало решения, издавало приказы, второй успевал чужую технику задействовать, из чужих щитов поставить домики. На приказы отдать немедленно – реагировал просто: отдам, пусть дома с фундаментами забирают, но мне перечислят деньги за их возведение. Начальство нервничало, грозило – на том и кончалось.

Этот непокорный на лето даже бригаду шабашников взял – пусть возводят жилье, столовую, клуб. Как их оформил? А просто: вписал в недостающие графы штатного расписания. Без экономии фонда заработной платы оставался? Зато – с жильем. Он сумел убедить мостовиков, взрывников, руководителей строительно-монтажного поезда, водоремонтников, горноремонтников объединить средства, то есть попросту отдать ему все деньги, что выделялись на обустройство.

– Я вам все построю, – обещал. И строил. Таким образом не перерасходовал на строительстве трассы, за это по головке не погладили бы. А мостовикам, взрывникам, ремонтникам тоже выгода: нет нужды заниматься делом, которого не знают, зато они свои основные объемы выполняли.

Этот начальник и копейку считать умел, и предприимчив был, хотя последнее в Союзе поощряется лишь при условии: сумеешь и не запачкаешься, то бишь, от статьи ускользнешь – сделают вид, что ничего не произошло; не сумеешь – уж не обессудь. И он понимал: не судят победителей. Он бы и рад делать по закону, да только пример первого коллеги, не отступавшего ни на йоту от предписаний и указаний, наглядней всего свидетельствовал – к чему это может привести.

И еще он знал – время работает на него: в такой неразберихе он был как рыба в воде. Чужое прибирал к рукам, а свое – из горла выдирал. Однажды «зевнули» и его молодцы – бульдозер «Комацу». Из-под носа у них машину весом в 52 тонны увели такие же специалисты, но из управления «БАМстройпуть». Молодцы поспешили к начальнику, поведали грустную историю, ждали нагоняя. Начальник подумал и велел позвать главного механика, чтоб подготовил в дорогу кран, трейлер и две машины. Ночью подкатили к базе «БАМстройпути», ворота краном сдернули с петель, бульдозер погрузили на трейлер, ворота аккуратно поставили – и в путь, домой, в Золотинку, за 150 километров. Утром – крик, телефонные переговоры, визиты одного начальника к другому. Одни ругаются, другие улыбаются, но в общем-то все согласны – тут наш герой в своем праве.

История о двух начальниках, обкрадывавших друг друга, это мелочь по сравнению с другими. Здесь один из соперников хоть старался-то не для личной выгоды. Как можно в неразберихе утащить у государства миллионы для себя, для своей карьеры, прикрываясь громкими фразами об общем благе, – другой рассказ.

Иркутская область огромна. Тут, говорят, может разместиться не одно европейское государство. Когда начинался БАМ, первым секретарем Иркутского обкома партии был Банников. Высокий, грузный, с головой гладкой, как бильярдный шар, напористый и хваткий, он определил момент, как весьма удобный, дабы оторвать кое-что от огромного пирога. И сделал это, словно сыграл партию в преферанс.

Для Западного участка нужен был хозяин, то бишь, генподрядная организация. И Банников предложил в качестве таковой управление «БратскГЭСстрой». Как аргумент выложил следующее: управление имеет опыт возведения крупных объектов – тот же Братск со своей ГЭС. На что же рассчитывали первый секретарь Иркутского обкома партии и те, кто подсказал ему такую идею? Под БАМ управление получит деньги, технику, материалы, а потом – хоть трава не расти.

Фонды, технику, материалы «БратскГЭСстрой» получил, но готовить фронт работ на Западном участке и не подумал, да и не мог подумать – кадров не было. Полученное использовали для нужд области, а строителям магистрали предложили: объекты жилья, соцкультбыта стройте сами. Мы, т. е. «БратскГЭСстрой», выделим деньги, а выполненные объемы запишете на наш счет. Не хотите – вообще останетесь без всего.

– Дайте хоть материалы! – молили строители. Но «БратскГЭСстрой» времени не терял – кирпич, щиты, блоки, полученные по бамовским лимитам, – все пустил на свои нужды.

– Материалов нет, – ответили «бамовцам». – А вот пилами обеспечим, топорами тоже, пилами ручными. Валите лес, распиливайте – вот и материал, годный и на жилье, и на клуб, и на столовую, и на магазин. Проявляйте выдумку, инициативу. Словом, действуйте.

В истории о двух начальниках один из них тоже брал деньги у других организаций, но взамен строил объекты. Здесь же был полный обман. Там была предприимчивость, направленная на заботу о людях. Здесь – прекрасно сыгранная партия в преферанс, в результате которой партийный высокопоставленный деятель, используя авторитет положения, ограбил многих хозяйственников. Здесь заботой о людях и не пахло...

И все же БАМ, как объявили в 1984 году, построен: открыто сквозное рабочее движение от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре. Какими затратами – об этом молчат. А ту ли дорогу построили, о которой говорили вначале?

Говорили: на протяжении всей трассы не будет маленьких железнодорожных поселков – это и людям неудобно, и дорого. На помощь придут телевидение, автоматика. Будет дистанционное управление, автоматический перевод стрелок. Поезда на большой скорости пойдут с Запада на Восток и обратно.

Мне довелось стать свидетелем одного из диспутов, которые так любит проводить комсомол на стройках.

Вопрос: Считаешь ли ты, что строишь самую современную дорогу в мире?

Ответ, как полагали организаторы диспута, будет определенно положительным, ну, разве что отдельные замечания последуют. А тут встал парень – невысокий, в очках, в полушубке, накинутом на плечи, с жиденькой бородкой, – и заявил:

– Нет, я так не считаю.

– Вы представьтесь, пожалуйста, – с некоторой угрозой в голосе попросил ведущий – из представителей штаба ЦК ВЛКСМ на ударной молодежной.

– Да уж ничего, – улыбнулся парень. И стал загибать пальцы: – Первое: строим мы однопутку...

– Но плотно кладем под два пути, – перебил кто-то из зала.

– Верно. Однако второй путь еще нужно будет уложить.

– Итак, первое возражение, – загнул палец и ведущий.

– Есть и второе, – не сдавался очкарик. – Мы говорим о большегрузных составах, но если поначалу клали рельсы из стали R-60, то сейчас из R-30. Металла не хватает? Думаю, дело в другом: пока и такие рельсы сгодятся. А это значит, что по ним большегрузные составы не смогут ходить.

– Два, – считал ведущий.

– Третье же такое. Я вот тут рассчитал радиусы поворота для составов различного веса, идущих со средней скоростью 120 километров в час. Как я слышал, это будет рабочая скорость на трассе. Так вот, по всему БАМу я не нашел ни одного поворота, я имею в виду его радиус, чтобы грузовой состав минимального веса на такой скорости не слетел с рельс. Вот расчеты, – парень протянул листок бумаги ведущему. – У меня все.

И я видел, какими растерянными стали вдруг лица сидевших в зале: они мечтали, они надеялись, они верили. А тут какой-то очкарик с жиденькой бороденкой все это разрушил в несколько минут. И я видел – они начинают ненавидеть этого очкарика.

БАМ, как объявили, начал работать на страну. Но в полную ли силу? Ведь в свое время объявили, что вошла в строй «трасса мужества» Абакан-Тайшет. Тяжелейшая трасса, доставшаяся огромнейшим напряжением сил, по существу, не задействована на полную нагрузку.

Я думаю – как и Абакан-Тайшет, как нефть Западной Сибири, как Братская ГЭС, БАМ имел основной задачей – переселение людей из обжитых европейских районов Союза. Конечно, было желание одного оставить потомкам память. Но были и эти соображения.

В Москве, Ленинграде, Киеве, да почти в каждом городе висят объявления: «Требуются... Требуются...». Требуются рабочие руки. На различного рода совещаниях говорят об острейшем дефиците кадров. А тут БАМ, Нерюнгринский карьер, Сибирский газопровод, Атоммаш, Тюменская нефть... Нет, что-то не стыкуется, что-то не вяжутся концы с концами.

Как-то промелькнуло: стотысячный отряд строителей магистрали. А их семьи, а те, кто обслуживает дорогу? Сколько всего? Не знаю. Думаю, что БАМ, как же-

лезная дорога, имеет резервное значение. Основная же задача, как полагаю, была не столь и нова: ее ставили и в те годы, когда осваивали Дальний Восток, когда строили Комсомольск-на-Амуре, когда поднимали целину – занять людей работой, увезти от больших городов, от перенаселенности их.

Увезти из большого города, где острейший дефицит рабочей силы? Да полноте, – такой ли уж дефицит? Как заявил однажды генеральный директор Ленинградского оптико-механического объединения М. Панфилов, он завтра высвободит третью часть слесарей механо-сборочных работ. При двух условиях: ему разрешат это сделать – первое, а второе – оставят прежний фонд зарплаты. Те, что останутся, будут и получать больше, но и трудиться лучше.

Панфилов сказал – третью часть сборщиков, а это, полагаю, тысячи две, а то и две с половиной. И так же могут поступить на многих предприятиях, во многих городах. Но тогда нужно будет или создавать новые рабочие места и переквалифицировать сотни и сотни тысяч людей, или же признать, что безработица вполне возможна и в социалистическом обществе.

Вероятно, это одна из причин, по которой в Союзе не спешат внедрять автоматические производства; другая – труд человека дешев у нас, как мало где. Проще и выгодней держать на участке сборки, скажем, фотоаппаратов «Алмаз» двести человек, нежели заменить их автоматической поточной линией и роботами, но, несомненно, – выгодно лишь сегодня, завтра логика развития возьмет свое.

Для БАМа понадобятся еще работники – и в огромных количествах: для строительства новых заводов, новых городов, для обживания самой дороги. И в этом смысле, магистраль, как пишет советская пресса, действительно работает на будущее. Ну, а потери – моральные, материальные, человеческие? Были они и раньше, на других больших стройках. Когда идет речь о высокой светлой цели – тут все средства хороши.

Я вспоминаю, как зимой 1976 года летел на трассу – через Иркутск, Читу, – и здесь плотно «сел» на якорь:

самолетов на Гынду скоро не ожидалось. Коротая время, болтался я по зданию аэропорта, битком набитого людьми. Занимался вечер – и народу все прибавлялось. Появились странные личности – в измазанной одежде, давно не стриженные и небритые, с красными лицами – от мороза, а еще больше – от принятого внутрь. Они забивались в дальние, полутемные углы, по-видимому, с одной целью – скоротать ночь не на улице.

Называют их – «бичи», что расшифровывается шутиками как «бывший интеллигентный человек». Приходилось встречать их и в Магадане, в Красноярске. Пустившись в дорогу на Север в погоне за длинным рублем, иногда хорошо заработав и затем растранижив в несколько дней заработанное за сезон, они скитаются по городам и весям – без прописки, без денег, опускаясь все ниже и ниже. Их отлавливает милиция, отправляет в участки, но бичи и тому рады: хоть на время будет кров и пища. Временами они устраиваются на работу – грузчиками в магазин или на фабрику, – но долго не выдерживают: ни желанья трудиться, ни осесть на месте – они привыкли к кочевой жизни, привыкли не зарабатывать – выпрашивать.

Вот приблизился ко мне один – молодой, лет двадцати пяти, с заплывшим, обрюзгшим лицом, в рваной медвежьей дохе. Долго ко мне присматривался, ходил вокруг. Его товарищи – человек пятнадцать – спали прямо на цементном полу по углам зала ожидания; они уже приняли свою дозу «бормотухи», а этот, в медвежьей дохе, видимо, не добрал. Наконец он принял решение, подошел:

– Помочь можешь? – в глазах и мольба, и страх, и затаенная хитрость.

– Чем?

– Дай мне сто пятьдесят рублей – домой хочу, – бродяга смелел на глазах, видимо, распознав человека чужого в этих краях. Возможно, с его точки зрения я был полным идиотом – уже потому, что заговорил с ним.

– Почему именно сто пятьдесят?

– Из Ленинграда я, – объяснил он, озираясь по сторонам и понемногу оттирая меня в угол. Здесь он поведал мне свою историю, не знаю – насколько правдивую.

Еще три года назад он был студентом философского факультета Ленинградского университета. Услышал, что на Чукотке можно за сезон четыре-пять «кусков» сорвать: на путине, когда рыба пойдет, или на золотишке. Сезон – это – с мая по октябрь, «кусок» – это тысяча рублей. Выглядело заманчиво.

Поехал на путину, работал, как вол, – без выходных, по двенадцать часов в день, но было ради чего стараться, расчеты оправдались. Вышел из конторы – кум королю, сват министру. А тут ожидают двое приبلудных. Ласково так спрашивают, мол, не угостишь ли.

Отчего не угостить, угостил. Разговор про баб пошел, и выяснилось, что есть тут одна – пальчики оближешь. Червонец дашь – сведем, у нее, у бабы этой, и квартира своя. Студент только и спросил – баба молодая? А бичи в ответ дружно закивали.

Червонец им «отстегнул» авансом и еще добавил, когда увидел ее: хозяйка и молодой оказалась, и лицом на «Незнакомку» Крамского смахивала, и фигурой не подкачала. Да к тому же и весела, гостеприимна: на столе вмиг и водочка, и закуска. На бичей глянула – тех как выдуло из квартиры.

Неделю в тепле и ласке купался студент. Но пришел час – хозяйка на дверь указала.

– А деньги где мои? Пять кусков, честно заработанных?

– Пить нужно меньше, – хладнокровно отвечала престелница.

Студент в милицию полетел – дурак он и есть дурак. Там только смеются:

– У Анютки был? Утешайся – не ты первый. Тут недели две назад один золотоискатель ее прибить хотел – на восемь кусков его «отдоила». Вот такие дела. А насчет того, что ограбили – ты же сам отдавал, добровольно, никто не принуждал?

Подумал студент: «Видать, Анютка с „мусорами“ добычей делится», на том и успокоился. А что теперь делать? Домой лететь – денег нет, на работу не устроишься – прописка в паспорте ленинградская. Вот, прибился к таким же бедолагам, бичом стал.

Рассказал историю, ждет. Но и я молчу. Бродяга не выдержал:

– А, может, сто рублей дашь? Я верну. Адрес свой оставлю, хочешь – расписку напишу.

Я засмеялся, и он совсем сник:

– Ладно, дай хоть трешку.

– Начал со ста пятидесяти, сейчас уже трешки хватит? Говори конкретно.

– Ну, если конкретно – рубль шестьдесят две. Как раз на полбанки красенького.

Поутру через зал ожидания прошествовала группа – явно не местные: в дубленках, дорогих шубах, в сопровождении аэропортовского начальства. Я кинулся к ним. Оказалось, участники агитперелета – Москва – Воркута – Иркутск – Чита – Тында, москвичи. Среди них писатели – Марк Лисянский, Ольга Чайковская, журналисты, актеры. Аэрофлот им специальный самолет под путешествие выделил. С ними я и улетел в Тынду.

Спустя полгода читал я статьи вроде «Вертолета над БАМом» О. Чайковской, стихи М. Лисянского, путевые очерки журналистов – Казьмина, Шинкарева. Как та Анютка, «отдаивали» они трассу, не изведав ни ночей в промерзших палатках, ни работы на пронизывающем ветру. Усилиями таких, как они, налетавших на магистраль, словно бабочки-однодневки, и создавался ореол грандиозных свершений, одухотворенного труда людей, которые и во сне-то видят – досрочное выполнение повышенных соц. обязательств. «Над страной гремит – БАМ! Слышишь, время зовет – БАМ!..»

Когда успевали они собирать факты, беседовать с рабочими, исследовать проблемы, волнующие всех, если презжали на 4-5 дней? И за это время и с платными лекциями выступали, и на банкетах, и по базам бегали, где висели в тиши импортные костюмы, шубы, джинсы, кожаные пальто, дубленки – для высокого начальства да вот такого рода гостей.

Легенду о БАМе кроили, как опытный портной – костюм: легко, играючи. Не все позитив, как же без размышлений, без отдельных негативных моментов. Но негатив – мазками, штришками, позитив же – крупно,

сочно, с восторгами по поводу того, как встречали на трассе космонавтов и хоккеистов, Дина Рида и Юрия Гуляева, Софию Ротару и Льва Лещенко.

Читает иной обыватель газету – и тянет его в дорогу дальнюю: там тебе и заработки, и дефицит, и культурная программа в полном объеме. А еще, слышал он, кто на стройку века завербует, тому квартиру бронируют, подъемные платят. А еще тут приезжал соседкин то ли сын, то ли зять, рассказывал – мясо в магазине круглый год, мандарины не переводятся, консервы разные. А насчет там ковров, японских транзисторов или магнитофонов, любой одежды – только бы деньги были.

Рассказывал этот то ли сын, то ли зять, что их бригада лесорубов – пятнадцать человек – заказала в магазине полторы сотни плавков. Плавки хорошие, цветистые, не наши – финские, десять рублей цена.

– Зачем же полторы сотни?

И хохотал гость с магистрали, явно ждавший этого вопроса:

– А чтоб на одного по десятку получилось. На море когда отдыхать поедем – один день одни, другой – другие.

– А не дорого ли чуть ли сотню на плавки изводить?

И следовал гордый ответ:

– Да мы эту сотню на просеке в неделю делаем.

– Всей бригадой?

– Зачем? Каждый.

Ну, тут уж дураком нужно быть, чтоб сразу же письмо в Тынду или Усть-Кут не отправить: пришлите вызов желающему внести свою лепту в грандиозное дело.

БАМ, БАМ – год-другой гремел набат, а потом стих. И газеты приумолкли, и по радио – все больше концерты для строителей, и поутихли комсомольские активисты – работники штабов ЦК ВЛКСМ: время митингов, крика прошло, на трассе нужно – хозяйствовать.

Заскучали было вожаки-штабники – только и осталось, что писать отчеты о членских взносах да изредка проводимых конференциях. Потянулись за гитарами, тоскующими голосами запели про поезд, который мчит «из Воркуты в Магадан», про «Ванино-порт и борт теплохода угрюмый».

Спились бы от безделья да от тяжести на сердце – ведь воспоминаниями и жили. Но подросло новое дело – «Атоммаш». И вновь оказались нужны их сильные глотки, их готовность строчить рапорты и воззвания. И помчались вожаки в края потеплее, забыв, что обещали пройти трассу «до последнего колышка».

Я думаю, не случайно именно комсомолу отдают на откуп начальную стадию большой стройки: легче всего именно молодых сорвать с места, увлечь обещаниями, хорошо срежиссированными митингами, ореолом первостроителей, первопроходцев. Еще со школы, когда на встречи с ребятами приходят при полных регалиях ветераны войны и труда, западает в голову мысль: быть заслуженным, с наградами – хорошо. И уважают, и кое-что без очереди достать можно. Умеющий читать прочтет: «Ветераны войны, Герои Советского Союза и Социалистического труда, полные кавалеры орденов Славы, депутаты – имеют право...» И надеются молодые: на больших стройках за наградами дело не станет.

Казалось бы, парадокс – в больших городах, на крупных заводах сотрудники отделов кадров тревожатся: уж очень близок к пенсионному средний возраст специалистов – рабочих той или иной профессии, где настоящий навык приходит с годами. И взять новичков негде – нет людей. А тут молодежь в дорогу отправляется. Но, вероятно, тревога эта выеденного яйца не стоит: и сорок, и тридцать лет назад о том же беспокоились, но как-то ухитрялись затыкать прорехи.

А вот то, что все больше «белых пятен» на карте, где раньше лишь тайга да пустошь были, обживаются – это несомненно. Далекая продуманность в этом или сегодняшняя, сиюминутная нужда? Вероятно, как обычно: и того, и другого хватает. Но тенденция намечается. Вот и БАМ внес свою лепту в развитие тенденции.



Вторая мировая война: были ли Соединенные Штаты хорошим союзником СССР?

*Интервью с бывшим сотрудником «советского отдела»
Администрации ленд-лиза и Управления по оказанию
помощи иностранным государствам
Виллисом К. АРМСТРОНГОМ*

«Грани»: В мае нынешнего года исполняется крупная историческая дата – 40 лет со времени разгрома нацистской Германии войсками стран антигитлеровской коалиции. В летописи американо-советских отношений то было особое время – народы Соединенных Штатов и Советского Союза сообща сражались против общего врага. И, пожалуй, одним из наиболее удивительных феноменов этой общей борьбы был ленд-лиз – огромная, добровольная и бесплатная, помощь оружием, боеприпасами, продовольствием, сырьем, которую Америка предоставила в годы войны Советской России. Вы не только современник и очевидец событий той далекой поры, но и один из тех, чьими стараниями была налажена регулярная отправка из американских портов транспортов со студебеккерами и тушенкой, джипами и взрывчаткой, марганцем и нефтью. Читателям нашего журнала, особенно в Советском Союзе, было бы интересно услышать, как осуществлялась программа ленд-лиза.

В. Армстронг: Охотно готов рассказать.

«Грани»: Сорок лет спустя после окончания войны информация о ленд-лизе и подлинные размеры американской помощи остаются для советских граждан историей за семью печатями. Во время войны, да и после нее имело хождение – или внедрялось – такое представление: раз американцы наши союзники, то они обязаны были помо-

гать. Не могли ли бы вы в нескольких словах коснуться предыстории ленд-лиза, а если более конкретно, то каково было отношение к Советскому Союзу в Америке до 22 июня 1941 года?

В. Армстронг: Отношение в целом было резко отрицательное. В глазах американского общественного мнения в начале 1941 года СССР снискал столь же низкую репутацию, как и нацистская Германия. Этому способствовало и заключение советско-нацистского пакта, и аннексия прибалтийских государств, и нападение на Финляндию. Да и массовые репрессии уронили советский престиж в США. Неудивительно поэтому, что когда Гитлер напал на Советский Союз, можно было услышать и такие высказывания: «И поделом им (Советам) – они заключили сделку с дьяволом и теперь расплачиваются за это». Надо, однако, сказать, что после нацистского нападения в американском общественном мнении очень быстро наступил перелом в пользу Советского Союза. Американцы понимали, что, несмотря на все попытки умиротворить Гитлера, Советский Союз оказался жертвой агрессии, что нападение Германии было совершено без всякого предлога и что Гитлер – главная опасность, хотя Америка тогда еще и не воевала. Таково было преобладающее мнение и американского народа, и американского правительства.

«Грани»: Как скоро после начала советско-германской войны Соединенные Штаты выразили готовность оказать помощь Советскому Союзу и в какие формы эта помощь вылилась?

В. Армстронг: Еще за день до нападения нацистов на Советский Союз Соединенные Штаты заявили: если такое нападение произойдет, то они готовы будут ослабить ограничения на экспорт товаров в Советский Союз. 23 июня государственный секретарь США Корделл Холл высказался так: «Мы должны предоставить России любую помощь, на какую мы только способны». 24 июня его поддержал президент Рузвельт. Собственно говоря, первые попытки помощи Америка и Англия предприняли еще до нападения 22 июня, когда они, как известно, проинформировали советское правительство о гото-

вящемся гитлеровском вторжении. Но советское правительство не хотело верить этому.

И уже в конце первой недели военных действий на советско-германском фронте Соединенные Штаты выдали, в ускоренном порядке, экспортные лицензии на товары, ранее закупленные Советским Союзом. Затем, 30 июня, советский посол Уманский представил первый список военных и промышленных материалов, срочно необходимых СССР для ведения военных действий, и этот список начали тщательно изучать, прикидывая возможности удовлетворить советские запросы.

Тут вот еще на что необходимо обратить внимание: нужно помнить, что Соединенные Штаты в то время (конец июня) продолжали оставаться нейтральной страной, их армия не была мобилизована, а промышленность не поставлена на военные рельсы. И поэтому многого из того, что Советский Союз хотел бы получить, у Америки в тот момент просто не было в наличии. И тем не менее, американцы энергично взялись за дело. Последовали шаги на правительственном уровне...

«Грани»: Вы имеете в виду поездку Гарри Гопкинса в Москву?

В. Армстронг: Да. Весь июль шли переговоры по дипломатическим каналам, а в конце июля в Москву приехал советник президента Рузвельта Гарри Гопкинс, и после его переговоров со Сталиным был заключен так называемый «первый протокол» (к нему присоединилась и Великобритания); в нем было указано, какие именно поставки Советскому Союзу осуществят Соединенные Штаты и Англия с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942 года. А всего за годы войны таких протоколов было подписано четыре.

После того как было достигнуто соглашение об американской помощи Советскому Союзу, сразу же возникли практические трудности. Одна из самых главных – как финансировать эту помощь. Довольно быстро выяснилось: советское правительство не располагает достаточными средствами для оплаты поставляемых товаров. Программа ленд-лиза – предоставление в кредит государствам, оборона которых имела важное значение для обо-

роны Соединенных Штатов, разнообразных материалов – в это время уже существовала (она была принята весной 41-го года и прежде всего предназначалась для помощи Великобритании, англичане оказались тогда в очень тяжелом положении и один на один вели борьбу с нацистским Рейхом). Но первоначально о помощи СССР по программе ленд-лиза вопрос не стоял. Когда же стало ясно, что американская помощь требуется Советскому Союзу безотлагательно и что обычные финансовые расчеты могут сильно задержать ее или вообще сорвать, в ноябре 41-го года президент Рузвельт отдал распоряжение начать помощь СССР по программе ленд-лиза и до конца войны эти ленд-лизировские поставки продолжались. Всего Соединенные Штаты поставили своему советскому союзнику более 17,5 миллионов тонн самых различных военных материалов, продовольствия, сырья, промышленных изделий на сумму свыше 11 миллиардов долларов. Около 2.200 раз уходили из американских портов корабли с грузом для СССР.

«Грани»: Не могли бы вы перечислить основные материалы, военную технику и промышленные изделия, которые Советский Союз получил от Америки в годы войны?

В. Армстронг: Назову некоторые, наиболее существенные. Военные самолеты – 7925. Автомобили типа «джип» – 50.501. Грузовики – 427 284. Тягачи и бронетранспортеры – 13 303. Мотоциклы – более 35 тысяч, путеукладчики – более 8 тысяч, 1981 локомотив, 11 155 железнодорожных вагонов, 123 судна, не считая трех ледоколов, свыше 7 тысяч танков, более 13 тысяч орудий, 131 633 автомата, более 136 тысяч тонн взрывчатки. Продовольствия – 3 820 906 тонн. Нефти и нефтепродуктов – 2 541 008 тонн. Химических веществ почти 690 тысяч тонн. Стали и разных сплавов – 2 317 694 тонны, а кроме того медь, алюминий, цинк, свинец, никель, 350.000 тонн марганца и другое сырье.

Далее в этом же списке – 15 миллионов армейских сапог и ботинок, 240 миллионов ярдов пошивочного материала и около 50 тысяч тонн кожи. Всеми этими жизненно необходимыми материалами, техникой и продуктами

снабжался и советский фронт, и советский тыл. Один американский комментатор сказал так: после Сталинграда Красная армия пересела на американские джипы и студебеккеры, чтобы не шагать пешком до Берлина.

«Грани»: Мне вспоминаются слова генерала Джона Дина, который во время войны возглавлял американскую военную миссию в Москве, – вы, вероятно, знакомы с книгой его мемуаров «Странный альянс»...

В. Армстронг: Да, конечно.

«Грани»: Так вот, он писал: «Красная армия передвигается на американских машинах, марширует в американских ботинках и питается американскими продуктами».

В. Армстронг: Именно так оно и было.

«Грани»: Каким образом практически осуществлялась программа помощи по ленд-лизу Советскому Союзу?

В. Армстронг: Если говорить об организационной стороне дела, то на протяжении военных лет существовало несколько ведомств, которые ведали вопросами оказания помощи иностранным государствам – Отдел донесений о помощи в целях обороны, Бюро администрации ленд-лиза, Управление экономической помощи иностранным государствам. Они несколько раз сливались и реформировывались, но каждый раз в них существовал отдел помощи СССР.

Очень важное значение для бесперебойной и своевременной организации поставок и преодоления всевозможных ведомственных препон имела координация усилий различных министерств и поставщиков. Для этого был создан специальный комитет при президенте Соединенных Штатов – Протокольный комитет по советским поставкам, во главе которого стоял уже упоминавшийся Гарри Гопкинс, а его заместителем был генерал-майор Джеймс Бэрнс. В этот комитет входили представители всех основных министерств и правительственных ведомств. На заседаниях этого органа довольно часто возникали острые разногласия, но последнее слово принадлежало председателю, который руководствовался директивами и указаниями президента Рузвельта.

Отправка и доставка американских грузов по ленд-лизу происходила следующим образом. Существовали три основных маршрута – северный, из атлантических портов США в Мурманск и Архангельск, из этих же портов в порты Персидского залива, а оттуда через Иран в Советский Союз, и из тихоокеанских портов США через Японское море на советский Дальний Восток (когда началась война между Японией и Соединенными Штатами, грузы по Японскому морю перевозились на советских судах). В конце войны, когда союзники установили контроль над коммуникациями в Средиземноморье, американские корабли стали разгружаться в советских портах на Черном море.

Несколько слов о доставке на советско-германский фронт американских самолетов. Их перегоняли поэтапно бригады американских и советских летчиков из штата Монтана через Аляску и Сибирь, в очень сложных метеорологических условиях, сокращенно маршрут этот назывался АЛСИБ.

Особенно тяжелым положение было в 41-м и 42-м годах – не хватало судов, материалов, американская военная промышленность еще разворачивалась. Портовые сооружения в районе Персидского залива только-только начали строиться и поэтому конвои шли главным образом по северному маршруту. А на этом направлении, у норвежского побережья, дежурили немецкие «рейдеры», подлодки и самолеты. И они топили наши транспорты быстрее, чем мы успевали строить новые. «Черной датой» стал один из июльских дней 1942 года, когда шедший в Мурманск с ленд-лизовскими грузами конвой «RQ17» потерял в течение одних суток из 34 судов две трети. После этого от конвоев в Мурманск и Архангельск на время пришлось отказаться.

«Грани»: Говоря о работе Протокольного комитета по советским поставкам, вы упомянули о том, что направление его деятельности в конечном итоге определялось директивами и указаниями президента Рузвельта. Какую позицию занимал президент Рузвельт в отношении помощи Советскому Союзу?

В. Армстронг: Позиция президента Рузвельта в отношении помощи Советскому Союзу, который стал жертвой гитлеровского нападения, предельно ясно и четко была сформулирована в его знаменитой фразе о брандспойте – ФДР (Франклин Делано Рузвельт. – Ред.) сказал, что когда в доме твоего соседа вспыхивает пожар, нужно брать в руки брандспойт и тушить огонь. Президент заявил, что помощь советскому народу должна стоять на первом месте, и дал соответствующие указания всем правительственным учреждениям Соединенных Штатов. Президент считал, что в то время, когда Советский Союз сдерживает чудовищный натиск нацистского вермахта, помощь ему не должна оговариваться никакими политическими условиями, и этого своего курса он придерживался на всем протяжении войны, хотя и встречал самые серьезные возражения со стороны членов своего кабинета, законодателей (в Конгрессе всякий раз, когда обсуждалась помощь СССР по ленд-лизу на следующий год, происходили напряженные дебаты) и американской общественности. Несколько раз при голосовании в Конгрессе сторонники той точки зрения, что в обмен на помощь по ленд-лизу Соединенные Штаты должны потребовать от Советского Союза определенные политические гарантии, были близки к победе, но в конце концов президенту Рузвельту удавалось настоять на своем.

И именно в этом духе Соединенные Штаты оказывали помощь Советскому Союзу – советские заказы, советские поставки были первоочередными, особенно в первый, самый критический для Советского Союза период войны.

«Грани»: Каким образом отражалась эта первоочередность в оказании помощи СССР («зеленая улица» для советских заказов) на военных усилиях самих Соединенных Штатов? Не шла ли она в ущерб самой Америке?

В. Армстронг: Да, в отношении этой помощи были большие возражения и в первую очередь со стороны американских военных – особенно после Пирл-Харбора. Я хорошо помню день японского нападения на Пирл-Харбор – мы оказались совершенно не подготовленными к такому повороту событий. Первые несколько месяцев

после Пирл-Харбора были для Соединенных Штатов совершенно катастрофическими – японцы теснили нас на всех участках тихоокеанского фронта, мы потеряли значительную часть нашего военно-морского флота. И в такой обстановке директива американского правительства о необходимости оказания максимальной помощи Советскому Союзу, на том основании, что именно советско-германский фронт сковывает самые крупные силы общего врага, – в те дни для многих людей была непонятной и необъяснимой. Я тогда уже работал в комиссии, которая занималась организацией поставок по ленд-лизу для Советского Союза, и в первые несколько дней после Пирл-Харбора мы вообще не знали, на каком мы свете, думали, что теперь эта программа будет свернута.

«Грани»: И тем не менее программа помощи Советскому Союзу свернута не была и продолжалась в полном объеме?

В. Армстронг: Совершенно верно. Помощь Советскому Союзу продолжалась непрерывно и по-прежнему стояла на первом месте в списке первоочередных национальных задач Соединенных Штатов.

«Грани»: Не было ли у вас впечатления во время войны и не кажется ли вам сейчас, оглядываясь назад, что Советский Союз на заключительном этапе войны, особенно после того как наступил перелом, воспользовался создавшейся ситуацией и, имея фактически неограниченные кредиты, стал «тянуть» из Америки все, что только возможно, в том числе и товары, которые не были необходимы для ведения военных действий?

В. Армстронг: Да, такая ситуация действительно «имела место быть». По мере того, как американская промышленность развернулась на полную мощность, которая казалась невероятной даже нам, американцам, и когда были разрешены проблемы с отправкой конвоев и их благополучным прибытием в советские и иранские порты, у членов советской закупочной комиссии совершенно явно разыгрались аппетиты. Они, вероятно, почувствовали, что Америка это своего рода «дойная корова», от которой можно получить все, что только пожелаешь. Вы представляете список и – пожалуйста, как по мановению

вению волшебной палочки, ваш заказ исполнен в одну минуту...

«Грани»: У богатого американского дядюшки всем можно пожитья...

В. Армстронг (смеется): Вот именно. И в этом крылся один из источников трений между союзниками. Американские представители возражали, например, против советских заказов по ленд-лизу на сложное промышленное оборудование. А у советской стороны, как видно, сложилось впечатление, что президент Рузвельт обещал поставлять по ленд-лизу любые материалы, и поэтому они продолжали настаивать на этих поставках.

Что касается поставок, которые не имели прямого отношения к ведению военных действий, то в качестве примера следует упомянуть, что в течение всей войны Соединенные Штаты снабжали самыми разнообразными материалами советское Управление Главсевморпути – в советские порты на Северном Ледовитом океане было доставлено 425 000 тонн американских грузов.

«Грани»: Теперь хотелось бы коснуться другого аспекта темы: как реагировало советское правительство на ту огромную щедрую поддержку, которую Америка оказала ему в самый критический момент войны, когда судьба советской власти висела на волоске, и продолжала оказывать вплоть до самого Дня Победы и, насколько мне известно, после этого дня, пока не была одержана победа над Японией...

В. Армстронг: Во время Ялтинской конференции, когда была достигнута договоренность о том, что Советский Союз вступит в войну против Японии, Соединенные Штаты дали обязательство организовать специальные поставки по программе ленд-лиза для Красной армии на Дальнем Востоке. И в счет этих поставок на Дальний Восток был переброшен миллион тонн американских грузов...

«Грани»: ...как же отблагодарил СССР своего американского союзника за эту помощь?

В. Армстронг: Хочу напомнить слова Сталина, сказанные им на совещании трех глав правительств в Теге-

ране в 43-м году: «Без американской промышленной продукции война была бы проиграна».

«Грани»: Насколько известно, это было едва ли не единственное публичное признание советским руководством значения американской помощи?

В. Армстронг: Да, пожалуй, что так.

«Грани»: Ну, а кроме этого?

В. Армстронг: Американцев во время войны не раз поражало почти полное отсутствие каких-либо упоминаний в Советском Союзе об американской помощи и стремление советского руководства создать впечатление, будто СССР воюет один и только своими собственными силами, и это, конечно, вызывало возмущение.

«Грани»: Тут на память прежде всего приходит заявление тогдашнего американского посла в Москве, Уильяма Стэндли, в марте 43-го года. Вы, конечно, помните об этом эпизоде. Позволю себе процитировать его слова – они достаточно ярко характеризуют американскую реакцию на замалчивание ленд-лиза в СССР. «Это несправедливо, – заявил тогда посол Стэндли. – Американский народ оказывает русскому народу помощь на многие миллионы долларов, а русскому народу остается неизвестным, откуда поступает помощь... Советские власти, как видно, стараются создать впечатление внутри страны и за границей, что они воюют одни и за счет своих собственных ресурсов».

В. Армстронг: Реакция посла Стэндли вполне понятна и объяснима в контексте сложившейся ситуации. И это не была лишь его личная реакция – так думали и чувствовали тогда многие американцы, и если бы он не высказался, это наверняка сделал бы кто-то другой. В 41-м и 42-м годах, когда Соединенные Штаты оказались в тяжелом военном положении, президент Рузвельт, как мы уже говорили, считал, что помощь Советской России – задача номер один. Многие американские военачальники придерживались точки зрения, что поставки Советскому Союзу делаются в ущерб американским вооруженным силам. Тем более понятно их возмущение – они пошли на определенные жертвы, а эти жертвы не только не были оценены по достоинству, но в Советском Союзе

о них вообще старались не упоминать. В скобках стóит, пожалуй, заметить: посол Стэндли сам был кадровым военным – отставным адмиралом.

Американцы, не скупясь, поделились всем, чем могли, с Советским Союзом и, вполне естественно, считали, что за добро полагается отплачивать благодарностью. Справедливости ради следует сказать, что после демарша Стэндли появились в советской прессе довольно подробные данные о размерах американской помощи по ленд-лизу.

«Грани»: А как обстояло дело с проверкой американцами использования поставок по ленд-лизу в Советском Союзе?

В. Армстронг: С этим дело обстояло очень плохо. Американских военных представителей практически не допускали на фронт, передвижение по стране американских граждан, в том числе сотрудников посольства и американской военной миссии, было максимально ограничено. По сути дела Соединенные Штаты были лишены какой-либо возможности контролировать использование Советским Союзом поставок по ленд-лизу.

«Грани»: Вы упоминали о рузвельтовской формуле ленд-лиза: когда в доме соседа начался пожар, нужно все бросить и помогать ему тушить огонь. Этим же образом воспользовался генерал Дин для характеристики состояния американско-советских отношений к концу войны. Пожар в соседском доме с помощью американцев был потушен, пишет он в своих мемуарах, и при этом помощники во всем подчинялись воле соседа. Тот заключил, что они помогут отстроить дом, подчиняясь его указаниям. «Сосед разрешил нам работать снаружи и потребовал, чтобы мы поставляли материалы для внутренней отделки, – заключает Дин, – но следить за тем, как они используются, не позволил. Когда дом был отстроен, к нам стали относиться как к случайным знакомым»...

Книга Дина писалась «по горячим следам», она вышла в свет в 47-м году, а когда началась «холодная война», произошли вещи и похуже. В Советском Союзе ленд-лиз был объявлен «орудием американского империализма». Доказывалось, что с его помощью Америка ста-

ралась «подешевле откупиться», а кровь проливали советские солдаты. Что вы можете сказать по этому поводу?

В. Армстронг: Когда нацистская Германия напала на Советский Союз, Соединенные Штаты не находились в состоянии войны. Единственное, что они могли тогда делать, – оказывать активную помощь странам, борющимся против нацизма и фашизма, и они оказывали ее – СССР, Англии, «Сражающейся Франции» и другим. Потом Япония напала на США и Германия объявила им войну. Америке пришлось сражаться на два фронта и, кроме того, помогать своим союзникам. Соединенные Штаты вынесли всю тяжесть войны против Японии, обеспечили успех десантных операций в Африке, в Сицилии, в Италии и в Нормандии. Все союзники внесли свой вклад в общую борьбу. Советский Союз отбил натиск немецких полчищ. Соединенные Штаты разгромили Японию и помогли разгромить Германию. И кроме того, Америка была «арсеналом демократии» и снабжала своих союзников оружием, техникой и продовольствием. Если известная Марксова формула применима, то именно в данном случае: «От каждого по способности, каждому – по потребности».

Так что обвинения, о которых вы говорили, – недостойны и не выдерживают никакой критики.

«Грани»: Тенденция к умалению роли ленд-лиза сохранилась в Советском Союзе и в последующие годы. В недавнем издании «Краткой военной энциклопедии», например, ленд-лизу уделено всего несколько строк и подчеркивается, что объем американских поставок составил всего 4 процента от общего объема советского промышленного производства в годы войны.

В. Армстронг: Эта цифра мне знакома. Если не ошибаюсь, она взята из книги Вознесенского «Военная экономика СССР в годы Великой отечественной войны».

«Грани»: Цифра эта много лет кочует по разным советским изданиям.

В. Армстронг: Дело, в конце концов, не в цифрах и процентах – ими можно манипулировать как угодно. На мой взгляд, основное значение американской помощи

заклучалось в том, что благодаря ей Советский Союз «почувствовал почву под ногами», а советское командование смогло маневрировать резервами. Это самое главное.

«Грани»: Что вы могли бы сказать о ленд-лизе в плане исторической ретроспективы?

В. Армстронг: Американская помощь Советскому Союзу в годы войны, совершенно очевидно, диктовалась военной необходимостью. И она, безусловно, сыграла свою роль – благодаря ей война закончилась в более короткий срок, нацизм был разбит наголову и перестал существовать, а все страны и народы смогли возвратиться к мирной жизни.

Что же касается политических аспектов этой помощи, то здесь дело обстоит сложнее. Главный тезис, которым руководствовался президент Рузвельт, соглашаясь на оказание помощи, сводился к следующему: если Советский Союз выстоит и сумеет одолеть Германию, основная цель будет достигнута. Логика Рузвельта, в известной степени, была типичной логикой американцев: если я какому-то человеку оказываю услугу, то и он в будущем оплатит мне тем же.

Но американцы плохо знали Сталина. И когда дело дошло до обсуждения вопросов послевоенного политического устройства и Соединенные Штаты стали предлагать Советскому Союзу различные идеи сотрудничества на демократических началах, то натолкнулись на негативную советскую реакцию. У Сталина были свои собственные идеи и планы в отношении послевоенного мира, и он не собирался менять их ради каких-то там наивных, с его точки зрения, американцев.

«Грани»: И, наконец, последний вопрос. Как расплатился Советский Союз за поставки по ленд-лизу?

В. Армстронг: При урегулировании расчетов по ленд-лизу Соединенные Штаты исходили из принципа, что все использованные во время войны материалы – боеприпасы, нефть, продовольствие, минералы и металлы, а также взрывчатые вещества и большая часть оружия – оплате не подлежат. Денежное возмещение США требовали только за то промышленное оборудование и товары,

которые хотя и были поставлены в счет ленд-лиза, но использованы уже после войны. Так что, вместо миллиардов долларов, речь шла всего лишь о миллионах. Но СССР отказывался долго и от этих выплат. Только в эпоху так называемого детанта, в 1972 году, после долгих переговоров тогдашнего государственного секретаря Роджерса с министром внешней торговли СССР Патоличевым, подписано было соглашение о расчетах за поставки по ленд-лизу. Советский Союз по этому соглашению обязался выплатить Соединенным Штатам 674 миллиона долларов. Эта выплата была, однако, обусловлена предоставлением Советскому Союзу «режима наибольшего благоприятствования» в торговле. В дальнейшем, как известно, американский Конгресс такой режим предоставить СССР отказался, связав его с вопросом эмиграции из Советского Союза. Конгресс принял поправку Ваника-Джексона, и в ответ на это СССР вообще отказался платить что-либо за помощь, оказанную ему в годы Второй мировой войны.

Интервью взял Александр Гальперин.

Виллис К. Армстронг – с 1941 года по 1945-й сотрудник «советского отдела» Администрации ленд-лиза и Управления по оказанию помощи иностранным государствам, после войны перешел на службу в Государственный департамент США, работал в Вашингтоне, а также в американских посольствах в Оттаве и Лондоне. Оставил дипломатическую службу в 1974 году и в настоящее время является частным консультантом по политико-экономическим вопросам.



Проф. Холланд ХАНТЕР

Если бы не коллективизация...

Советское сельское хозяйство в годы 1928-40

От редакции. Коллективизация сельского хозяйства в СССР (1928-33 гг.) остается, пожалуй, наименее изученной национальной катастрофой в российской истории XX века. Причины этого в самом СССР ясны: объективное исследование совершившегося тогда поставило бы под удар и нынешнюю политику КПСС в сельском хозяйстве. Однако и на Западе изучение коллективизации долгие годы шло на поводу у концепций, отмеченных стремлением ее оправдать. Была, в частности, изобретена теория «советской модели экономического развития», соблазнившая некоторые развивающиеся страны таким, казалось бы, простым и эффективным путем к индустриализации, как «перекачка» средства из сельского хозяйства в промышленность.

В действительности в 30-е годы в СССР не только не происходило никакой «перекачки» средств из разоренного коллективизацией сельского хозяйства в промышленность, но наоборот, промышленность вынуждена была «накачивать» средства и технику в сельское хозяйство, чтобы возместить катастрофический падеж рабочих лошадей. Не будь коллективизации, и развитие сельского хозяйства, и индустриализация страны могли бы идти значительно быстрее, в нормальных, равно для обеих сторон выгодных, условиях.

Доказательству этого тезиса, с помощью современных приемов экономического моделирования, посвящена предлагаемая статья Холланда Хантера, профессора экономики в Хаверфорд Колледже в Пенсильвании, США. Работа проф. Хантера относится к новому на Западе и мало известному в России жанру «контр истории» или «альтернативной истории»; в сущности, это поиски ответа на извечный вопрос: что было бы, если бы... Сегодня подобный вопрос вполне серьезно ставится учеными.

Такой подход не укладывается в рамки исторического детерминизма, он отвергает предначертанность истории, подчеркивая в том или ином историческом решении элемент свободы выбора и личную ответственность политических деятелей. Вместе с тем, он открывает и новые возможности взвешивать и оценивать эти решения.

Как может видеть читатель, в статье проф. Хантера коллективизация рассматривается, в основном, в ее экономическом аспекте, тогда как известно, что она была прежде всего решением политическим, имеющим целью уничтожить самого крупного и опасного врага партийной диктатуры – класс земледельцев-собственников. Но, во-первых, иначе и не может ученый (в данном случае – экономист) рассматривать проблему, как обеспечив чистоту эксперимента, а во-вторых, политическое решение, повлекшее за собою неисчислимые человеческие и материальные жертвы, сопровождалось именно экономическими оправданиями, посулами грядущего процветания и изобилия.

В 40-ю годовщину окончания Второй мировой войны, когда еще раз подводятся, а порою и переоцениваются многие ее итоги, на слух российского читателя особенно горестно звучит вывод автора, что наша страна, не будь коллективизации, была бы гораздо лучше подготовлена к нацистскому вторжению. Что же касается политических и административных выгод исторического решения, их по достоинству оценили немецкие оккупанты, которые в захваченных областях, случалось, не только не разгоняли колхозы, но силою сохраняли их, – так было сподручнее и властвовать, и взимать с крестьянина армейский оброк.

I

Ожесточенная полемика по аграрному вопросу, которая велась в СССР в двадцатых годах, отличалась отсутствием как конкретных данных, так и понимания большевиками реальных условий и перспектив развития сельского хозяйства. Пятьдесят лет спустя можно не только пересмотреть итоги периода 1928 – 1940 годов в свете обширной и уточненной документации, но также обсудить возможность и перспективы альтернативных решений данного вопроса.

Возможное развитие сельского хозяйства в Советском Союзе обуславливалось, главным образом, двумя родами ограничений. Первые из них, политические, осно-

вывались на недоверии и враждебных отношениях между большевистской властью и крестьянами, на нежелании большевиков предоставить свободу действия частным крестьянским хозяйствам. Существовали также реальные ограничения технического порядка, определяемые наличием рабочей силы, пахотной земли, живой и механической тягловой силы и удобрений, а также изменчивыми климатическими условиями и отсталыми традиционными методами земледелия. Тем не менее, не следует полагать, что к 1929 году традиционное русское земледелие утратило всякую возможность роста. Вопреки репрессивной* политике большевистской власти, объем сельскохозяйственной продукции в период нэпа приблизился к довоенному уровню, хотя этот уровень был не особенно высок по сравнению с другими странами. Следовательно, закономерно поставить вопрос о том, мог ли продолжаться рост сельскохозяйственной продукции при отсутствии коренных изменений в технике и учреждениях, регулирующих земледелие.

Наше исследование этого вопроса разделяется на две части. Сначала рассматриваются общие контуры действительного развития сельского хозяйства с 1928-го по 1940-й год, по трем основным секторам (подотраслям): уровень производства зерна, уровень производства продуктов животноводства (включая меха и рыбу) и уровень производства остальных продуктов земледелия (хлопок, сахарная свекла, лен, фрукты и овощи, а также лесоводство). Затем рассматривается, какие были бы предположительно достигнуты урожаи зерновых, если бы не было коллективизации. Помимо этого, рассматривается развитие животноводства при условии, что оно соответствовало бы приросту населения. Эти два прогноза образуют основу экономической модели, из которой вычисляется доля вклада третьего сельскохозяйственного сектора в общее развитие экономики в тридцатые годы.

* А также и налоговой. – Р е д.

II. Действительное развитие экономики в период коллективизации

1928 год был неудачным для сельского хозяйства, но несмотря на это (или именно поэтому?) массовая коллективизация началась осенью 1929 года. В таблице I приведены ежегодные данные за период с 1928 по 1940 год насчет общей численности населения Советского Союза и стоимости сельскохозяйственной продукции в неизменных ценах по каждому из трех секторов.

ТАБЛИЦА 1

Общее население, производство зерна, производство продуктов животноводства, прочее сельскохозяйственное производство в СССР, по годам с 1928-го по 1940-й, в миллионах человек и миллионах рублей в неизменных ценах 1928 года.

Год	Население на 1 января	Производство зерна	Производство продуктов животноводства	Производство прочей сельскохозяйственной продукции	Общее сельскохозяйственное производство
1928	150.6	4 148	7 136	7 935	19 219
1929	154.3	4 114	6 722	7 860	18 696
1930	157.6	4 441	5 209	8 572	18 222
1931	160.7	3 987	4 845	9 026	17 858
1932	163.2	3 729	3 903	9 176	16 808
1933	165.7	3 844	3 382	8 850	16 076
1934	162.1	4 039	3 754	8 866	16 659
1935	160.3	4 400	4 481	9 846	18 727
1936	161.9	3 391	5 002	8 801	17 194
1937	163.8	5 496	5 680	9 994	21 170
1938	167.0	4 263	6 251	8 134	18 648
1939	170.6	4 280	6 201	8 613	19 094
1940	173.6	4 963	5 937	11 047	21 947

Из приведенных данных видно, что рост численности населения прекратился в 1933 году, затем произошло явное сокращение населения в течение трех следующих лет. Рост численности населения возобновляется в конце тридцатых годов. Производство зерна сначала колеб-

летя вокруг начальной величины и увеличивается незначительно в течение изучаемого десятилетия. Резко снижается производство продуктов животноводства (примерно на 50%), и конечный его уровень в 1940 году так и не достигает уровня 1928 года. Уровень производства остальной сельскохозяйственной продукции, в среднем, растет, но и испытывает значительные колебания от года к году. Суммарный уровень сельскохозяйственного производства в течение тридцатых годов ниже начального уровня (1928 год), кроме 1937 и 1940 гг. Заметим, что данные за 1940 год включают сельскохозяйственное производство на новоприобретенных территориях. В итоге ясно, что в результате коллективизации уровень сельскохозяйственного производства не повысился. Мог ли бы он повыситься, если бы не было коллективизации?

Политика большевиков, сосредоточив внимание на производстве зерна, не уделяла достаточно внимания взаимосвязи с остальными составляющими сельского хозяйства. Хотя и трудно четко выделить затраты на отдельные отрасли, путем грубого расчета можно определить ряд оказывавших влияние факторов. В таблице 2 (см. стр. 247) приведены данные по общему развитию производства зерна, а именно: валовые урожаи, посевные площади, наличие тягловой силы, а также показатель климатических условий.

Видно, что урожаи были хорошими в 1930, 1935, 1937 и 1940 годах, чрезвычайно низкие в 1936 году и довольно плохие в 1932 и 1933 годах. Урожаи, в общем, совпадают с колебаниями климата. Посевная площадь под пшеницей и другими зерновыми культурами постепенно возрастает до 1931 года, остается примерно постоянной до 1937 года и слегка сокращается в последующие годы. Изменения посевной площади не совпадают с изменениями валового урожая. Возможно, что изменения объема валового урожая больше связаны с изменениями в тягловой силе?

В конце двадцатых годов тягловая сила в советском сельском хозяйстве почти исключительно состояла из лошадей, хотя и включала малую долю волов и верблюдов. Тракторы, комбайны и грузовики составляли всего

ТАБЛИЦА 2

Урожай зерновых, посевная площадь, животная и механическая тяговая сила, показатель климатических условий в СССР, по годам с 1925-го по 1940-й.

Год	Валовой урожай		Показатель климат. условий (среднее за 1928-40 гг. при- нято за 100)	Посевная площадь млн. га.	Тяговая сила в млн. лошадиных сил*		всего
	Карчу	по Виткрофту			живая	механи- ческая	
1925	73.9	72.8	87	87.3	24.6	026	24.8
1926	77.8	76.4	112	93.7	26.4	073	26.7
1927	73.6	72.9	89	94.7	28.4	203	28.7
1928	73.1	72.3	101	92.2	28.9	262	29.2
1929	71.7	71.7	104	96.0	29.2	294	29.5
1930	77.2	77.4	115	101.8	25.7	428	26.1
1931	68.0	69.5	79	104.4	21.5	1.082	22.6
1932	67.1	65.0	95	99.7	18.1	2.056	20.2
1933	68.4	67.0	108	101.6	15.8	2.636	18.4
1934	67.6	70.4	94	104.7	14.9	3.866	18.8
1935	75.0	76.7	118	103.4	14.0	5.483	19.5
1936	56.1	59.1	86	102.6	13.7	8.092	21.8
1937	97.4	95.8	113	104.5	14.0	10.390	24.4
1938	74.5	74.3	95	102.4	14.4	11.410	25.8
1939	74.8	74.6	91	99.9	15.3	12.800	28.1
1940	84.5	86.5	113	100.4	15.8	13.870	29.7

* Мощность трактора условно равна 20 л. с.; грузовика или комбайна — 10 л. с.

один процент общей тягловой силы. После 1929 года мощность живой тягловой силы резко снижается (более чем на 50%): от 29,2 миллионов л. с. в 1929 году до 13,7 миллионов л. с. в 1936 году, восстановившись лишь до 15,8 миллионов л. с. к 1940 году.

Мощность механической тягловой силы быстро возрастает после 1930 года – от нескольких тысяч до 13,9 миллионов л. с. в 1940 году, – тем самым восстанавливая начальный уровень общей тягловой силы. Тем не менее, производство зерна за предшествующее десятилетие значительно страдает от нехватки тягловой силы, так что вызывают удивление высокие урожаи того времени.

Климатические показатели, полученные в результате тщательного анализа, проведенного С. Виткрофтом, приведены в третьей колонке таблицы 2. Средний показатель воздействия климатических условий с 1925 по 1940 год был принят за 100. Как видно из таблицы, в середине и в конце тридцатых годов климатические условия оказались хуже среднего уровня.

III. Возможный уровень производства зерновых при условии, что не было бы коллективизации

Уровень сельскохозяйственной продукции определяется многими факторами: наличием пахотной земли, достаточным количеством влаги, наличием живой и механической тягловой силы, наличием рабочей силы, использованием удобрений, уровнем применяемой технологии. К концу двадцатых годов в районах производства зерна продолжал существовать дореволюционный избыток рабочей силы, а посевная площадь оказалась меньше, чем в 1913 году. Удобрения для зерновых почти не применялись. Проводились интенсивные поиски улучшения сельскохозяйственного производства, но новшества с трудом внедрялись на практике. Нехватка тягловой силы была основным ограничением. Именно в районах, пригодных для избыточного производства зерновых, количество рабочих лошадей, волов и верблюдов было ниже дореволюционного.

Автор тщательного и хорошо обоснованного исследования советского сельского хозяйства, Наум Ясный, пишет (касаясь периода восстановления в двадцатые годы): «Крупным препятствием оказался недостаток тягловой силы. По официальным данным, снижение имеющейся тягловой силы (количество лошадей и волов) за срок от 1916 по 1922 год составило 38,9%... и в 1928 году уровень ее еще был ниже довоенного».

Сокращение тягловой силы и уменьшение площадей под зерновыми особенно чувствительно проявилось в районах Нижней Волги, Северного Кавказа и Средней Волги: по словам Р. Дэвиса, «спад в этих районах был главной причиной низкого уровня сбора зерновых в СССР, что было главной политической и экономической проблемой в двадцатые годы».

Два основных фактора оказывали свое влияние. По словам Н. Ясного, «возможно, что общая площадь посева зерновых не достигла довоенного уровня частично из-за большой нехватки тягловой силы в некоторых местностях, почти исключительно занимающихся производством зерна. Но главным препятствием оказалось неадекватное определение цен». Отрицательное влияние этого фактора подробно проанализировал Йежи Карч, а также Р. Дэвис в недавно вышедшем своем труде. В этих трудах убедительно показано, что если бы цены стимулировали производство зерна, то это привело бы к повышенному разведению лошадей крестьянами с целью обработки более обширных площадей под зерно. Итак, отсутствие необходимой живой тягловой силы ограничивало расширение площадей при тогдашней технологии ведения сельского хозяйства. Это наводит на мысль, что реально осуществимым условием роста производства зерновых в Советском Союзе на одно, примерно, десятилетие после 1928 года был бы рост живой тягловой силы.

Известно, что Ленин был пленен образом трактора как символа сельскохозяйственной модернизации и что в двадцатых годах весьма распространено было мнение, что достаточно ввести в эксплуатацию сто тысяч тракторов, чтобы перевоспитать мужика в духе социализма. Однако механизация сельского хозяйства требовала зна-

чительного притока средств от промышленности в сельское хозяйство, что мешало капиталовложениям в тяжелую индустрию, пользовавшуюся в то время первоочередным для партии приоритетом. Опыт тридцатых годов показывает, что подобный перелив средств должен был быть произведен в массовых масштабах. Следовательно, стоит проанализировать гипотезу, по которой в крестьянском сельском хозяйстве начального периода советской власти имелись неосуществленные возможности экономического развития, даже без внедрения тракторов, комбайнов, грузовых машин и современной технологии. В частности, не касаясь волов и верблюдов, можно задать вопрос о возможном увеличении количества рабочих лошадей за период 1928 – 1940 годов. Можно также принять во внимание влияние климатических условий и возможность расширения площадей под зерновые. Таким образом возможно построить гипотетический прогноз годовых урожаев зерновых и их потребления. Определив, сколько из этого количества зерна необходимо оставить на семена и сколько нужно зерна на фураж и на нужды населения, возможно определить количество зерна, которое могло пойти на экспорт.

Произведенный нами на основании данных Госплана за 1925 – 1929 годы расчет показал, что биологически вполне реально было увеличение числа рабочих лошадей за 1928 – 1940 годы на 40%, т. е. с 23.990 тыс. до 33.642 тыс. Эта цифра определяет возможность роста живой тягловой силы и, следовательно, возможность увеличения урожая зерновых за данный период, при условии, что цены на зерно стимулировали бы его производство.

Что касается посевной площади, статистика показывает, что в 1928 году она составляла 92,2 миллиона гектаров, что несколько меньше, чем в 1913 году (94,4 млн га) и возросла в середине тридцатых годов до 104,7 миллионов гектаров. Освоение целинных и залежных земель при Хрущеве увеличило посевные площади до 128,3 миллиона гектаров, но из этой цифры необходимо вычесть 10,1 миллиона гектаров, полученных в результате территориальных приобретений в 1939-40 годах. Следовательно, есть основание считать, что общая посевная площадь

могла бы превысить 105 миллионов гектаров, достигнутых к концу тридцатых годов. Точное определение осложняется тем, что некоторую долю площадей, ранее засеваемых зерновыми, в начале тридцатых годов начали использовать для посевов хлопчатника и других технических культур. В то же время были распаханы некоторые луга и изменен порядок севооборота. Тем не менее, для построения нашей гипотезы достаточно отметить, что возможно было увеличить на 20% посевные площади под зерновые за период с 1928 по 1940 год, используя рост живой тягловой силы.

Что же касается урожайности, данные также приводят к выводу, что имелось много нереализованных возможностей. В течение 1925 – 1929 гг. при тогдашней технологии сельского хозяйства урожайность составляла около 8 центнеров с гектара. Можно было ожидать, что при вовлечении в сельскохозяйственный оборот окраинных земель снизится урожайность, но увеличение живой тягловой силы, дающее возможность проводить посев и уборку урожая в лучшие сроки, способствовало бы ее повышению. Хотя навоз использовался, в основном, не для зерновых, а для других культур, увеличение его количества в результате роста числа не только лошадей, но и другого скота, способствовало бы повышению урожайности зерновых тогда, когда зерновые располагались бы в результате севооборота на ранее удобренных площадях. Без особых организационных изменений, путем применения лучшего семенного материала и при других изменениях, не требующих больших затрат, увеличение тягловой силы на единицу площади привело бы к росту урожайности. Можно было бы ожидать, что к 1940 году урожайность составила бы 9,6 – 10,2 центнера с гектара (что все же было бы значительно ниже уровня западных стран).

Обычная теория сельскохозяйственного производства говорит, что урожай зерновых зависит от погоды и от основных затрат. Но данные, приведенные в таблице 2, к сожалению, не дают возможности вычислить подобную зависимость математически. Их статистическая обработка не дала положительных результатов. Годы

после 1927-го были слишком бурными, хозяйство было разрушено, и за точность приведенных цифр нельзя ручаться. Поэтому только на основании двух величин – показателя климатических условий и тягловой силы на гектар – произведен статистический расчет возможного производства зерна в Советском Союзе в период с 1928 по 1940 год в случае, если бы не было коллективизации. Результаты расчета приведены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Фактические и возможные урожайности зерна и тягловая сила на гектар, возможный урожай зерновых в СССР по годам с 1928 по 1940, в центнерах и лошадиных силах на гектар, и в миллионах тонн.

Год	Фактическая		Возможная		Возможный урожай, миллионов тонн	Возможный урожай минус фактический
	урожайность на гектар	тягловая сила на гектар	тягловая сила на гектар	урожайность на гектар		
1928	7.34	.317	.317	8.18	75.4	3.1
1929	7.47	.307	.316	8.23	77.1	5.4
1930	7.60	.256	.315	8.67	82.3	4.9
1931	6.66	.216	.314	7.28	70.3	0.8
1932	6.52	.203	.315	7.94	77.8	12.8
1933	6.59	.181	.319	8.46	84.2	17.2
1934	6.72	.180	.323	7.97	80.5	10.1
1935	7.42	.189	.329	8.91	91.3	14.6
1936	5.76	.212	.335	7.75	80.7	21.6
1937	9.17	.233	.342	8.85	93.6	-2.2
1938	7.26	.252	.351	8.25	88.5	14.2
1939	7.47	.281	.361	8.17	89.1	14.5
1940	8.62	.296	.370	9.11	100.7	14.2

При определении этого – возможного – развития сельского хозяйства не принимался во внимание какой-либо технический прогресс. Предполагаемый рост живой тягловой силы и посевной площади физически был вполне достижим и принят весьма умеренным по сравнению с таковым в другие времена и в других местах. В результате получается, что в период с 1928 по 1940 год в Советском Союзе, при условии, что не было бы коллективизации, было бы произведено 1092 миллиона тонн зерна. Факти-

чески же было произведено 960 миллионов тонн, то есть недобрано 132 миллиона тонн. Недобор в период 1928-31 годов составлял 3-4 миллиона тонн в год, а затем увеличился в период с 1932 до 1940 года до 14 миллионов тонн в год. Следует отметить, что повышение производства зерна при условии, что не было коллективизации, было бы осуществлено без какой-либо особой «тракторизации», то есть соотношение механической тягловой силы и общей тягловой силы осталось бы прежним.

IV. Возможное производство продуктов животноводства

Учитывая напряженные обстоятельства в конце двадцатых годов и первоочередность задач, установленных партией, трудно было ожидать быстрого роста производства продуктов животноводства. Мы знаем, что на самом деле оно стремительно снижалось. Но допустим, что политика партии состояла бы в том, чтобы сохранить потребление продуктов животноводства на душу населения на уровне 1928 года. Можно ли было сохранить такой жизненный уровень, исходя из наших предпосылок?

Вопрос, частично, состоит в том, какое население должно обеспечиваться продуктами животноводства. Тут мы можем обратиться к прогнозу Госплана, содержащемуся в наброске первого пятилетнего плана, опубликованном за год до его начала. Госплан прогнозировал на ближайшие годы прирост населения, несколько меньший, чем фактически имевшийся в конце двадцатых годов. Госплан также дал прогноз базовых данных о численности населения в 1936 и 1941 годах, исходя из того, что население будет расти несколько замедленными темпами. В таблице 4 приведены эти данные, а также наиболее точные оценки фактической численности населения в тридцатые годы. Трагический контраст очевиден.

ТАБЛИЦА 4

Ожидаемое и фактическое население, возможное и фактическое производство продуктов животноводства в СССР по годам с 1928 по 1940, в миллионах человек и миллионах рублей в неизменных ценах.

Год	Население на 1 января			Производство продуктов животноводства			
	ожидае- мое	факти- ческое	раз- ность	возмо- ж- ное	всего фактиче- ское	раз- ность	фактическое на душу населения
1928	149.4	150.6	+ 1.2	7 136	7 136	0	100
1929	152.6	154.3	+ 1.7	7 289	6 722	567	92
1930	155.9	157.6	+ 1.7	7 446	5 209	2 237	70
1931	159.3	160.7	+ 1.4	7 609	4 845	2 764	64
1932	162.7	163.2	+ 0.2	7 771	3 903	3 868	50
1933	166.0	165.7	- 0.3	7 929	3 382	4 547	43
1934	169.3	162.1	- 7.2	8 087	3 754	4 333	49
1935	172.7	160.3	-12.4	8 249	4 481	3 768	59
1936	176.2	161.9	-14.3	8 416	5 002	3 414	65
1937	179.3	163.8	-15.5	8 564	5 680	2 884	74
1938	182.4	167.0	-15.4	8 712	6 251	2 461	79
1939	185.6	170.6	-15.0	8 865	6 201	2 664	77
1940	188.9	173.6	-15.3	9 023	5 937	3 086	72

Предполагаемый прирост населения, абсолютно нормальный для модернизирующихся стран, под влиянием коллективизации прекратился, и начался обратный процесс – уменьшение численности населения. Возможно, что Госплан несколько недооценил снижения рождаемости, которое сопутствует миграции из сельской местности в города, но неожиданное и резкое снижение численности населения в середине тридцатых годов явно ненормально. Хотя рост численности населения возобновился после 1935 года, образовался разрыв примерно на 15 миллионов человек между численностью населения, которую ожидали до коллективизации, и действительной его численностью после суровых тридцатых годов. Это была большая потеря «людского капитала» и одним из сопутствующих явлений было снижение спроса на сельскохозяйственные продукты. Не нужно было кормить пятнадцать миллионов душ, которых не было. Снизилась потребность и в зерне, и в продуктах животноводства.

При создании картины советского сельского хозяйства без коллективизации мы должны рассматривать вопрос так, словно предполагаемый рост численности населения осуществился. В таблице 4 приведены данные о предполагаемой потребности в продуктах животноводства и о фактически располагаемых количествах. Недостача была чрезвычайно большой в середине тридцатых годов, когда в животноводстве была наибольшая разруха, но и в конце десятилетия, после некоторого восстановления, производство было значительно ниже, чем требовалось. Вместо того, чтобы сохранить потребление сельскохозяйственных продуктов на душу населения на уровне 1928 года (при том, что численность населения снизилась), подвергшееся коллективизации советское сельское хозяйство было способно в 1933 году обеспечить только 43% потребления на душу населения, существовавшего в 1928 году. В конце десятилетия потребление продуктов животноводства на душу населения все еще было на 25% ниже уровня 1928 года.

Большая нехватка продуктов питания в Советском Союзе оказала свое воздействие и на сельских, и на городских потребителей. Крестьяне были вынуждены отда-

вать большую часть своей продукции, но количественное и качественное снижение уровня питания в Советском Союзе болезненно затронуло и городское население. Нельзя считать, как это утверждалось, что излишки были отобраны у крестьян и переданы пролетариату. Наоборот, и крестьяне, и пролетарии страдали от громадной нехватки продуктов.

V. Возможный урожай зерновых и его распределение

Теперь можно последовать проверенной временем советской практике и подсчитать баланс между наличием и потреблением зерновых в рассматриваемый период. Могло ли предполагаемое количество зерна обеспечить потребности? Основными потребителями являются: семенной фонд, корм для лошадей, корм для прочего скота и птицы, мука и хлеб для населения и потери. Семенной фонд определяется соответственно величине, определенной Н. Ясным для 1928 года, корм для лошадей также соответственно данным Н. Ясного для 1928 года, при учете роста поголовья. Потребление зерна на корм прочему скоту и для питания населения определяется соответственно предполагаемому росту численности населения. Потери также составляют долю от общего урожая, которую определил Н. Ясный для 1928 года.

Если сравнить эти потребности с предполагаемым урожаем, то в конце двадцатых и начале тридцатых годов ситуация складывается довольно напряженной. Годовой избыток зерна увеличивается понемногу в 1928, 1929 и 1930 годах, но в 1931 и 1932 годах имеется значительная недостача. Лишь в 1933 году можно было бы начать экспорт зерна без риска. После этого, так как потребление зерна возрастало бы постоянно при принятых нами условиях, годовые балансы между урожаем и потребностью были бы отрицательными в 1934, 1936, 1938 и 1939 годах. Несмотря на это, суммарный итог возрастал бы, так что имелись бы возможности и для экспорта, и для создания запасов. Предположительно, СССР мог бы экспортировать в период с 1933 по 1940 год около 14 миллионов тонн

зерна и иметь запасы около 14 миллионов тонн, что значительно превышает государственный запас зерна на январь 1941 года, когда имелось 6162 тысяч тонн зерна и муки. Сельское хозяйство обеспечило бы потребности народного хозяйства в зерне и продуктах животноводства с 1928 по 1940 год, сохраняя потребление пищевых продуктов на душу населения на уровне 1928 года при постоянно возрастающем населении, причем не требовало бы дополнительных средств от промышленности.

VI. Замечания, касающиеся экспорта

Из приведенных выше разделов видно, что зерновыми не исчерпывается советское сельское хозяйство. Хотя при определении советской политики обращается основное внимание на «выкачивание» зерна от крестьян для поддержки несельскохозяйственных отраслей, сельское хозяйство охватывает значительно более широкий спектр деятельности, которая вносит свой вклад и в другие отрасли экономики. Действительно, хотя экспорт русского зерна имел важное значение до Первой мировой войны, другие сельскохозяйственные продукты (особенно древесина, меха, масло и яйца) занимали существенное место в международном обмене. Когда в двадцатые годы торговля возобновилась, в советский сельскохозяйственный экспорт входил целый ряд товаров, часто в небольших количествах, но в общей сумме составляющий более значительную величину в экспорте, чем зерно. В течение пяти лет, предшествующих 1929 году, по данным Майкла Доэна, экспорт зерна составлял 27% всего советского экспорта (по стоимости). Остальные три четверти состояли из товаров, производимых в других отраслях сельского хозяйства.

Вопрос тщательного изучения экспорта советского сельского хозяйства после 1928 года выходит за рамки данного труда. Здесь следует учитывать и зарубежный спрос, и производственные затраты в стране. Можно заметить, что экспорт зерна снизился в 1928 году сравнительно с 1927 годом, а экспорт других сельскохозяйствен-

ных товаров продолжался. Нет оснований считать, что экспорт других сельскохозяйственных товаров не продолжал бы служить источником иностранной валюты для поддержки роста несельскохозяйственных отраслей. При хорошо ведущейся сельскохозяйственной политике эти виды экспорта должны были учитываться.

Но партия решила сосредоточить внимание на зерне, и в 1930 году СССР экспортировал 4,8 миллиона тонн зерна, так как урожай был хорошим и начались обязательные сдачи зерна. В 1931 году экспорт зерна возрос до 5,1 миллионов тонн. Если картина, которую можно воссоздать на основании имеющихся в настоящее время данных, верна, этот экспорт следует рассматривать как акт отчаяния. Породив причины, которые снизили вклад труда и капитала – и при отсутствии каких-либо излишков для «выкачивания», – партия продолжала изымать и экспортировать зерно. Экспорт после 1932 года стал невозможен, и в результате начался голод 1932-33 года. В условиях мировой депрессии судьба другого сельскохозяйственного экспорта была бы, возможно, не лучше, чем экспорта зерна. Но все же теперь, после пятидесяти лет, нельзя не поставить вопрос, был ли достаточно мудрым курс, принятый партией.

VII. Заключение

Настоящий анализ приводит к трем выводам.

Во-первых, ясно, что к концу двадцатых годов положение с производством зерна было трудным. Нетерпение большевиков можно понять. При существовавшей системе, повышение производства могло быть лишь постепенным, и зерновая проблема оставалась бы не решенной еще в течение нескольких лет. Увеличение производства могло быть достигнуто только соответствующим повышением затрат, но это могло привести к ощутимым результатам не раньше середины тридцатых годов.

Во-вторых, коллективизация отозвалась сугубо отрицательно на росте населения, на потреблении и на притоке капитальных средств в сельское хозяйство. Сни-

жение производства прямым образом следовало из уменьшения затрат. Коллективизация не смогла повысить производство зерна выше уровня предшествующего периода и ответственна за громадные трагические человеческие жертвы. При альтернативном подходе можно было поддерживать производство на душу населения на уровне 1928 года в продолжение следующего десятилетия, что привело бы к ощутимо лучшему исходу.

Напрашивается также третий вывод, хотя он, строго говоря, не очевиден. Искалеченное коллективизацией сельское хозяйство потребовало огромной перекачки средств из промышленного сектора, в чем не было бы нужды при описанной выше альтернативной политике. Не будь коллективизации, плоды сельскохозяйственного развития стали бы существенным вкладом в развитие страны. Не было бы общего упадка жизненного уровня, рабочая сила страны пополнилась бы пятнадцатью миллионами людей, так что достижения промышленности могли только улучшиться, что, в частности, отразилось бы на способности страны противостоять нацистскому вторжению. Если бы все это предвидел XVI съезд партии в июле 1930 года, одобряя так единогласно доклад Центрального комитета, призывал ли бы он с таким энтузиазмом к ликвидации кулаков как класса на основе всеобщей коллективизации?

Публикация Б. Пушкарёва



Серпом по экономике

Ежегодно миллионы советских горожан – студентов, учащихся, служащих, рабочих – отправляются на «уборочные работы» в колхозы и совхозы. Продолжается это уже больше 40 лет, и стало неотъемлемой чертой развитого социализма. Об этом феномене пишут статьи и фельетоны, стихи и инструкции, его оправдывают и критикуют. Но с годами он укореняется все больше. Если еще Хрущев говорил о вынужденном и временном характере такой меры и обещал вскоре с этим явлением покончить (впрочем, он много чего обещал, вплоть до коммунизма через 20 лет...), то нынешние генсеки ничего не обещают и вообще стараются об этом феномене не упоминать, вроде его и нет.

Точной статистики, естественно, не существует. Специалисты называют приблизительную цифру в 17 млн. горожан, ежегодно едущих на помощь тем, кто занимается сельскохозяйственным трудом профессионально. Таких профессионалов, то есть штатных работников колхозов и совхозов – 25 млн. человек (см. справочник «Народное хозяйство СССР», 1982 г.). Для сравнения укажем, что фермеров в Соединенных Штатах Америки – менее 3 млн., а сельскохозяйственных рабочих, помогающих фермерам в пиковые периоды уборки, – еще 200-300 тыс. человек, причем большая часть этих наемных рабочих – это тоже мелкие фермеры, перемещающиеся все дальше на север после уборки собственных земельных участков. Это, так сказать, профессионалы-многостаночники.

Сравнение было бы неполным, если не напомнить, что фермеры США собирают в среднем 370 млн. тонн

зерновых в год, и наверняка соберут намного больше, если им гарантировать продажу любого количества выращенного зерна. А советские колхозники, поддержанные столь многочисленной армией горожан, собирают – правда, в обстановке непрерывного трудового подъема – примерно половину: 175-180 млн. тонн зерна в год. Это – если считать бункерный вес зерна за амбарный, или, иными словами, игнорировать весьма весомые (приблизительно 20-25%) потери, ставшие, как и посылка горожан на сельскохозяйственные поля, неотъемлемым признаком экономики зрелого социализма.

Сельскохозяйственные поля – главный, но отнюдь не единственный в СССР объект, использующий массовый непрофессиональный труд. Реально существующие условия реально существующего социализма создали большую гамму возможностей. Взять, например, модную практику «шефства». Крупный завод, по заданию райкома, берет шефство над тем или иным колхозом, животноводческой фермой и пр. и помогает им осуществлять механизацию. На Западе аналогичные работы по механизации крестьянских ферм выполняют узкие специалисты, ставшие, в результате конкуренции, мастерами данного конкретного профиля. В советских условиях это делают «шефы», люди, зачастую не знающие специфики сельскохозяйственного производства и уж никак не заинтересованные в том, чтобы высоким качеством работы создать себе и своему предприятию хорошую рекламу.

Либо, наоборот, – промышленное предприятие начинает развивать у себя «подсобное хозяйство», подкармливая таким образом своих рабочих. Это явление, ставшее в последние годы весьма распространенным, – реакция партийных верхов на повсеместное недовольство рабочих хроническими перебоями в продаже свежих овощей, мяса, молока. Но неспециализированный, а следовательно, дорогой и нерентабельный характер такого «подсобного» производства очевиден. По сути дела, это продолжение и углубление давно скомпрометированной практики выпуска крупными заводами дефицитных изделий ширпотреба. Этот метод (тоже не от хорошей жизни) давно

доказал полную экономическую нерентабельность и несостоятельность.

В сегодняшней советской практике вариантов использования работников не по их прямому назначению предостаточно. Ученые посылаются на базы и овощехранилища перебирать картошку, врачи или педагоги едут ее окучивать. Инженеры и техники идут на сборочный конвейер: рабочих-сборщиков постоянно не хватает, особенно в последней, авральной декаде месяца. Рабочие, в свою очередь, посылаются «на стройку»: предприятия, участвующие рабсилой в строительстве жилых домов, имеют больше шансов получить там квартиры. Служащих посылают на засыпку траншей и уборку улиц; сегодня редко найдешь строительное управление, которое своими силами делает всю эту «неквалифицированную» работу. Строителям же нужно платить гораздо больше, чем служащим, поэтому партийные вожди города предпочитают использовать «даровую» рабочую силу.

В советской прессе время от времени появляются статьи, критикующие такую практику. Авторы их доказывают, что использование высококвалифицированных специалистов (врачей, инженеров, научных работников, преподавателей и т. п.) на несвойственной им работе наносит большой ущерб народному хозяйству.

Однако довод о нерентабельности использования специалистов не по их профилю меньше всего трогает партийных руководителей. Они прекрасно знают, что советские институты поточным методом наштамповали уже столько миллионов инженеров, педагогов, врачей и т. д., что их все равно невозможно рационально, с полной отдачей, использовать в народном хозяйстве. И от того, что упомянутые специалисты, а также те, кто ими готовится стать, потрудятся немного «на черной работе», — вреда не будет. А им, местным руководителям, будет вполне осязаемая польза: больше шансов выполнить те или иные контрольные цифры, меньше шансов получить дополнительный нагоняй от вышестоящего начальства.

Похоже, что не только местное, но и центральное партийное начальство бессильно что-либо изменить в

этой извращенной практике: система работает по своим законам. Попытка же изменить отдельные частные следствия этих законов может привести лишь к тому, что вольнодумец начинает плыть против течения, рискуя не доплыть никуда.

Местные и центральные партийные руководители в СССР – это, наверное, единственная категория людей, которым такой всенародный авральный метод хоть в чем-то идет на пользу. В целом же народное хозяйство страны несет огромные потери, терпит ущерб по всем возможным аспектам – экономическим, социальным, моральным. Более детальный анализ последствий всенародного метода «авральных мобилизаций» показывает это весьма отчетливо.

1. Падение производительности труда

Это совершенно естественное следствие того, что люди вдруг начинают заниматься непривычной для них деятельностью. Это тем более естественно, что они вынуждены заниматься ею против своей воли, не будучи по-настоящему стимулированными, не будучи заинтересованными в конечных результатах.

Удельная производительность падает также в результате авралов, из-за внезапной концентрации чрезмерных человеческих масс на ограниченном производственном участке. При этом неизбежны несостыкованность технологических операций и потери рабочего времени. Ведь наивысшая производительность наращается годами, когда на нужном рабочем месте в нужный момент работает нужный человек – но не более того! Специалист тем и отличается от новичка, что за долгие месяцы и годы работы он овладевает наиболее экономичными и выгодными приемами и методами. Мобилизация по приказу сверху заменяет качественный труд количественным суррогатом.

2. Замедление механизации

В условиях свободной рыночной экономики стоимость труда – основной компонент конечной стоимости изделия. Поэтому усилия по механизации трудовых процессов автоматически прилагаются там, где они могут сэкономить наибольшее количество ручного труда. Конструкторы и изготовители сельскохозяйственных машин, стремясь завоевать прочные позиции на фермерском рынке, непрерывно совершенствуют свою продукцию, выпускают всё более универсальные машины, всё более удобные в эксплуатации, гарантирующие минимум потерь. Машины и механизмы, позволяющие резко сократить ручной труд или вообще обойтись без него, внедряются во всё новые технологические операции в сельском хозяйстве (а также в строительстве, в уборочных работах и т. д.).

«Метод мобилизаций» в Советском Союзе – следствие полного извращения этой логичной картины фермерского спроса и индустриального предложения. Но и он, этот метод, в свою очередь, извращает сложную цепь взаимосвязей и взаимозависимостей. Колхозные и совхозные руководители теряют интерес к проблеме механизации ручного труда. Зачем возиться с освоением сложной техники, – сплошь и рядом, к тому же, некачественной, – если, когда надо, тебе пришлют людей сколько надо, и даже более того?

Давление «снизу» на заводы сельскохозяйственного оборудования от такой психологии уменьшается – а оно и без того в условиях социалистической экономики весьма формально. Остается только «плановое» давление сверху. Естественно, заводы, главки и министерства, ответственные за выпуск сельскохозяйственного оборудования, идут по линии наименьшего сопротивления: выпускают не то, что нужнее, а то, что проще, не стараются осваивать новые перспективные машины, не доводят продукцию до нужной кондиции, не делают ее надежной, обеспеченной нужным количеством запчастей и т. д.

Механизация «человекоемкого» ручного труда (и не только в сельском хозяйстве) в Советском Союзе все

больше отстает от таковой в передовых развитых странах. И это – несмотря на непрерывное копирование новых западных образцов. От копий до образцов внедренных, освоенных в своих, специфических условиях, – дистанция огромная. Попытка заткнуть эти дыры количественным авральным трудом напоминает латание тришкиного кафтана, который от этого еще больше разваливается.

Что ж, государственная организация производства соответствует государственному гербу: серп – как символ специализации, молот – как главный атрибут механизации. Хочешь – жни, а хочешь – куй...

3. Повышенный травматизм

Статистики смертельных и несчастных случаев в условиях авральной работы непрофессионалов, естественно, нет. Нет ни цифр, ни таблиц, ни выводов из сравнительного анализа травматизма в среднем по данной отрасли и отдельно среди «партией мобилизованных и призванных» (впрочем, несравнительный анализ травматизма в советской экономике – тоже вещь засекреченная). Однако можно не сомневаться, что травматизм в условиях «мобилизаций» резко возрастает. Не может человек без навыка рабочих приемов трудиться с той же степенью надежности и собственной безопасности, как человек привычный, профессионал данного дела. У новичков всегда повышенный процент травматизма.

Другое дело, что внешне картина тут выглядит вполне безоблачной. И причины этой безоблачности вполне понятны: ведь мобилизации – мероприятия, строго говоря, незаконные, «инструктивные», все варианты и случаи при них законом не урегулированы. И поэтому всегда возникают разногласия – кто виноват в несчастном случае? Кто должен платить пострадавшему – шефы ли? подшефные? И как это сделать, не вынося сор из избы, не выпячивая при этом незаконность самого метода мобилизаций? Выход обычно находят простой: не показывать травму, пострадавшего же числить присут-

ствующим по основному месту работы и платить ему как за полный рабочий день. Виновников нет, и все довольны.

Хуже со смертельными случаями. В «Литературной газете» как-то была небольшая заметка: один пожилой уже конструктор был послан на стройку, упал с лесов и разбился насмерть. Между институтом, где числился в штате этот конструктор, и строительным управлением, требовавшим от института помощи рабсилой (иначе, мол, не получите квартир в новом доме!), возник спор – кто должен платить семье погибшего? Поскольку не платил никто, и понадобилось вмешательство газеты. Можно себе представить, что подобных случаев в целом по стране не так уж мало. И это, пожалуй, самая дорогая цена социалистического принципа хронических авралов и массовых мобилизаций.

4. Финансовый перерасход

Собственно, о перерасходе государственных выплат можно говорить весьма условно. Какой уж тут перерасход, если на свою зарплату советский труженик лишнюю пару обуви позволить себе не может! Но теоретически государственные финансы построены именно на балансе доходов и расходов населения. Это – теоретически. На практике же – давно образовался колоссальный дисбаланс, на руках у населения скопились огромные суммы денег (специалисты считают, что более 200 млрд. рублей), не покрытых эквивалентным количеством производимых товаров и услуг. И реальная стоимость денег непрерывно обесценивается.

В это обесценение свою струю вливает посылка миллионов горожан на сельскохозяйственные, а также на строительные, уборочные, переборочные и пр. работы. По закону (нет, не по закону, – такого нет, – а по партийным инструкциям), мобилизуемому оплачивает его родное предприятие 75% содержания за дни отсутствия. Остальные 25%, по замыслу, ему должны покрыть (или перекрыть) работы в подшефном колхозе, совхозе или на стройке.

На практике все обстоит не совсем так. Чтобы обеспечить партийную мобилизацию без сучка и задоринки, руководители предприятий, как правило, оплачивают своим отсутствующим работникам все 100% зарплаты. Или компенсируют недостающие 25% предоставлением отгулов, что, в принципе, то же самое. Да и в масштабах всей страны как бы уже запроектирован финансовый дисбаланс, частичное перекрытие выплат на обоих местах работы. Ведь промышленным предприятиям и учреждениям общий фонд зарплаты в расчете на всевозможные непредвиденные мобилизации не уменьшают. Зато подшефные колхозы и совхозы, строительные и прочие организации получают право на выплаты за оказанную помощь. Как правило, это идет в счет роста их задолженности государству.

Суть тут, конечно, не только в увеличении выплат населению: от перестановки слагаемых мизерная сумма не увеличивается. Но подобная практика создает отличные условия для злоупотреблений со стороны районного, колхозного и заводского начальства. Широко известны случаи, когда заработок группы рабочих и служащих, посланных на сельхозработы, присваивался старшими этих групп, иногда вкупе с колхозным начальством. «Партией мобилизованные и призванные» обычно и не претендуют на какой-то дополнительный заработок, ибо знают, что свои 100% они получают на родном предприятии. И это прекрасная предпосылка для злоупотреблений начальства. Не только оплата труда, но и расходы по содержанию мобилизованных, их питанию, их транспортировке – все это отличный источник для выкачивания «левых» доходов.

Такие финансовые дыры, с моральной точки зрения, тем вреднее, что «просыпаемые» государством суммы оседают в карманах сравнительно небольшого числа номенклатурных начальников и дельцов-ловкачей.

5. Дезориентация учета

Экономика свободного рынка весьма чутко и отзывчиво реагирует на участки пиковой трудоемкости, требующие и повышенного количества трудовых ресурсов.

Потребность в механизации таких участков, в дополнительных капиталовложениях быстро вызывает гамму необходимых предложений.

В условиях директивно-плановой экономики «предложение» следует за спросом не так быстро и не так обязательно. Сначала должны быть собраны необходимые цифровые данные, они должны быть сгруппированы и взвешены, на основании их произведен необходимый анализ, выделены первоочередные направления для механизации, для финансовых капиталовложений, для экономии материалов и человеческого труда. Цифровой учет играет здесь громадную роль. А практика периодических авралов и массовых мобилизаций, ни в каких плановых наметках, годовых ли, или пятилетних, не заложенных и не учтенных (да и не могущих никак быть подвергнутыми объективному учету), – чрезвычайно запутывает и искажает статистический учет. Себестоимость сельскохозяйственной продукции может оказаться много меньше реальной, промышленной – наоборот, много выше реальной. С точки зрения установления государственных цен на продукты первой необходимости это большой роли не играет: здесь все равно в первую очередь учитываются факторы общегосударственного (общепартийного) значения. Но эти цифровые фикции сплошь и рядом оказывают негативное влияние при необходимости делать какой-то выбор – идет ли речь об очередности капиталовложений, механизации трудоемких процессов, технологической специализации или экономии энергии и материалов.

В первую очередь это сказывается при определении рентабельности того или иного нового сельскохозяйственного агрегата. Если для любой тяжелой, грязной, непрестижной работы в распоряжении властей в любой момент есть сколько угодно дешевого человеческого труда (никого не волнует, как дорого на самом деле обходится обществу этот «дешевый» труд!), то необходимость его механизации откладывается в долгий ящик. Статистика, цифровой учет в таких условиях теряют всякий смысл.

б. «Сверхнормативные» людские резервы

Чтобы не ставить выполнение своего плана в зависимость от сезонной или непредвиденной «утечки» рабочей силы, у руководителей промышленных предприятий и государственных учреждений остается единственный выход – создать запас, то есть избыток людей, которыми можно было бы маневрировать. Чем их занять в остальное время – не так важно. Для советского руководителя главное – это вовремя выполнять государственные плановые задания, а также исполнять без споров указания местного партийного начальства. Все остальное – второстепенно. Поэтому директора, завыв, замы и помыв любыми способами стараются утвердить в высших инстанциях как можно больший штат своего предприятия. Если западные предприниматели заинтересованы обходиться как можно меньшим числом работников (для них это главный путь сокращения себестоимости и выигрыша в конкурентной борьбе), то советские директора заинтересованы как раз в обратном. И не последняя в этом причина – возможность маневрировать людьми и удовлетворить требования одновременно всех партийных начальников, как «сверху», так и «сбоку».

Спектр мобилизационных объектов все разрастается. Советских граждан мобилизуют уже и на стройки, и в овощехранилища, и в сборочные цеха, и на главный конвейер автозавода, и для планировки и уборки мусора после прокладки водо- и газопроводных и канализационных труб. Отправляют не только на уборочные, но и промежуточные сельскохозяйственные работы – прополку, окучивание и т. п. Узаконилась практика шефства промышленных предприятий по механизации колхозных и совхозных ферм. И в то же время все шире распространяется практика «подкорма» не только рабочих и инженеров, но даже солдат и офицеров с подсобных хозяйств.

Естественно, все это может благоприятно (для руководителя) функционировать только при избытке рядовых работников и специалистов, которыми руководители предприятий и учреждений могут удобно для себя манипулировать.

7. Психологический ущерб

Как правило, все мобилизуемые сопротивляются отправке на работу не по специальности. Запасаются справками о болезни, ссылаются на маленьких детей или престарелых родителей, грозят уходом на другое предприятие – как будто там не то же самое! Устраняет сопротивление лишь ощущение его бесполезности.

Руководители, со своей стороны, чтобы выполнить партийную разнарядку, идут на всяческие послабления: выплачивают, в нарушение инструкции, 100% содержания, дают впоследствии отгулы, сквозь пальцы смотрят на безделье своих работников на «мобилизационном объекте». Иногда даже, уговаривая, прямо намекают, что там им придется меньше работать, что это будет своего рода отпуск или, по крайней мере, веселая перемена обстановки.

Чаще всего так оно и есть. Тем не менее, подавляющее большинство мобилизованных остаются недовольными, психологически чувствуют себя ущемленными. Противоречие здесь лишь поверхностное. Ведь настроение человека, его психологическое состояние зависит не столько от продолжительности и интенсивности труда (если ограничиться лишь сферой трудовой деятельности), сколько от его осмысленности, заинтересованности в нем. Так, перерывы в работе из-за отсутствия необходимых материалов или инструментов психологически не воспринимаются как отдых, а безделье из-за плохой организации труда – как отпускные дни.

В смысле человеческого отчуждения от труда психологический настрой – вообще, наверное, основной компонент. Не случайно ведь самостоятельно работающий предприниматель, глава мелкой семейной фирмы (а число таких на Западе отнюдь не уменьшается) работает, как правило, много больше и интенсивнее, чем работающий по найму, а настроение у первого обычно лучше, чем у второго.

Наверное, поэтому социалистические мобилизации не дают трудящемуся ни хорошего настроения, ни ощущения отдыха, даже если он работает меньше и расслаб-

леннее. Зависимость тут обратная: вынужденный покориться силе, мобилизованный затаивает в душе мстительное чувство: «Ну, я уж вам наработаю!». И он не думает в этот момент, что его неопределенное в а м, пройдя через интеграл миллионов ему подобных, превращается в весьма определенное н а м. Полный чувств мести и обиды, о таких сложностях он не думает. Его психологическая неудовлетворенность становится дополнительным – и немалым – вкладом в общенародное дело падения производительности труда.

Этот психологический фактор действует, увы, не только во временном интервале самой мобилизации. Мобилизованный получает убедительное подтверждение того, что его основная работа – необязательна, второстепенна и без нее можно обойтись. После этого его уже никакой агитацией, никакими призывами и лозунгами на тему «Беречь каждую минуту рабочего времени!» не убедить в обратном.

Трудовыми мобилизациями начиналась советская власть в период Гражданской войны и военного коммунизма. Тогда они выглядели как некая контрибуция, наложенная победившим пролетариатом на поверженные классы помещиков и капиталистов. А заодно также на городских обывателей, интеллигентов, зажиточных (и не очень) крестьян, дворян, мещан, духовных лиц и т. д. Эти трудовые мобилизации объявлялись вынужденной в условиях разрухи, но в принципе временной мерой.

Мера оказалась постоянной. На кого сегодня налагаются контрибуции – не ясно. Судя по результатам – на здравый смысл. Метод аврального выполнения плановых показателей «ограниченными контингентами» мобилизованных стал нормой социалистической экономики. Если еще Хрущев иногда высказывался о том, что посылка людей на работы не по специальности носит, конечно же, временный характер и будет в ближайшие годы партией отменена, то уже в годы Брежнева ни о временном характере, ни о скорой отмене и речи не было. Наоборот, этот метод все более узаконивался путем введения соответствующих инструкций, норм и разрядок на отправку. И

после Брежнева этот соцметод торжествует и, несмотря на периодически появляющуюся осторожную критику в печати, углубляется и крепнет. Растет диапазон «узких мест», куда нужно посылать людей на подмогу, увеличивается общее число мобилизуемых и реестр специальностей, подлежащих мобилизации.

Метод использования людей не по их основной специальности превратился в наркотический допинг социалистической экономики. Без него она уже не может существовать. Чем хуже идут дела, тем больше «узких мест», которые надо искусственно расширять присылкой «подкреплений» со стороны. А чем больше таких «подкреплений» посылается, тем больше падают производительность труда, рентабельность, трудовая мораль. Тем хуже, следовательно, идут дела.

Порочный круг оказывается не только замкнутым, но и непрерывно расширяющимся – своеобразное новое слово как в геометрии, так и в истории! И это еще один «прогрессивный элемент» экономики зрелого социализма.



За колючей проволокой

По стародавней московской привычке всякий раз радуюсь, зайдя на полке библиотеки Гарвардского университета голубую рубашку очередного номера «Нового мира». И почти неизменно радость сменяется разочарованием: за те три с лишним года, что я живу «далеко от Москвы», интересные вещи можно пересчитать по пальцам одной руки – посмертная подборка рассказов Трифонова, рассказ Бориса Васильева «Чье вы, старичье?», повесть Гранина «Еще заметен след»*, кое-что из публицистики... Вот, пожалуй, и всё. Не густо. Зато как радостно увидеть на этих страницах хоть проблеск небанальной мысли, хоть промельк живого, непосредственного чувства – в большом дефиците нынче эти качества в советской литературе.

...Герой повести Вениамина Каверина «Летящий почерк» Дима – странный мальчик. Так, во всяком случае, называют его прочие действующие лица. Да и вправду странный: еще в относительно юном возрасте – в седьмом-восьмом классе – Дима решил «вообще не врать». В школе, меж тем, заставляют врать постоянно, хотя бы и самым невинным образом: например, украсив описание собственной комнаты несуществующим пианино. Его на самом деле нет, но «надо», чтобы оно было. «Это „надо“ впервые заставило задуматься Диму». Дима – одноклассник, с которым мальчик делится своими жизненными планами, считает, что «от вранья можно избавиться, исключив из школьной программы все гуманитарные предметы». Дело, однако, не в одной только школе – вранья предостаточно и дома. У Диминого отца есть другая женщина, которую он любит, оставаясь при этом в семье. К тому же отец – прокурор, а, по Диминому мнению, «все честные юристы всю жизнь должны мучиться угрызениями совести». В подтверждение этой гипотезы Дима приводит случай из практики отца, который однажды по звонку «откуда-то сверху» поспособствовал оправданию тренера по боксу, избившего учителя своего сына. «А учитель умер», – заключает Дима свой рассказ. Собственную жизнь Дима пытается строить в соответствии с наказом «жить

Вениамин Каверин. «Летящий почерк». Повесть. – «Новый мир», № 9, 1984.

* См. рецензию Наталии Кузнецовой «Демоны прошлого» в № 131 журн. «Грани».

не по лжи»: отказывается поступать в юридический институт – «потому что там все врут», – уходит из дому, становится верхолазом. Словом, все это сильно напоминает молодежную повесть «оттепельного» периода начала 60-х и ее героя с юношеским его максимализмом, поисками нравственных идеалов, с уходом «в народ» из комфорта интеллигентского дома. Налицо также и все атрибуты «повести воспитания», в которой преимущественно работает Каверин последние годы, перемежая вполне реалистические произведения сказками – назидательными и суховатыми.

Но фокус в том, что Дима – герой не главный. Он, похоже, и самого автора мало интересует. А главный персонаж повести, центр ее притяжения, болевой узел – это Димин дед, Платон Платонович, живущий в доме на положении отшельника и подвергнутый некоему домашнему остракизму: даже еда подается ему в отдельную комнату, куда Диме заходить запрещено, потому что дед, по словам Диминой матери, не совсем в своем уме. Дима, разумеется, заходит, и не раз, завязывается дружба с дедом, именно с ним, глухим стариком, мальчик обсуждает самые сложные свои проблемы, письменно формулируя их в записочках деду и выслушивая его ответы, и наконец дед дает ему тетрадь, исписанную «летающим почерком».

Вот тут-то, с чтения дневника деда, и начинается собственно история, ради которой, по всей вероятности, написана повесть.

Ответственный работник Министерства финансов, вдовец, приближающийся к своему пятидесятилетию, Платон Платонович, будучи в командировке в Париже, встретил женщину, которую полюбил. Это чувство, разумеется, ничего хорошего не сулившее совслужащему, покончило с размеренным и разумным существованием. Началось безумие, и отнюдь не в переносном смысле – потому что в конце концов дед оказался в сумасшедшем доме и пробыл там четыре года. А дальше шло то, что Дима уже и сам мог себе представить: «...жизнь деда, годами существовавшего в тесной, заваленной книгами каморке, и то, что его перестали звать к столу, – все это, конечно, было похоже на медленную смерть».

Размышляя над тетрадью, исписанной «летающим почерком», Дима пытается понять, почему дед, как он выражается, «пошел на колючую проволоку». Недоумевающему внуку он объясняет, что это метафора – «переносный смысл на основе какого-нибудь сходства или сравнения». Стбит вспомнить, что эта метафора зародилась в среде заключенных фашистских концлагерей – на колючую проволоку, через которую пропус-

кали ток, бросались те, кто не мог больше выдержать лагерное существование. И было бы вовсе не удивительно, если бы та же метафора использовалась и в языке наших отечественных эзков.

Платон Платонович пошел на колючую проволоку, отказавшись от устоявшейся жизни ради своей любви. Он не пытался перейти границу, он не попросил политического убежища – впрочем, его больше и не пускали за границу, – он просто стал вести себя как свободный человек. Это-то и было расценено окружающими как безумие. «Расстаться ради нее с высоким положением в Министерстве финансов казалось бессмысленным, нелепым тем, кто ему мешал, а для него было таким же естественным, как если бы он сбросил с себя чужую опостылевшую одежду, необходимую, чтобы играть роль, и надел свою, в которой он чувствовал бы себя естественно и свободно».

Для Димы, который, как и положено советскому юноше, ищет, «сделать бы жизнь с кого», дед становится нравственным образцом, примером и критерием нравственности. Не правда ли, несколько странный поворот: единственный нравственный человек в повести – сумасшедший. Впрочем, безумие Платона Платоновича, – вопрос, что называется, открытый.

В сумасшедший дом дед попал после того, как, выпив, попытался избить случайного прохожего. Дежурный в милиции говорит Василию Платоновичу, сыну «хулигана»: «Это произошло потому, что он ненавидит всех на свете. Меня, вас, самый воздух, которым дышит. И не говорите мне, что он награжден орденом Ленина, и все такое. Почему вы знаете, может быть, он сам орден ненавидит?» Словно бы спохватившись, автор тут же добавляет: «Заключение психиатров опровергло этот вздор. Деда признали невменяемым...»

Однако не проходит и нескольких страниц, как выясняется, что не такой уж это и вздор: в квартире Диминых родителей раздается телефонный звонок – в Москву приехала та женщина, мадам Сюрвиль, она хочет повидать деда. В сопровождении переводчицы «Интуриста» она приходит в дедову каморку. Тут и становятся понятны истоки безумия деда: когда похожая на мартышку переводчица ни за что не желает оставлять мадам Сюрвиль наедине с ним, Платон Платонович впадает в бешенство. Он «оглянулся вокруг, очевидно, ища что-нибудь, чем можно ударить, и потянулся к тяжелому медному подсвечнику...»

Переводчица-«мартышка» в этом эпизоде становится для деда живым воплощением «колючей проволоки», отгородившей его на многие годы, на всю долгую жизнь от любимой. Впрочем, что ж ее, бедняжку, упрекать – она ведь всего-навсего

но-язвительный вопрос: «А вам, очевидно, приказали не отходить от мадам Сюрвиль ни на шаг?»

В повести Каверина всего 26 страниц «новомировского» формата, и удивительно, как умудрился писатель на этом очень небольшом пространстве показать микрокосм советского мира, где все – от мала до велика – врут, где прокурор во время заседаний суда читает «Королеву Марго», а врач признается, что «все забыла», и выписывает рецепты, над которыми смеются в аптеке. Мира, где человек, переставший идти в ногу, попадает в сумасшедший дом. Мира, опоясанного колючей проволокой. И напрасно убеждает нас автор, что для Димы и Маринки, девочки, которую он любит, уже никакой колючей проволоки не существует, что перед ними «жизнь лежала прямая, простая, ясная, как похожий на древнюю птицу башенный кран...» Сентенции этой не очень-то веришь, да и сам Каверин, похоже, не слишком на ней настаивает. В конце концов, именно при работе с башенным краном гибнет Димин бригадир Клычков, человек, глубоко симпатичный юноше.

И еще одно любопытное совпадение: за два с лишним года до «Летящего почерка», в том же «Новом мире» (№ 1, 1982), Каверин опубликовал сказочную повесть «Верлиока», где главного героя зовут Платон Платонович, а его сына – Василий (как Диминого отца). В «Верлиоке» изображено некое сказочное государство, где люди после долгих лет бюрократической работы превращаются в бумаги. Метафора «чернильная (или бумажная) душа» реализуется на деле. И если сопоставить эти два произведения – а основания для этого, как видим, есть, – то оба мира, сказочный и реальный, представляются почти идентичными и могут легко совпасть при наложении друг на друга.

Елена Гессен

Не поддаваясь искусству красивого слога

Книга воспоминаний Нины Алексеевны Кривошеиной не родилась сама собой, по одному только внутреннему побуждению. Импульс к ее написанию пришел извне – призывом А. И. Солженицына ко всем очевидцам событий больших и малых –

Н. А. Кривошеина. «Четыре трети нашей жизни». – Изд. «ИМКА-Пресс», Париж, 1984.

записывать все, что связано с историей России XX века. Теперь, спустя два года после кончины Н. А. Кривошеиной, ее книга «Четыре трети нашей жизни» вышла в свет в начатой издательством ИМКА-Пресс серии «Всероссийской Мемуарной Библиотеки» (1984 год).

Воспоминания – жанр коварный. Решусь заметить, женские в особенности. Иная мемуаристка искренне обуреваема желанием поведать что-либо интересное, важное, а на поверку получается каталог комплиментов, во времена оны высказанных (а то и нет) ее красоте, уму и прочим достоинствам. Берешь другие воспоминания и натыкаешься на сугубо интимные подробности, которые, ничего не говоря ни уму, ни сердцу читателя, свидетельствуют лишь о бездне обожания авторессой собственной персоны...

Книга, о которой пойдет речь, к подобному сорту не принадлежит. Это – непритязательное повествование о виденном и пережитом, добросовестная хроника одной жизни на фоне событий века. Как назвать эту жизнь – обычной или необыкновенной? Мне думается, оба эти определения правомерны. Каждое по-своему. Жизнь необыкновенная – потому что вместила в себя сверх всякой меры горя, страданий, мытарств, войн, революций, арестов близких людей. И в то же время – обычная, ибо даже это все – не есть в наше время нечто исключительное.

Легко, непринужденно вводит автор читателя в мир своего детства и юности. Семья – по укладу и воспитанию – типичная дворянская того времени. Типичная? Нет, не совсем. Отец Нины, Алексей Павлович Мещерский, представитель старинного рода, давшего различные – княжеские и не княжеские – ответвления, пренебрег семейной традицией и стал не военным, а инженером, в дальнейшем – руководителем ряда крупных заводов и одним из директоров Международного Банка в Петербурге. Забавный штрих – жена упрекала его: «Ты стал банкиром, это ужасно».

Гувернантки, гимназия, французский, английский, немецкий... (Как, к слову, это пригодилось впоследствии!) Семейное, домашнее протекает на фоне событий исторических. Манеру письма Н. А. Кривошеиной лучше всего характеризуют ее же слова: «писать, не поддаваясь искусству красивого слога». Нигде Н. А. не впадает в несвойственную ей роль историографа, а всегда остается тем, кем была – свидетелем, очевидцем, и события крупномасштабные предпочитает передавать через собственный опыт, через ею самую пережитое. Скажем, октябрь

семнадцатого. Сколько помпезных батальных сцен, сколько модернизированной фальши об этом понаписано...

Н. А. ограничивается лишь тем, что видела сама:

«Трамвай набирал ходу перед подъемом на Дворцовый мост; и тут сразу в окно трамвая я увидела Зимний Дворец: много людей, рядами и кучками стояли юнкера, горели костры, несколько костров, и все было удивительно четко на фоне дворцовой стены... Трамвай, взлетев на мост, вдруг пристопорил, мы даже покачнулись от внезапного тормоза; казалось, водитель решил от испуга поехать назад. Но еще мгновение – и трамвай дал сразу хода вперед и лихим аллюром съехал с моста на набережную; при спуске еще раз, как-то особенно четко и близко, появились молодые лица у яркого ближнего костра...

...„Что это ты так поздно? – недовольно сказала мне мама. – Опять что-то стреляли, лучше по вечерам не выходить, я же говорила“. – „А вы слышали, как недавно ухнула пушка?“ – „Да нет, никакой пушки не слышали, это тебе померещилось!“»

Вот, оказывается, как выглядит история вблизи.

Известно, что пушка все же ухнула. И это не замедлило сказаться на судьбе Нины Мещерской. В июне 1918 года в ее жизнь впервые вторглось понятие *арест* – в Бутырках оказался ее отец. Дальше события головокружительно следуют одно за другим. «Слишком много всего, и все непонятно, весь мир вверх ногами». Поездка в Москву, проникновение в Кремль к самому секретарю Совнаркома, свидание с отцом в тюрьме, хлопоты об его освобождении... Все тщетно. Н. А. уезжает обратно в Петроград. Но затем – не ее усилиями – отец все же выходит из заключения. И сразу же – прощание, Алексей Павлович уходит через границу в Финляндию. А в декабре 1919 года и сама Н. А. совершает по льду Финского залива отчаянный, но увенчавшийся успехом побег из холодного и голодного Петрограда.

Заглавие «Четыре трети нашей жизни» поначалу может показаться несколько замысловатым. Но в послесловии Игоря Александровича Кривошеина, мужа Нины Алексеевны, оно отчетливо разъяснено. Первая треть – в России. Вторая (27 лет) – в Париже. Третья (тоже 27 лет) – в Советском Союзе. На долю вторичной эмиграции, снова в Париж, досталось то, что Н. А. назвала «четвертой третью».

На льду Финского залива, в обстановке смертельной опасности, завершилась первая треть. А в 1948 году на борту электрохода «Россия», увозившего Нину Алексеевну вместе с тринадцатилетним сыном Никитой в Советский Союз, кончилась треть вторая. Многое вместила она – и годы сравнительно спокойной эмигрантской жизни, и годы войны, оккупацию Фран-

ции нацистами, и арест Игоря Александровича, и его возвращение полуживым из Бухенвальда в освобожденный Париж. И так уж сложилась судьба семьи Кривошеиных, что следующей станцией на ее страдном пути оказался Ульяновск, где Н. А. снова встретилась со своим, еще раньше высланным из Франции, мужем.

«На нас смотрели с удивлением, – пишет Н. А., – спрашивали: „Кто же это вас заставил?“ О, этот вопрос еще годами будет нас сопровождать в жизни».

Годы, прожитые в Ульяновске, – это, пожалуй, самая весомая часть книги. И самая страшная. Взгляд автора, свободный от привычки к советскому быту, отмечает такие его подробности, такие стороны, которых уже давно ко всему приученный советский человек почти не замечает.

Еще в пути, на корабле, она констатирует: «Я чувствовала, как они (т. е. первые встреченные советские люди. – Б. З.) меня воспринимали – тут были и жалость, и насмешка, и злобное отталкивание, и, главным образом, полное несовпадение мироощущения».

В офицерской столовой за столиками молодые офицеры – «подтянутые, с довольными, спокойными, вполне сытыми лицами. С прежними дореволюционными офицерами эти лица ничего общего не имеют – совсем другие... Каждому приносят по стакану – 200 граммов... Пьют сразу, одним длинным глотком – вот это я вижу первый раз в жизни».

Получили комнату. Оказалось, стена, отделяющая от соседей, – просто фанерная перегородка, не доходящая до потолка сантиметров на пятнадцать, через которую все слышно. «Притаившись в своей спальне, они слышали нас постоянно. От этого позже произошло много горестей, тогда только мы и поняли, почему нам „дали“ такую комнату, вызывавшую у остальных „реэмигрантов“ нескрываемое чувство зависти».

А горести эти были уже совсем близко. В сентябре 1949 г. Игоря Александровича арестовали.

Как смогла хрупкая, болезненная женщина выжить в следовавшие за арестом мужа страшные годы, выжить без работы, с клеймом «жена врага народа»? Что помогло ей еще и сберечь сына, не поступиться чувством своего человеческого достоинства? Отвоевывать свою злополучную комнату, «ощерясь, как голодный пес, защищаться, будто не чувствуя страха перед властями», ибо «страх остаться без „жилплощади“... был много сильнее»??

Ответ один: необычайная сила духа.

И еще. Значительна и благородна роль профессора Любичева и его семьи в жизни Нины Алексеевны, которая прямо говорит, что если бы не это знакомство, и она, и ее сын, «погибли бы от черной нужды и морального одиночества». Но, думается, не мало весило именно то, что с ней был сын, что она отвечала не только за себя, но и за него, за его жизнь.

В книге есть такой эпизод. Н. А. пытались лишить комнаты. Она отправилась с сыном в МВД жаловаться, сказав: «Если через два часа не выйду – беги; значит, и меня схватили; беги в шпану, домой – ни за что!»

Дело обошлось, но какую надо иметь твердость характера, чтобы в критическую минуту дать *такой* совет сыну.

Но вот вышел из заключения муж, наладилась было, уже в Москве, относительно спокойная жизнь, а испытания не кончились; зловещее понятие *арест*, вошедшее в жизнь Нины Алексеевны еще в 1918 году, продолжало ее преследовать. На сей раз жертвой КГБ стал сын Никита. И этот поворот судьбы оказался в конечном счете решающим – привел к отъезду из СССР сначала сына, а потом и его родителей. Впрочем, эта полоса жизни осталась вне рамок книги.

О многом интересном и значительном, что есть в этой книге, не перескажешь в беглых заметках. У Нины Алексеевны было на ее жизненном пути множество встреч с замечательными людьми. Тут и композитор Сергей Прокофьев в юности, в Петрограде; и Мать Мария в Париже («Я во мгновение ощутила, что со мной говорит святая, удивительно, как это я до сих пор не поняла!»); и Надежда Яковлевна Мандельштам в Ульяновске...

Остановлюсь на некоторых досадных изъянах. На мой взгляд, не очень отчетливо охарактеризована программа движения «младороссов», в котором Н. А. некоторое время энергично участвовала. Равно как и не очень внятно объяснены причины, ее туда приведшие.

Очерк о встречах в Ульяновске (опубликованный еще при жизни Н. А. в 1981 г. в «Вестнике РХД») дает большее представление о профессоре Любичеве, чем страницы, отведенные ему в книге. Вероятно, можно было найти форму включения в книгу хотя бы части этого очерка.

Описаний и сведений общеисторического характера в книге немного, и тут порой могут попасться кое-какие неточности, ошибки памяти. Но во всем, что касается увиденного собственными глазами, прочувствованного на личном опыте, – веришь каждому слову. Вот уж, где ни разу не посетуешь, что автор слишком много внимания уделяет самому себе! Скорее – наоборот.

Грустно, что воспоминаниям Н. А. Кривошеиной суждено было остаться незавершенными. Ее книга подкупает своим – не скажу «исповедальным», уж очень это слово опошлено модой, а доверительным тоном, безошибочно вызывающим ответное доверие читателя.

Под конец позволю себе небольшое отступление личного характера .

Как мельком упоминает в своем послесловии И. А. Кривошеин, мы познакомились с ним в Коктебеле. И вот однажды Игорь Александрович попросил меня показать его жене, Нине Алексеевне, мои коктебельские фото-слайды... А то, мол, она никак понять не может, отчего он из года в год ездит отдыхать в одно и то же место; самой же ей ездить туда не дает болезнь...

В назначенный день я приехал в Измайлово к Кривошеиным с проектором и коробками слайдов. Помнится, Нина Алексеевна, знакомясь, испытующе глянула на меня и сказала: «Посмотрим, какой такой этот Коктебель». И у меня было чувство, словно не только сам Коктебель, а и я заодно держу некий экзамен.

Но все сошло хорошо, Коктебель пришелся ей по душе, да и не мог не прийтись! Ведь для такого случая я отобрал самые лучшие слайды, снятые в красивейших местах.

Затем я достал из портфеля еще одну коробку; то были снимки знаменитой Дубровицкой церкви. Когда я вставил в проектор первый из этих слайдов, и на экране появился неповторимый, увенчанный короной силуэт прекрасного храма, Нина Алексеевна тихо ахнула: «Да ведь это же мои любимые Дубровицы!»

Оказалось, она не одно лето гостила там у друзей и привязалась к чудесной местности у слияния речек Десны и Пахры, где близ самой стрелки поставлена была на рубеже XVII и XVIII веков замечательная (хотя и не очень русская по обличью) церковь Знамения.

До сих пор не могу объяснить себе, что заставило меня вдруг добавить к коктебельским слайдам еще и дубровицкие. Как бы то ни было, мне случилось невзначай доставить минутную радость хорошему человеку. Даже сейчас, много лет спустя, об этом приятно вспомнить.

Ибо Нина Алексеевна Кривошеина была человеком не только незаурядным, но и поистине хорошим. Это впечатление я вынес из встречи с ней. И это отчетливо проявилось в ее воспоминаниях.

Борис Закс

Пределы иронии

«Потерянный рай» – книга в известном смысле уникальная: это первая попытка наших соотечественников рассмотреть феномен так называемой «третьей волны». Перед нами не научный трактат о причинах, по которым в 70-е – 80-е годы XX века Советский Союз покинуло 300 тысяч граждан. И не политический памфлет. Это публицистика, живая, жизнерадостная, с изрядной долей иронии. Я бы даже сказал, что ирония – главная краска, которой пользуются два бывших рижских, а ныне нью-йоркских журналиста П. Вайль и А. Генис, размышляя о психологии советского человека там и здесь, в эмиграции. Люди с острым профессиональным пером, они попытались проследить за широким кругом наших симпатий и антипатий, за тем, каким языком мы говорили и говорим, каковы наши служебные амбиции, отношение к закону, к труду, к выбору мебели для квартиры, к любви, английскому языку и, конечно, к выпивке. В силу российской специфики последняя тема оказалась в книге наиболее разработанной. Казалось бы, эта живая, веселая (по тону) книга, касающаяся каждого из нас, должна была привлечь внимание русской прессы. Но ни «Русская мысль», ни «Новое Русское Слово», ни другие газеты и журналы от Иерусалима до Парижа и от Нью-Йорка до Сан-Франциско не пожелали сколько-нибудь серьезно откликнуться на труд Вайля и Гениса. И напрасно.

Если оставить в стороне детали и авторские отступления, то окажется, что «Потерянный рай» построен по принципу симметрии. В начале книги (глава 2) речь идет о том, что именно мы оставили позади, чем и как там жили, что ценили и почему. А во второй половине книги (глава 6) тема повторяется, но уже в американском варианте: как нам тут. Зеркальный характер конструкции дает эффект аттракциона, известного под названием «комната смеха». Сменив страну обитания, эмиграция наша сохранила свои старые вкусы и взгляды. В новой обстановке вкусы и взгляды советского происхождения выглядят, мягко выражаясь, смешно, а подчас и доставляют нам серьезные неприятности. Вот как эта ситуация видится П. Вайлю и А. Генису:

«В целом русская эмиграция устроилась дай Боже каждой. Советское образование оказалось неожиданно хорошим, наши таланты – выше среднего, а эмигрантские побивные способно-

Петр В а й л ь, Александр Г е н и с. «Потерянный рай». – Изд. «Москва-Иерусалим», 1983.

сти превысили аналогичные показатели техасских ковбоев. Грубо говоря, „технари“ нашли достаток и уверенность, „лавачники“ – бизнес и безнаказанность, а „гуманитарии“ заняли дно общества. Три сословия, на которые мы условно разделили эмиграцию, вышли примерно на тот же уровень, который они занимали в России. И все три остались им недовольны».

Как объясняют авторы, наши инженеры у себя дома мало интересовались своими прямыми обязанностями. Там инженер – должность не престижная. Зато наши «технари» были людьми интеллектуальными: читали Самиздат, участвовали в КВН, устраивали капустники. В конструкторских бюро обсуждали фильмы Куросавы и спорили о стихах Евтушенко. «В Америке, – пишут Вайль и Генис, – технари занимаются своими непосредственными обязанностями. А обязанности по определению не могут будить в человеке разумное, доброе, вечное. Во всяком случае, в том весьма карикатурном варианте, в котором это разумное, доброе, вечное понимали дома». Короче, советские технари, по своим сравнительно высоким доходам, попали в Америке в средний класс. Их коллеги-аборигены не склонны составить им компанию в привычной для советского инженера болтовне на рабочем месте. «Труд, который был источником дружбы, ненависти и анекдотов, стал лишь источником доходов», – резюмируют авторы. Отсюда неудовлетворенность, недовольство.

Но оказывается, что и высокая обеспеченность наших инженеров приносит им не только положительные эмоции. Деньги – тема особого размышления авторов:

«В России постоянная нехватка денег превратила бедность в рыцарское качество. О деньгах было не очень прилично говорить. Как о презервативах, к примеру. Человек со сберкнижкой вызывал некоторое сожаление и неприязнь. Старая русская традиция – быть на стороне неимущих – в советских условиях стала необходимым защитным комплексом. Если презирать богатство, нищета покажется наряднее». Но вот в Америке наш инженер, которому дома никогда не удавалось дожить до зарплаты без одолженной у соседа десятки, обрел материальное благополучие. Как это влияет на его физическое и душевное состояние? «Он покупает „Тойоту“, дом с пяточком земли, спнинг – и за 2-3 года превращается в пенсионера в его дачно-санаторном варианте. Эффект резкого постарения заметнее всего как раз на хорошо устроенном эмигранте. Доброкачественное питание, восемь процентов годовых и обеспеченная старость неожиданным образом прибавили ему лишний десяток лет».

Ну, а как изменилась жизнь наших дельцов? Ведь на Западе они открыли для себя мир свободного предпринимательства («В России этот мир почти всегда с одной стороны ограничивался решеткой, – комментируют авторы „Потерянного рая“. – Здесь (в Америке. – М. П.) в тюрьму вообще попасть сложно»). Да, наши бизнесмены чаще всего процветают на общеамериканском, так сказать, уровне. Но кое-какие элементы советского правопорядка их бизнес сохранил. «В эмигрантском ресторане из шашлыка клиента повар готовит обед для своей семьи. В эмигрантском магазине цена будет зависеть от отношения продавца к покупателю. Эмигрантский концерт начнется на полтора часа позже назначенного времени. Торговля наркотиками, игральные притоны и русские публичные дома – лишь экзотический довесок к вообще-то знакомой по России картине».

Чем же недоволен делец, быстро приумноживший на Западе свой достаток? Оказывается, ему не хватает престижа. Там, по словам Вайля и Гениса, «мясник из гастронома, приглашая гостей на годовщину свадьбы, запросто включал в число гостей наряду с завкладом Шишкиным и артиста Райкина, и хоккеиста Харламова». Находясь в самом низшем (и самом уязвимом) слое общества, все эти швейцары, портные, администраторы гостиниц и скорняки, в то же время, благодаря своим возможностям, были причастны и к слою высшему. Там они были людьми, владеющими властью, а здесь, в Америке, они всего лишь располагают деньгами. Обидно. Не то...

Что до гуманитарной интеллигенции, то все эти журналисты, преподаватели литературы, экскурсоводы, культпросветработники, как справедливо замечают авторы книги, «принадлежат к классу людей, которым просто не на что надеяться». Та же оценка относится к редакторам, цензорам, бывшим работникам радио, кино и знатокам философии. Девяносто процентов наших писателей также не имеют надежды прокормить себя в Америке литературным трудом. «Если чикагскому инженеру эмигрант представится, скажем, русским журналистом, – пишут Вайль и Генис, – то скорее всего в ответ услышит: „Вы не должны отчаиваться. У вас еще все будет прекрасно. Вы еще сможете стать программистом“».

И тем не менее наши гуманитарии не предались отчаянию. «Они отказались переучиваться на бухгалтеров, а вместо этого создали собственную микроструктуру, внутри которой восстановили старую иерархию ценностей». И действительно, наши журналисты сотрудничают в периодических русскоязычных изданиях, получая, к примеру, 20-25 долларов в «Новом Русском Слове» за статью, над которой приходится работать целую

неделю. Писатели наши издают ежегодно до 400 книг на Западе, и многие из них оплачивают типографские расходы из собственного кармана. «Вся эта культурная жизнь рассчитана на внутреннее потребление. Она не дает ни денег, ни положения, ни перспектив... Однако именно такая противоестественная ситуация порождает иллюзию нормальной интеллигентской жизни. Потребность в социально-престижном функционировании оказалась (для наших гуманитариев. – М. П.) куда сильнее новых прагматических установок».

Проблемы культуры, вполне естественно, волнуют публицистов. Они свидетельствуют, имея в виду прежде всего Нью-Йорк: «Русская речь звучит у всех кинотеатров, где идет ретроспективный показ фильмов Феллини, Куросавы, Пазолини. На открытии любой значительной выставки вы всегда встретите русских (речь идет все о той же «третьей волне». – М. П.). На вернисажах в галерее Эдуарда Нахамкина не протолкнуться... Книжки в магазине Виктора Камкина расхватываются мгновенно... Все это так, но, как всегда, всем этим занимается один процент населения. Просто, в Союзе один процент составляет два с половиной миллиона, а у нас человек 600. Основная масса эмиграции решительно отвергла незнакомое американское, оставив из него только телевизор, и стала культивировать свое». Свое это, по мнению Вайля и Гениса, прежде всего пошлые песенки на кассетах, с дивными названиями, вроде: «Вы хотите песен, их есть у меня», «Блатные песни с армянским акцентом», «Четыре брата и лопата» и т. п. Авторы полагают, что успех пошлости в нашем новом мире связан с отсутствием редактора, запрета, сильной руки. И действительно, в Советском Союзе ни один редактор не пропустил бы в эфир таких песенок Горовца:

«Там за красную икру
Девушки вам „ай лав ю“».

Политических пошлостей там сколько угодно – и на радио, и в газете, и в концерте. Но сочинение Горовца «Люблю я макароны!» там не прошло бы. И тому есть причина, о которой не говорят в своей книге Вайль и Генис.

Эмиграция есть смешение социальных слоев советского общества. Торговые работники из Кишинева и редакторы из Ленинграда имели разную культуру, там и здесь они пели и поют разные песни. Но там они не оказывались в одной компании, ибо были разделены не столько географически, сколько социально. В эмиграции мы – все вместе: в ресторане, на собрании ветеранов Второй мировой войны, в представлении американцев. И людей, любящих блатные песенки с армянским акцентом, в любой толпе больше, нежели тех, кто предпочи-

тает Вивальди. Любителей Горовца – больше, главное, их слышнее. Но мне кажется, что авторы «Потерянного рая» все же преуменьшают число тех, кто в Америке читает (и пишет) книги, слушает (и исполняет) серьезную музыку, посещает художественные выставки и выставляет собственные картины. Из-за смешения социальных слоев их, действительно, не сразу можно заметить в толпе, но публицисту следует быть зорче и, кроме того, строить анализ не только на визуальных наблюдениях.

Наиболее сильны те страницы книги, где Вайль и Генис подмечают социальную незрелость эмиграции: наше неуважение к западным демократическим институтам, неспособность в большинстве случаев признать право другого на собственное суждение, попытки использовать западные свободы для оправдания собственного своеволия. В том же ряду стоит наша беспомощность перед лицом любого серьезного выбора. В социальном отношении «третья волна», действительно, проявила себя на редкость беспомощной и вялой. За полтора десятилетия мы не создали сколько-нибудь живучих организаций (не говоря уже о партиях), наши газеты и журналы отличаются недолговечностью и малым авторитетом у читателей, у нас нет ни своих клубов, ни библиотек. «Третья волна» не выработала даже сколько-нибудь серьезных альтернатив по отношению к советскому строю.

Бывшие советские люди на Западе утратили даже те качества, которые помогали им бороться с советской системой т а м. «В эмиграции, – пишут Вайль и Генис, – освободившись от нелепых и унижительных идеологических ограничений, мы последовательно освободились и от норм общественного этикета. И тем начисто уничтожили свое единственное подлинное духовное достояние – общественное мнение. Его в эмиграции нет... Эмиграция – разрозненная хаотическая масса... Мы охотно и радостно отказались от прежних навязанных критериев, а новых не приобрели». И вот результат (один из многих!): в среде торговых конкурентов нормальным считается публично обвинить соперника в сотрудничестве с КГБ или написать на него донос в налоговое управление. Добавим: и не только в среде торговцев.

Дети закрытого общества, мы не имели возможности заранее представить себе достоинства и недостатки западного образа жизни. Из своей советской провинции мы выезжали на Запад в состоянии некоторой эйфории. Многим Америка представлялась раем. При более близком знакомстве оказалось, что хотя Соединенные Штаты страна действительно прекрасная, но раем здесь даже не пахнет. Последнее открытие (весьма раздо-

садовавшее многих наших соотечественников) дало название книге Вайля и Гениса. Потерянный рай – это потеря Америки, которой нет, но о которой мечтали.

Я читал книгу с интересом, а многие страницы с удовольствием. Особенно те, где авторы показали свое умение наблюдать жизнь современников в ее конкретных реалиях. Живость, остроумие тоже украшают «Потерянный рай». Но, к сожалению, попытки Вайля и Гениса острить на каждой странице, шутить в каждом абзаце нанесли их произведению и немалый вред. Обязательные шуточки, хохмы, ирония над всем и вся подрывают читательское доверие к позиции авторов. Религия и политические взгляды, любовь и воспитание детей, русский шовинизм и акции диссидентов – мимо всех этих важнейших проблем книга пронесит нас с бубенцами и молодецким посвистом. Порой начинаешь думать, что для авторов судьба трети миллиона их современников, в общем-то, безразлична, мила лишь сама по себе ирония, игра, поиск острого слова, меткого афоризма.

Вот как, по Вайлю и Генису, отличалась духовная жизнь СССР 60-х годов от жизни 70-х. «...Наши „шестидесятники“ выросли удивительно похожими на своих предков из XIX века. Современные Базаровы тоже хотели резать лягушек и бороться с социальной несправедливостью. Энергично отвоевывав свое право на модный танец твист, синхрофазотроны и независимое мышление, они породили стереотип деятельного и увлеченного человека. В литературе их привлекал Штольц, а не Обломов, в женщинах – сила, а не слабость, в компасе – Запад, а не Восток... Пришло новое десятилетие, и главные поклонники Америки – диничные и наивные Базаровы – стали строить дачи, читать Хомякова и учиться óкать. Оказалось, что патриотизм не только ближе и понятней, но и дешевле обходится. В 60-е неконформисты носили клетчатые штаны и слушали джаз. В 70-е стало модно называть детей Аринами и по рассеянности вставлять в письма „яти“».

Поверхностный блеск этого пассажи бьет в глаза всякому, кто на собственной шкуре вынес тяготы двух минувших десятилетий. Внешне – как будто, все так. Но только внешне.

В той же манере катания на американских горах (Вверх! Вниз! Ух, ты! Эх, ты!) говорится в книге и о таких, например, непростых вещах, как диссидентство. О политической оппозиции последних лет мы узнаем лишь, что диссиденты унижали советское общество антисанитарным убожеством своих квартир. А также, что крушение оппозиции в СССР связано с тем, что советские власти узурпировали для своей идеологической про-

паганды все благородно звучащие слова, так что диссидентам пришлось пользоваться теми же «загрязненными» словами, какими пользуется газета «Правда». Эти «испорченные» слова, разумеется, никого не могли привлечь... Вот вам и вся история наших мучеников и страдальцев от Сахарова и Орлова до сгинувших в лагере Галанскова, Кука и многих других.

Я не верю, что Вайль и Генис утратили уважение к поколению, которое пошло в тюрьмы и лагеря ради сохранения своей веры, своих убеждений. Но бесконтрольная и безоглядная ирония привела их к тому, к чему ирония приводит каждого, кто не умеет или не желает управлять этой опасной стихией, — к цинизму. Грех Ильфа и Петрова, которые великолепную иронию использовали в своих книгах, в частности, для того, чтобы топтать и унижать русского подсоветского интеллигента, издеваться над священниками и освистывать попытки сопротивления режиму, как видно, ничему не научил авторов «Потерянного рая». Но если цинизм творцов «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца» еще можно объяснить их политической неопытностью и рамками советской цензуры, то Вайлю и Генису цензура не мешала и опыта общественного у них вполне достаточно. На камни цинизма их вынесли отнюдь не внешние силы, а волна их собственной избыточной иронии.

С Ильфом и Петровым их роднит еще один эффект. Вспомним, как ничтожны концовки двух классических романов, которые мы знаем с юных лет. После феерии острот и фантастических сюжетных поворотов Ильфу и Петрову буквально нечего было сказать в конце. Кроме разве, что на деньги, найденные в двенадцатом стуле генеральши Поповой, советская власть построила рабочий клуб. Независимым от цензурного диктата Вайлю и Генису ничто не мешало построить последнюю главу на полном дыхании. К сожалению, в заключительной части их книги читатель ничего конструктивного или хотя бы сколько-нибудь серьезных выводов не обнаружит. «Да, мы — одиноки в нашей эмиграции. Да, нам не на кого опираться и не на кого обижаться здесь. Каждый должен надеяться только на самого себя». Вот то небольшое, что можно вычитать из этой концовки. Бедновато...

И все-таки я рекомендую моим соотечественникам прочесть эту книгу. Ведь это первая книга о нас. Первая. В этом ее сила, в этом и слабость.

*Марк Поповский,
Нью-Йорк*

«Вечность верных щадит, не судит»...

Поэзия российской эмиграции – целый литературный материк, феномен, ждущий своего читателя и истолкователя дома, в России.

В данном случае «дом» понятие скорее метафизическое: ведь поэзия первого эмигрантского поколения сформировалась и родилась уже в не родной земли, ее реальная родина – «за-граница».

Таким образом эмигрантская лирика отличается от обычной: она выросла уже не из живой органики окружающей родной речи, но из языкового наследия, вывезенного из отечества, и из уже сформировавшейся прежде – в традиционных условиях – изящной словесности (тут естественно выносимы за скобки поэты, получившие в той или иной степени твердое литературное имя еще на родине: Ходасевич, Цветаева, Георгий Иванов и т. п.).

Итак, ее поэтика – по определению – эклектична: сколь не были б злободневны и синхронны жизни поэта темы (чужбинный пейзаж, изгнанническое бытие и проч.), ее формообразующая структура питается выносами минувшей литературы. Это, однако, вовсе не однозначно отрицательное явление: сохранение канонизированной и организованной прежде речи – весьма положительная задача, особенно, когда в метрополии в целом литература переживает бурную деградацию, и живое слово – в подполье. Сверстники этого поколения эмиграции были в СССР поставлены в еще более невыгодные для творчества условия: в условия советского языка и кровавого большевистского быта.

Екатерина Леонидовна Таубер родилась в Харькове и выехала из России с родителями в семнадцатилетнем возрасте – в 1920-м году. Ее первая стихотворная книга «Одиночество» вышла ровно пятьдесят лет назад... Поэзию Таубер одобряли такие взыскательные ценители, как Ходасевич, Гиппиус, Бунин. Ее лирику периодически публиковали «Грани», «Новый журнал» и другие периодические издания и альманахи российского зарубежья (Таубер еще и автор рассказов, критических статей и литературных эссе).

Екатерина Таубер. «Верность». Стихи. – Изд. «Альбатрос», Париж, 1984 г. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить издателя и коллекционера – парижского профессора Р. Герра – за его неоценимый вклад в дело сохранения российской эмигрантской культуры.

«Верность» – п я т а я книга живущей ныне в Мужене (французские Приморские Альпы) Е. Таубер.

Там, на дереве, солнцем нагретая,
Эта слива сочна и нежна,
В плащ закутана фиолетовый,
Летним днем так блаженно пьяна.
Шмель над нею, как шальный, проносится,
Тихо бабочка кружит, легка.
И коснуться рука моя просится,
И жалеет, и медлит рука.

Поэт апеллирует к читателю словарем времен «Чтеца-декламатора», словарем, которым поостерегся бы пользоваться любой даже самый тяготеющий к традиционализму поэт из СССР.

Но за счет органичного отсутствия рефлексии по поводу лексики и образного запаса, а, главное, столь естественного для лирики Таубер сердечного тепла – вышеприведенная пьеса имеет весьма определенное обаяние. Его рождают «резюмирующие» последние строки: оригинальное отсутствие собственно «предмета касания», четыре разнонаправленных динамичных глагола, два раза эффектно повторяющаяся «рука».

Зачин стихотворения «Бретань»:

Кораблик, грубо позлащенный,
Моряк в собор принес,
В семью пучиной возвращенный,
Своих не пряча слез.
На сельском кладбище Бретани
Товарищи лежат...
Лишь он, спасенный, утром ранним,
Сладчайшей жизни рад.

Этот столь трогательно и выпукло названный дар спасенного Господом моряка родному собору так пронзительно зрим и ясен читателю, что и вся остальная поэтика «Бретани» проходит под его знаком, снимая недовольство эклектизмом дальнейших словосочетаний стихотворной пьесы («плывут туманы», «печатать промчавшихся столетий»).

Поэзия Е. Таубер – глубоко и органично пропитана православным духом. В отличие от уже привычной нам современной

лирики она вовсе не immoralна. Ее стихия – смирение, а не бунт, не самоутверждение.

Да, надо сказать прямо: что есть не что, покрывающее даже самую изощренную изящную словесность, и это нечто – дух творчества. Он не является, конечно, залогом качества, но помогает – как в данном случае, когда он столь христианистичен, – выигрывать в благородстве.

В нашей традиционной поэзии – дух этот еще и обаятелен, тёпл. Влияние советизма (а иногда и поверхностного авангардизма), казалось бы, его истребило, однако вот – он чудом уцелел в теперь уже заслуженной и старой эмигрантской поэзии, сохранившей вдобавок и трогательные провинциально-романсовые оттенки.

Вечность верных щадит, не судит
За святого упорства грех

– уверенно заявляет Таубер и от лица всего поколения говорит:

Твой чекан, бывлая Россия,
Нам тобою в награду дан.

Юрий Кублановский

«Не отрекись от каждой
строчки прошлой...»

В «Юности» № 9 за 1983 год опубликована поэма Андрея Вознесенского «Поэтарх», что означает – поэтическая архитектура. Вернувшись к своей первой профессии, поэт спроектировал своеобразный летучий памятник поэзии вообще: шар, поддерживаемый струями воздуха, а внутри него – зал для поэтических выступлений. Вот об этом-то проекте поэт-архитектор и написал поэму, тут же напечатанную...

Моя ли вина, что в подлунном краю
Две силы боролись за душу мою,

Андрей Вознесенский. Собр. соч. в 3-х томах. – Изд. «Художественная литература», Москва, 1983.

Небесна одна, а другая земна,
Несоединимое – соединю...

Строки эти воспринимаются не только как своего рода идея проекта, но шире – в них, кажется, выразились те колебания поэтического маятника, которые бросали и бросают Вознесенского от блистательной поэмы «Мастера» к ремесленнически серому сочинению о Ленине – «Лонжюмо», написанному скучно и натужно, от «Треугольной груши» и «Антимиров», с их симфоническим построением, к стихам об одичалых степных лошадях Крыма, не надоумивших поэта задаться вопросом: а с чего это они одичали? где, в какой ссылке уже сорок лет пребывают бывшие хозяева этих табунов, крымские татары...

И вот перед нами первый из трех томов собрания сочинений Андрея Вознесенского. Пропустим пустоватое, ничего не объясняющее и не открывающее, предисловие Льва Озерова, нужное, видимо, чтобы путем многочисленных упоминаний о Николае Асееве изобразить Андрея Вознесенского поэтом, идущим по следам Маяковского. Это даже не полуправда, это на девять десятых – ложь. На Маяковского поэт становится похож, только когда выдавливает из себя казенные стишки, которых, к чести его, не так уж у него много. И они настолько слабы, настолько лишены отпечатка личности поэта, что их можно было спокойно из собрания избранного исключить. Но то ли сам поэт побоялся, то ли издательство поставило условие, эти поделки, недостойные одного из самых крупных русских поэтов нашего времени, все же в его первый том вошли.

Несколько непонятно, почему многие стихи поменяли место – например, «Осень в Сигулде», один из шедевров лирики Вознесенского, здесь помещен в цикле «Парабола», тогда как в свое время издан был впервые в сборнике «Треугольная груша», вышедшем тремя годами позднее «Параболы».

Вообще, изменение состава сборников тут весьма значительное, и это жаль, потому что каждая из книг первого периода – «Парабола», «Мозаика», «Треугольная груша», «Антимиры» и «Ахиллесово сердце» – представляет собой единый организм, и перемещение стихов ощущается болезненно.

Но зато здесь, в первом томе трехтомника, впервые после журнального варианта 1964 года, полностью – вернее, почти полностью – опубликована пронзительная лирически-философская поэма «Оза». В нескольких книгах выходили отрывки из нее, а целиком – только теперь. Впервые за двадцать лет мы можем охватить всю сложную структуру и полифонию этой необычной поэмы. Поэмы, в которой звучит с математической

четкостью, железно сформулированное, отрицание железно-бездушного мира, тупого и жадного Молоха, который официально называют то техническим прогрессом, то крикливо – научно-технической революцией:

Мы – не хлам для аукциона, я – Андрей, а не имярек,
Все прогрессы реакционны, если рушится человек!

И далее:

Лишь одно на свете постоянно,
словно свет звезды, что ушла,
продолжающееся сиянье,
называли его душа,
мы растаем и снова станем,
и неважно, в каком бору,
важно жить, как леса хрустальные
после заморозков поутру...

И вместе с тем, вместе с этими обобщениями, с этой страстной лирической проповедью, в поэме есть очень характерные для Вознесенского сочетания крупных планов, как в кадре фильма, с картинками несовместимых масштабов: две женских туфельки – вот они, крупным планом, во весь экран:

Левая к правой набок припала,
их не поправят – времени мало.

И сразу – следующие строки, строки о неприютности души людской в нашей хваленой современности, в той, где «времени мало», в той, где все некогда быть человеком:

В мире нетоплено, в мире – ни зги.
Вы еще теплые, только с ноги...

Этот мотив – огромного, железного, холодного, неприютного мира и эфемерного, слабого, но живого, теплого человеческого духа, это их противопоставление, эта неравная борьба души с тем монстром-миром, который мы сами же создали в приступе гигантомании и гордыни – один из главных мотивов творчества Андрея Вознесенского. И, как обычно, когда говорят о том или ином поэте, всегда первым вспоминается такое его произведение, которое становится символом его личности, его творчества. У Блока это «Незнакомка», у Пушкина – «Медный

всадник», у Ахматовой – «Поэма без героя», для Вознесенского – таким главным его стихотворением стали «Васильки Шагала», в этот первый том не вошедшие:

Это росло у Бориса и Глеба в хохоте нэпа и чебурек,
Во поле хлеба – чуточку неба – небом единым жив человек!
В них витражей голубые зазубрины, с чисто готической тягою
вверх,
Поле любимо, но небо возлюблено, небом единым жив
человек!
В век ширпотреба нет его, неба,
Доля художников хуже калек,
Давать им сребреники нелепо, небом единым жив человек!

Написавшего эти строки – не побоюсь назвать их гениальными – нельзя не упрекнуть, что за книгу «Витражных дел мастер» он принял государственную премию. Премию, которую дали ему за самые плохие его строки – за корявые вирши о Ленине, за то самое «Лонжюмо», за ту самую ложку дегтя, которая не может не портить...

И все же – как бы ни старались, как бы ни приручали его, как бы ни делали из него – при помощи пресловутого «хрестоматийного глянца» – поэта советского, Вознесенский остается русским национальным поэтом. А понятия «русский» и «советский» всегда были понятиями антагонистическими, выражаясь дубово-иностранным марксистским лексиконом. Все попытки подмять под себя национальное – как русское, так и национальное других народов ненасытной империи, – все эти попытки осыпаются как прошлогодние листья.

В музыкальном спектакле «Авось», сценарий и текст которого написаны Вознесенским, есть такие строки:

Вместо флейты подыдем флягу,
Чтобы смелей жилось,
Под российским небесным флагом
И с девизом а в о с ь!

В двух строках – русский характер, сочетание таких понятий, как андреевский, военно-морской, русский флаг, и вроде легкомысленное, а по сути бесшабашно-отважное «авось». И этим настроением, этой непредсказуемостью поведения, этой не вмещающейся ни в какие расчеты силой души полна лирика Вознесенского. В ней всё музыка – настолько, что за стихами,

как правило, угадываются мелодии, подсказывающие то, чего нет в словах...

Ритмы – вот мотор его поэтики, как метафоры – мотор формы...

И первый том трехтомника, хотя в нем помещено несколько стихотворений слабых, или просто проходных, все же подводит своеобразный итог. Здесь собраны стихи за период с 1955 по 1978 год. В следующем томе, наверное, будут стихи более поздние... Но, так или иначе, за три десятка лет, были и взлеты, и падения, и все это должно быть отражено в собрании сочинений. И пожалуй, если выкинуть свидетельства падений – слабые вещи, – книга будет лучше, но история этих тридцати лет творчества будет искажена. Поэтому прав поэт, когда в одном из самых поздних стихов этой книги пишет:

Не отрекусь от каждой строчки прошлой.

Что ж. Верно. Только хочется пожелать, чтоб далее поэту вообще не пришлось думать о том, что у него есть все же некоторые стихи, о которых, не отрекаясь, приходится пожалеть, что в минуту слабости написал...

Василий Бетаки

Восемь минут свободы

Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был арестован госбезопасностью СССР в тот самый год, когда в журнале «Новый мир» была напечатана повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Тюремную правду разрешили. Ну, а в сю тюремную правду, по обе стороны решетки, затолкали в темницу. Почти на двадцать лет.

Ныне Василий Гроссман стал на Западе сенсацией, как ранее – Солженицын. Имена Гроссмана и Солженицына звучат рядом, особенно часто в европейской прессе, принявшей последнюю книгу Гроссмана как крупнейшее событие литературной, и не только литературной, жизни.

Василий Г р о с с м а н. «Жизнь и судьба». – Изд. «L'Age d'Homme», Швейцария, 1980.

Более полугода, к примеру, французский перевод романа находился в списке бестселлеров. Насколько значительным было его влияние на читателя, свидетельствует и такое, несколько неожиданное, заключение одного из известных критиков: «Думая о России, мы говорили: Солженицын! Сейчас мы говорим: Солженицын и Гроссман! Пройдет время, и мы будем говорить: Гроссман и Солженицын...»

Писателей не только сравнивают, но, как видим, и противопоставляют.

Наверное, это не заслуживало бы внимания (История в наших подсказках не нуждается), если бы не одно обстоятельство, по крайней мере, странное: книгу-арестанта, погибшую, казалось, навсегда – были изъяты, как известно, не только все экземпляры рукописи и черновики, но даже копия, – т а к у книгу русская эмигрантская пресса постаралась не з а м е т и т ь. «Континент», напечатав в свое время несколько глав из романа*, когда книга, наконец, предстала перед читателем во всей полноте... дал блеклую отписку. Остальные вообще зажурились. Младенческая «игра в жмурки» длилась целых пять лет, с 1980-го до конца 1984-го, пока внимание русского читателя к книге Василия Гроссмана не привлек и н о я з ы ч н ы й мир, назвавший роман «Жизнь и судьба» р о м а н о м в е к а.

Что позволили себе замалчивать, и замалчивать бдительно, поводыри русской эмиграции, называющие себя борцами за свободу России?

Главный герой романа «Жизнь и судьба» – с в о б о д а. Свобода, которой в родной стране нет. Никакая цензура не могла бы купировать, «сократить» этого героя, ибо он жив в каждом, без преувеличения, образе, он пульсирует – страхом и болью о потерянной свободе, памятным глотком свободы, жадной воли вольной.

Заглавный герой, или *тема свободы*, раскрывается со страстью и без умолчаний в предсмертной исповеди, на лагерной больничной койке, революционера Магара.

«...Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции...» (123)

Возможно, это слова человека раздавленного, судьба которого бросила, в его глазах, кровавый отсвет на всю историю. Произнеся их, зэк Магар повесился.

* Отрывки печатались также и в «Гранях» (№ 97, июль-сент. 1975), и в «Посеве» (№ 7, 1975 г.) – Р е д.

Но вот перед нами свободные люди, высказывающиеся с редкой, давно непривычной для нашей подцензурной литературы откровенностью. Говорят о Чехове, который сказал о России, как никто до него не говорил, даже Толстой. «Он сказал: самое главное то, что люди – это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие...люди равны, потому что они люди»...

«Ведь наша человечность всегда по-сектантски непримирима и жестока. От Аввакума до Ленина наша человечность и свобода, – продолжают герои Гроссмана, – партийны, фанатичны, безжалостно приносят человека в жертву абстрактной человечности... Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был... Вот это и называется демократия, пока несостоявшаяся демократия русского народа» (187-188).

Может быть, именно это, чеховское, «пусть Бог посторонится», несозвучное взглядам русской эмигрантской прессы, и привело ее в некоторую оторопелость. Но не эмигрантское свободомыслие – наша тема.

Безоглядно смелый, рискованный – и по месту, и по времени (война, эвакуация) – разговор этот вызвал у его участника физика Штрума такой прилив духовной энергии, что привел к огромному научному открытию. «...Странная случайность, вдруг подумал он, внезапная мысль пришла к нему, когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников» (193).

Гроссман описывает известный всему миру сталинградский «дом Павлова» в последние минуты жизни его защитников. Не нравится Павлов (в романе – Греков) политработникам. Слухи доходят (под землей, другой связи с осажденным домом нет), что защитники ведут между собой слишком вольнолюбивые беседы, поговаривают о «всеобщей принудилровке», о том, что после войны нужно распустить колхозы и пр. «Для расследования» направляют к ним батальонного комиссара Крымова, известного нам еще по первой части гроссманской сталинградской эпопеи («За правое дело», «Новый мир», №№ 7-10, 1952. – Р е д.). Между комиссаром и Грековым происходит знаменательный разговор:

«– Давайте, Греков, поговорим всерьез и начистоту. Чего вы хотите?...

– Свободы хочу, за нее и воюю.

– Мы все ее хотим.

– Бросьте, – махнул рукой Греков. – На кой она вам. Вам бы только с немцами справиться» (292).

Ночью Крымова ранило, пуля ожгла голову, и он решил, что это Греков стрелял в него, решившего отстранить Грекова от командования: «Политически горбатых не распрямляют угорами».

Начинается немецкое наступление, и Греков погибает, вместе со всеми защитниками прославленного дома. А не погибни он, расстреляли б его свои, по доносу комиссара.

Не успели расстрелять, так уничтожили документы, представлявшие Грекова к званию Героя Советского Союза посмертно. Многого захотел Греков – свободы...

Другой персонаж, подполковник Даренский, видит в калмыцкой степи старика, скачущего на коне. «Даренский следил за стремительной скачкой старика, и в висках не кровь стучала, а одно лишь слово:

– Воля...воля...воля...

И зависть к старому калмыку охватила его» (195).

Но если тоскуют по воле все или почти все герои Василия Гроссмана, если они испытывают, как физик Штрум, прозрение – в редкие драгоценные мгновения свободы, то что же происходит в стране, ведущей войну под знаменами свободы и демократии? Почему ученые, даже столь известные, как профессор Соколов, работающий со Штрумом, доходят до полного раболепия перед собственным государством, воспринимая «гнев государства, как гнев природы или божества... Однажды Штрум прямо спросил его...»

Далее отсутствует несколько страниц. Утеряны, заменены многоточиями*. Можно только догадываться, о чем они, эти утерянные страницы. Нет ответа профессора Соколова, отчего он раболепствует перед властью, но сразу же после пробела появляется новый герой, Мадьяров, появляется, как если бы был нам давно знаком. Мадьяров не верит, что маршалы Тухачевский, Блюхер и другие военачальники были врагами народа, и мечтает – ни больше, ни меньше – о свободе печати...

«Спокойная обыденность мадьяровского голоса казалась немислимой» (182).

Не трудно понять, почему от образа вольнолюбивого Мадьярова в романе остались ножки да рожки. Столь «немислимый»

* Издание романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», неизвестными путями, в виде двух дефектных рукописей, попавшего на Запад, подготовлено С. Маркишем и Е. Эткиндом.

текст не только написать, но и хранить в СССР – опасность смертельная... Во скольких домах, во скольких столах побывали экземпляры рукописи, числившиеся «в бегах»!..

Тем не менее, высказаться Мадьярову удалось. В полной мере. Это сделал за него автор. Можно сказать, открытым текстом. В рукописи, предназначенной для московского журнала. Для этого ему пришлось прибегнуть к литературному приему, в высшей степени – для Гроссмана – рискованному.

Действие романа происходит то по одну линию фронта, то по другую. Перед нами концентрационные лагеря – немецкие и советские, окопы и штабы – немецкие и советские, ставка Гитлера и ставка Сталина. Поначалу возникает ощущение, что книга написана как бы двухцветной; перемежаются страницы коричневые – о гитлеровцах, и красные – о силах «прогресса и демократии». Но вскоре понимаешь, что ощущение это – ложное. Оптический обман, не более того. На «коричневых» страницах обстоятельно разъясняется все то, что недосказано на страницах «красных». Мотивы поступков. Закономерности явлений, психологических и социальных. Однотипность размышлений по обе стороны фронта поражает.

Немецкий офицер Питер Бах, когда-то ненавидевший Гитлера, подводит итоги своему заблуждению: «...Удивительная вещь, долгие годы я считал, что государство подавляет меня. А теперь я понял, что именно оно выразитель моей души» (258).

Советский ученый Штрум, теоретик ядерной физики, ощущал родное государство как могильную плиту, – «навалится на него, и он хрустнет, пискнет, взвизгнет и исчезнет» (465). Однако после звонка Сталина к Штруму духовная эволюция советского человека зеркально отражает эволюцию новоявленного нациста Питера Баха. «Но ведь звонок Сталина не был случайностью. Ведь Сталин – это государство, а у государства не бывает прихотей и капризов» (571). «Всё происходившее невольно стало казаться естественным и законным. Правилom стала жизнь, которой жил Штрум... Исключением стала казаться жизнь, которая была раньше, и Штрум стал отвыкать от нее» (572). Штрум вспоминает рассказ Крымова о «психологической перестройке» следователя военной прокуратуры, который был арестован в 1937 г. и в первую ночь после скорого освобождения произносил свободолюбивые речи, страдал всем лагерникам, а когда его восстановили в партии, перестал звонить Крымову, попавшему в беду...»

И снова, и снова многоточия вместо целых страниц...

Тем не менее, в книге нет темных мест. Нам понятны мотивы, заставляющие, скажем, ученого Штрума, который гордился

своей независимостью, послушно, с рабской готовностью, подписать коллективное письмо о том, что... сталинского террора не было вообще, все подозрения – провокация Запада... Диктатура ломает личность, растирает ее в порошок, остается лишь «темное, тошное чувство покорности» (585).

Путем гитлеровского офицера Питера Баха следует и советский комиссар Гетманов, – автор не утаивает от нас, как нарастал, креп дикий страх в душе бессменного партийного вождя; этим же путем самогипноза следует и старый большевик Крымов, убедивший самого себя в постоянной правоте государства, которое, в конце концов, с ним и расправляется.

Коричневое и красное в книге совмещается ошеломляюще. Умница, смельчак майор Ершов, захваченный немцами в плен и ставший любимцем советских военнопленных, отсылается подпольным комитетом коммунистов-военнопленных в лагерь уничтожения, поскольку он, майор Ершов, «из кулацкой семьи». Не побрезговали советские комиссары и генералы использовать в своих целях Освенцим. Расправу – довели до конца...

Роман Василия Гроссмана многогранен, как сама жизнь. За его героями – вся страна. Кромешный ад Сталинграда («Сталинградская опупея», – говорит солдат), эвакуация, пьянство генералитета и черствый солдатский сухарь, – тему социального размежевания народа, начатую еще в первой, изданной при Сталине, части, он продолжает неумолимо: «...Буксир потихоньку тянул баржу... Ехавшим на празднование секретарям и членам бюро наскучило стоять на ветру, и они вновь сели в машины. Красноармейцы смотрели на них сквозь стекла, как на тепловодных рыб в аквариуме» (356). Для этих «тепловодных рыб» человеческие жизни – ничто. «Где пьют, там и льют», – как говорит комиссар Гетманов, заранее оправдывая ненужные потери.

Гроссман описывает и нищету военных лет, и сытую жизнь академического института, в котором начинаются гонения на теорию Эйнштейна, и ужин Эйхмана – в газовой камере, подготовленной к действию, и лубяnsкие камеры, где сидят и невинные жертвы, и вчерашние доносчики, и снова и снова – ужас истребительной войны, которую столь впечатляюще мог передать лишь человек, мерзший в окопах, глотавший пыль сталинградских руин, из-под которых откапывали горожан (жителей Сталинграда не о п о в е с т и л и о прорыве немцев и неминуемой бомбежке), сам слышавший хриплую брань вечно пьяного генерала Чуйкова, скорого на расправу... И все, о чем говорится в многоплановой сталинградской дилогии Василия Гросс-

мана, пронизывает грозовая тема свободы, самая запретная в Советской России тема: не только писать о ней, но и шепнуть ближнему было порой равносильно самоубийству.

Тем не менее Гроссман завершает и предлагает в печать свою книгу, «двухцветность» которой становится условной уже настолько, что, скажем, высказывания советского генерала Неудобнова, работавшего с Берия, и гитлеровского жандарма Хальба из штаба генерала Паулюса, воспринимаются, как дружеская переключка единомышленников. «Теперь особенно видна мудрость партии». – Чьи это слова? Товарища Неудобнова? Партайгеноссе Хальба? – «Мы без колебаний удаляли из народного тела не только зараженные куски, но и с виду здоровые части, которые в трудных обстоятельствах могли загнить» (512). Сравнения можно продолжать без конца. Одна и та же лексика и в гитлеровском, и в советском стане: «Мудрость партии...», «Партийный товарищ...»

А – душа?! Бог мой, как манипулировали словами «душа» и «сердце» по обе стороны фронта!

«...Немецкая душа и есть главная правда, смысл мира». К этому приходит Питер Бах, ставший горячим поклонником Гитлера. Комиссар Гетманов, в те же дни и часы, подымает тост «за русское сердце» своего командира и «сигнализирует» насчет калмыка Басангова: «Национальный признак, знаешь, большое дело. Определяющее значение будет иметь...» (500).

Вторит ему начальник штаба генерал Неудобнов, старый чекист: – В наше время большевик, прежде всего – русский патриот (226 и др.).

Полковника Новикова, командира танкового корпуса, слова Неудобнова и Гетманова раздражали: он «выстрадал свое русское чувство в тяжелые дни войны, а Неудобнов, казалось, заимствовал его из какой-то канцелярии, в которую Новиков не был вхож» (227).

Но, как правило, он не перечил, полковник Новиков, когда речь шла о политической благонадежности, «русском сердце», душе. Здесь он скисал, и «деловые качества людей вдруг переставали казаться важными» (226). Василий Гроссман говорит о причине этого с прямою исчерпывающей: «Народная война, достигнув своего высшего пафоса во время сталинградской обороны, именно в этот сталинградский период дала возможность Сталину открыто декларировать идеологию государственного национализма» (464).

Всесторонне и обстоятельно развивается эта тема, в частности, устами... гитлеровского следователя Лисса. Этот прием

позволяет Гроссману оставаться внутренне свободным, свободным предельно...

– Когда мы смотрим в лицо друг другу, – говорит эсэсовец Лисс военнопленному Мостовскому, старому большевику, соратнику Ленина, – мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало... Наша победа – это ваша победа. Понимаете? А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе (270-271).

Вначале слова Лисса казались Мостовскому бредом. «Ошеломляющие, неожиданные, страшные и нелепые слова» (270).

«Но было, – продолжает автор, – нечто еще более гадкое, опасное, чем слова... Было то, что иногда то робко, то зло шевелилось, скреблось в душе и мозгу Мостовского. Это были гадкие и грязные сомнения, которые Мостовский находил не в чужих словах, а в своей душе» (270).

А Лисс продолжает все более убедительно: «...Пропasti нет. Ее выдумали. Мы – форма единой сущности – партийного государства... Национализм – душа эпохи! Социализм в одной стране – высшее выражение национализма». «На земле есть два великих революционера. Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства» (274).

Эсэсовец Лисс называет Мостовского – учителем: «Вы лично знали Ленина. Он создал партию нового типа. Он понял, что только партия и вождь выражают импульс нации, и покончил учредительное собрание... Но Гитлер не только ученик, он гений! Ваше очищение партии в тридцать седьмом году Сталин увидел в нашем очищении от Рёма...»

И Лисс завершает: «Учитель... вы всегда будете учить нас и всегда у нас учиться. Будем думать вместе» (275).

При этих словах в душе ленинца Мостовского творится ад. Он ощущает все явственнее, что его давние сомнения в неизменной правоте партии «может быть, не были знаком слабости, бессилия, грязной раздвоенности, усталости, неверия. Может быть, эти сомнения, изредка, то робко, то зло вдруг охватывавшие его, и были самым честным, самым чистым, что жило в нем. А он давил их, отталкивал, ненавидел. Может быть, в нихто и есть зерно революционной правды? В них динамит свободы!» (273).

Мостовский понимает, – чтобы «оттолкнуть Лисса, его скользкие, липучие пальцы», нужно отказаться от того, чем жил всю жизнь, осудить то, что защищал и оправдывал. «Но нет, нет, еще больше, – мысленно восклицает Мостовский с пугающей его самой страстью. – Не осудить, а всей силой души, всей революционной страстью ненавидеть лагерь, Лу-

бянку, кровавого Ежова, Ягоду, Берия! Но мало, – Сталина, его диктатуру! Но нет, нет, еще больше! Надо осудить Ленина! Край пропастей!» (273).

Можно спорить – выражает ли Лисс взгляды самого Гроссмана? Справедлив ли автор, придумавший страшноватый для советского писателя прием – коричневым судить красное? Может быть, Гроссман остался вместе с Мостовским – на краю пропасти? С Лениным.

Можно спорить, но – не нужно. Это ясно и по книге «Жизнь и судьба», в которой Василий Гроссман не жалуется сектантскую – от Аввакума до Ленина – человечность, приносящую человека в жертву. Это стало ясно еще в 1946 году, когда появилась его пьеса «Если верить пифагорейцам», в которой говорилось, что народ, любой народ – это квашня. В нем может подняться вверх то доброе, то злобное, отвратительное. На страх врагам. И – на руку пастырям...

А теперь существует также и последняя книга Василия Гроссмана «Все течет...» («Посев», 1970), не оставляющая никаких сомнений насчет того, как писатель относится к идеологическим пастырям, иначе говоря, остался он «на краю пропасти» или нет?

«...Ленин не разрушил, а укрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью» (183). «Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина потому, что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина» (186).

«Синтез несвободы с социализмом» – вот уроки Ленина и ленинизма, усвоенные и Муссолини, и Гитлером.

Василия Гроссмана, как видим, не страшили никакие пропасти, он пытался говорить о жажде свободы еще в сталинские годы, в первой части своей эпопеи («За правое дело»); он знал, что будет наказан за свой «глоток свободы», как был наказан в «Жизни и судьбе» любимый его герой – полковник Новиков, освободитель Сталинграда.

Пожалуй, именно его судьба бросает самый яркий и страшный ответ на судьбу самого Гроссмана. Но, прежде всего, с каким ощущением живет этот герой, командир танкового корпуса?

«Война выдвинула его на высокую командную должность. Но, оказалось, хозяином он не сделался. По-прежнему он подчинялся силе, которую постоянно чувствовал, но не мог понять.

Два человека, оказавшиеся в его подчинении, не имевшие права командовать, были выразителями этой силы...» (229).

Новиков неизменно чувствовал свою «слабость и робость» в разговоре с Гетмановым и Неудобновым, сталинскими соглада- таями, ждущими своего часа. И они – дождались...

Командир корпуса послушался Сталина. И только поэтому выполнил боевую задачу малой кровью, сберег людей и технику. Эта поразительная сцена занимает лишь несколько страниц, становясь ключевой во взрывной гроссмановской теме свободы.

«Сталин волновался. В этот час будущая сила государства сливалась с его волей...

Его соединили с Еременко.

– Ну, что там у тебя, – не здороваясь, спросил Сталин. – Пошли танки?

Еременко, услыша раздраженный голос Сталина, быстро потушил папиросу.

– Нет, товарищ Сталин... Танки в прорыв еще не вошли» (450).

Начинается нервический перезвон командующих:

– ...Немедленно пустить танки! – резко сказал Еременко генералу Толбухину.

Толбухин звонит Новикову в изумлении и страхе:

– Вы, что, товарищ полковник, шутите? Почему я слышу артиллерийскую стрельбу? Выполняйте приказ!..

Однако, еще не все огневые точки противника подавлены, танкисты неминуемо нарвутся на огонь и смерть, и Новиков не дает приказа о наступлении. Просит поработать артиллеристов. Пушки взревели с новой силой. Танки – стоят.

Восемь минут своей жизни Новиков вел себя, как подсказывали ему его опыт и совесть.

Когда корпус прорвался в тылы противника почти без потерь, «Гетманов обнял Новикова, оглянулся на стоявших рядом командиров, на шоферов, вестовых, радистов, шифровальщиков, всхлипнул, громко, чтобы все слышали, сказал:

– Спасибо тебе, Петр Павлович, русское советское спасибо... низкий тебе поклон...» (455).

А ночью – зашел к начальнику штаба Неудобнову, товарищу по партии, и подал рапорт-донос – о том, что «командир корпуса самолично задержал на восемь минут начало решающей операции величайшего значения...» (456).

Победа – победой, но самого победителя срочно отзывают в Москву, и неизвестно – вернется ли он, послушавшийся Сталина, на свой командирский пост.

Он заплатит за эти минуты свободы, за каждую ее секунду. Как и сам Василий Гроссман, автор романа «Жизнь и судьба», имя которого отныне неразрывно связано с историей России.

Григорий Свирский

В следующем номере:

Проза:

Сергей Довлатов
Фридрих Горенштейн

Стихи:

Ирина Ратушинская
и Виктор Некипелов

Литературная критика:

Петр Вайль,
Александр Генис.
«Шестидесятые годы»

Публицистика:

Виктор Шиманский.
«Китай сегодня, завтра, послезавтра»
Игорь Бирман
о книге М. С. Восленского
«Номенклатура»

Наука:

Парапсихологические этюды
Ларисы Виленской

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Б а т ч а н Александр, род. в 1953 г. в Одессе. Учился в медицинском институте и на курсах журналистики. На Западе с 1974 г. Выпускник университета им. Брандайза (Бостон, США) и Нью-Йоркского университета по факультету киноведения. С 1980 по 1984 гг. сотрудничал в русскоязычных еженедельниках «Новый Американец», «Новая Газета», «Семь дней»; в Русском институте Колумбийского университета и в Этническом совете при муниципалитете г. Нью-Йорка. В настоящее время – сотрудник радиостанции «Голос Америки» в Вашингтоне.

Б е л и н к о в Аркадий Викторович (1921 – 1970), бывший член ССП, профессор Индианского и лектор Йельского университетов (США), пережил фронт, смертный приговор за ненапечатанную книгу «Черновик чувств. Антисоветский роман», провел 13 лет в лагерях. Автор книг «Юрий Тынянов» и «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Первая издана в СССР, вторая на Западе. Бежал из СССР в 1968 году, умер два года спустя в США.

Б о р о д и н Л. И. – см. журнал «Грани» № 131.

Б у к р и н с к и й Эрнст, род. в 1942 г. Закончил в Минске Белорусский государственный университет, факультет журналистики. Работал в газетах Новосибирска, Калининграда, Ленинграда. Печатался в журнале «Сибирские Огни», в сборниках, которые выходили в Западно-Сибирском книжном издательстве. В декабре 1984 г. выехал из СССР.

В л а д и м о в Георгий Николаевич, род. в 1931 г. в Харькове. Окончил Суворовское Военное училище и юридический факультет Ленинградского университета.

Работал в журнале «Новый мир» редактором отдела прозы и спец. корреспондентом «Литературной газеты». В печати выступает с 1954 г. сначала как литературный критик, а затем как прозаик. Член Союза писателей с 1961 по 1977 год. В 1977 г. Владимов вышел из Союза писателей.

В 1983 г. вынужден был эмигрировать. С 1984 г. редактирует журнал «Грани».

Д р у с к и н Лев Савельевич, род. в Ленинграде в 1921 г. Автор семи сборников, вышедших в московских и ленинградских издательствах, член Союза писателей. После обыска, произведенного КГБ в апреле 1980 г., восьмая книга, готовая к печати, была рассыпана, поэт был исключен из Союза писателей (за изъятый на обыске литературный дневник). Под нажимом КГБ вынужден был эмигрировать. Живет в Тюбингене (ФРГ).

На Западе печатался в журналах «Грани», «Время и мы», «Континент» и «Страна и мир».

К о м а р о в Борис (псевдоним) – род. в Москве в 1944 г. Окончил географический факультет университета. Специализировался как геоботаник. Работал по защите природной среды. Выступал как автор научно-популярных киносценариев на темы экологии.

Автор нашумевшей на Западе книги «Разрушение природы» («Посев», 1979). Эмигрировал в 1981 г.

С а в и ц к и й Дмитрий, род. в 1944 г., поэт, прозаик. В СССР не печатался. С 1978 г. живет в Париже. Четыре его книги опубликованы на французском языке. Печатался во французских и американских газетах. По-русски печатался в журналах «Континент», «Эхо», «Глагол».

С е р м а н Илья Захарович, род. в 1913 г. в Витебске, учился в Ленинграде, в ЛИФЛИ, по окончании стал сотрудником Пушкинского Дома. В 1949 г. был арестован по обвинению в космополитизме, отказался сотрудничать со следствием и в результате получил 25 лет лагеря и 10 лет поражения в правах. Вышел после смерти Сталина, в 1954 г., реабилитирован и восстановлен в качестве сотрудника того же Пушкинского Дома. Занимался исследовательской работой, главным образом – XVIII веком, русским классицизмом. Написал книги: «Ломоносов», «Державин», «Батюшков» и другие. В 1968 г. стал доктором филологических наук. Эмигрировал в 1976 г., в настоящее время – профессор Иерусалимского университета. Участвовал в нескольких международных симпозиумах и конференциях. Преподавал в нескольких университетах Европы и Америки. Активно выступает в периодике.

Ю г о в А. М. – см. журнал «Грани» №131.

Я б л о к о в а - Б е л и н к о в а Наталья, род. в 1930 г. Училась в Московском университете и в аспирантуре Литинститута. Работала учительницей, в Литинституте при СП СССР, в журнале «Москва», на московском радио и телевидении. В первом браке была замужем за Аркадием Белинковым. Вместе с ним бежала из СССР. После получения политического убежища в США работала в Йельском университете. Сейчас преподает русский язык в Монтерее, Калифорния. Занимается также журналистикой. Живя в Америке, выпустила антологию «Новый Колокол» (1972) и опубликовала после смерти А. Белинкова его рукопись «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша».



НОВЫЕ КНИГИ

1. Василий Б е т а к и. «Пятый всадник». – Париж: изд-во «Ритм», 1985. 60 стр.
2. А. В. Г е р а с и м о в. «На лезвии с террористами». – Париж: изд-во «ИМКА-Пресс», 1985. 208 стр.
3. Михаил Г е л л е р. «Машина и винтики». – Лондон: Overseas Publications Interchange, 1984. 335 стр.
4. Э. Д р е й ц е р. «Пещера неожиданностей», с предисловием В. Аксенова. – Нью-Йорк: изд-во «Эффект», 1984. 156 стр.
5. Р. З е р н о в а. «Женские рассказы». – Нью-Йорк: изд-во «Эрмитаж», 1984. 160 стр.
6. Ю. К у б л а н о в с к и й. «Оттиск». – Париж: изд-во «ИМКА-Пресс», 1985. 70 стр.
7. В. Л а р и о н о в. «Последние юнкера». – Франкфурт-на-Майне: изд-во «Посев», 1984. 256 стр.
8. С. Л и п к и н. «Кочевой огонь». Стихи. – Анн Арбор: изд-во «Ардис», 1985. 160 стр.
9. Л. Л о с е в. «Закрытый распределитель». Очерки. – Нью-Йорк: изд-во «Эрмитаж», 1984. 109 стр.
10. Ж. Н и в а. «Солженицын». Перевод с французского С. Маркиша. – Лондон: OPL, 1984. 248 стр.
11. В. П а п е р н ы й. «Культура „два“». – Анн Арбор: изд-во «Ардис», 1985. 299 стр., 36 илл.
12. Д. П а п е р н о. «Записки московского пианиста». – Нью-Йорк: изд-во «Эрмитаж», 1984. 208 стр., 20 илл.
13. М. П о п о в с к и й. «Дело академика Вавилова». – Нью-Йорк: изд-во «Эрмитаж», 1984. 280 стр., 20 илл.
14. «Польская революция». Предисловие Марио Корти. – Лондон: изд-во OPL, 1985. 288 стр.
15. В. Р ы б а к о в. «Тиски». Предисловие Георгия Владимова. – Франкфурт-на-Майне: изд-во «Посев», 1985. 240 стр.
16. Саша С о к о л о в. «Палисандрия». – Анн Арбор: изд-во «Ардис», 1985. 296 стр.
17. Б. Х а з а н о в. «Идущий по воде». Статьи и письма. – Мюнхен: «Страна и мир», 1985. 249 стр.
18. Л. Ш т е р н. «Под знаком четырех». – Нью-Йорк: изд-во «Эрмитаж», 1984. 206 стр.

Главный редактор Г. Н. Владимов
Зам. главного редактора М. А. Поповский
(представитель в США)
Ответственный секретарь Н. Е. Денисьева
Зав. редакцией Е. И. Пахомова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

В. Максимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Том первый. Сага о Савве

1974, тверд. переплет, 398 с.

Том второй. Семь дней творения

1982, 3-е изд., тверд. переплет, 512 с.

Том третий. Карантин

1974, тверд. переплет, 352 с.

Том четвертый.

Прощание из ниоткуда

1982, тверд. переплет, 428 с.

Том пятый. Жив человек. Пьесы

1979, тверд. переплет, 332 с.

Том шестой. Ковчег для незваных

1979, твердый переплет, 287 с.

Общая стоимость комплекта – 180 нм

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15
D-6230 Frankfurt a. M. - 80



Евгения Гинзбург
«Крутой маршрут»

Переиздание в двух томах известной книги Евгении Гинзбург, о ее пути через сталинские концлагеря и через собственное политическое прозрение. С предисловием Василия Аксенова.

Книга первая:	1985	440 с.	54 нм
Книга вторая:	1985	396 с.	48 нм

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани“ выпускает карманные сборники избранного из „Граней“.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику – советскому ли за рубежом, иностранному ли в России – не трудно взять их с собой.

Мы обращаемся к читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;*
- просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

*Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь **ДЛЯ РОССИИ**, – может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:*

А. Kandaurow c/o „Possev-Verlag“

Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники „Граней“:

Сборник	№ 1	из	№№	87/88-94	(разошелся)
Сборник	№ 2	из	№№	78-86	(разошелся)
Сборник	№ 3	из	№№	71-77	(разошелся)
Сборник	№ 4	из	№№	69-70	(разошелся)
Сборник	№ 5	из	№№	53-68	
Сборник	№ 6	из	№№	49-52	
Сборник	№ 7	из	№№	40-51	
Сборник	№ 8	из	№№	34/35-39	

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 56 н. м.
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н. м.
через представителей — 72 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ” — 17.50 н. м., „ПОСЕВ” — 7 н. м.
НАДЕЖДА” — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.